

ИВАН ЗОРИН

СТАТЬ СЕБЕ
БОГОМ

Москва
Издательский дом
«Пегас»
2011

УДК 821.161.1

ББК 84 (2)

3-86

Зорин И.

З-86 Стать себе Богом. – М.: ИД «Пегас» : ИД «Ваш полиграфический партнёр», 2011. – 333 с.

ISBN - 978-5-4253-0089-8

Размышления о добре и зле, жизни и смерти, человеке и Боге. Фантазии и реальность, вечные сюжеты в меняющихся декорациях.

УДК 821.161.1

ББК 84 (2)

На обложке: Иероним Босх, «Несение креста»

ISBN - 978-5-4253-0089-8

© Зорин Иван, 2011

ПРЕДИСЛОВИЕ

Кто автор этой книги? Тот, чье имя стоит на обложке?

Одному человеку предложили написать книгу. И пока делали за него всю работу, убеждали, что каждой строкой обязаны ему. В конце концов он искренне поверил, что созданный труд его.

Я часто воображаю себя этим человеком.

ПЕТЕРБУРГСКИЙ РЕКВИЕМ

«Всё, что с нами случается, случается помимо нас, – бубнил Семён Захарович, работая могильным заступом. – И жизнь нам дают, не спрашивая, и смерть». Но думал о том, почему оказался на кладбище, заживо гниющим среди мертвецов, могильщиков и забулдыг-сторожей.

Семёну Захаровичу за шестьдесят, и ещё недавно он считал свой возраст нежным, как у младенца: «То сердце, то печень, тронь – сломаются». А теперь моросил дождь, комья сырой земли липли к железу, но простуды он не боялся. У его сверстников толпились в прихожей врачи, карманы оттопыривали лекарства, а речь перемежали слова из медицинского справочника. Но Семён Захарович не мог поддерживать разговоры, которые крутились вокруг болезней, не мог жить согласно принципу: «Лечусь – значит существую!», ему вдруг стало всё безразлично, и он не мог ответить себе, зачем и дальше тянуть ляжку.

Так он очутился в Александро-Невской лавре.

Раньше Семён Захарович работал редактором и теперь ухаживал за могилами так же тщательно, как раньше чистил рукописи. Ему отвели просевшую, жмущуюся к забору привратницкую, из-за двускатной крыши похожую на гроб, с окошком таким низким, что

мужчину от женщины можно было отличить лишь по обуви. Семёну Захаровичу было всё равно. Он давно носил привычки, как улитка дом, прячась в них, чувствовал себя везде на своём месте.

И всюду оставался чужим.

Когда-то в юности Семён Захарович, мечтая осчастливить мир, запускал в него бумажные кораблики надежд, для прочности подкладывал в его основание обожжённые болью кирпичики своих стихотворений. Но мир оставался глух, до него было не докричаться, а все попытки Семёна Захаровича оставались звонками в пустую квартиру. И всё же мысленно он продолжал писать книгу, в которой ответил бы сразу на все вопросы. Потому что все вопросы для него сводились к одному: отчего мир такой огромный, а он живёт в нём, будто в собачьей конуре. С годами книга пухла, а вопрос по-прежнему сверлил мозг. И теперь он пытался найти ответ в окружавших его эпитафиях, которые слагали заключительные главы его книги. В плывших рассветных сумерках он перелистывал свои замогильные записки, не в силах разобрать, видит их во сне или наяву.

Вечерами Семён Захарович выходил за кладбищенские ворота, кормил с дощатого моста крикливых чаек, рассыпая пригоршнями хлебные крошки, глядел на уток, скользящих по лениво текущей Монастырке, пока не замечал в холодной прозрачной воде желчное старческое лицо, похожее больше на посмертную маску. Тогда он отправлялся в город, который умер ещё сто лет назад, в сгустившемся тумане разглядывал старинные дома с каменными львами, и ему казалось, что за их тускло светящимися окнами живут загадочные гномы из сказочного прошлого. Но он знал, что эти квартиры давно населяют другие, что завтра увидит жильцов

на прямых, как палки, улицах, по которым они будут рыскать с такими лицами, будто продолжается ленинградская блокада.

И говорить на языке, которого недостойны.

В прошлом у Семёна Захаровича осталась жена. Он помнил, как в электрическом свете её волосы тонкими тенями секли лицо, как шрамами, как, целуя их, шептал: «Женщины делятся на тех, кто красивее на улице, и тех, кто в постели. Ты из последних». Жена улыбалась, клялась, что посвятит ему жизнь, но очень скоро её слова выцвели, как застиранное бельё.

Так что, выйдя на пенсию, Семён Захарович привычно завтракал в одиночестве, а за ужином говорил с самим собой.

Уходя из дома, Семён Захарович припомнил жене всё.

– Ты оказалась нахрапистая, – поставил он точку в их затянувшемся диалоге. – Нахрапом можно взять – удержать невозможно.

– Нашёл тоже, – покрутили ему у виска, – жизнь прошла, а ты всё балаболишь.

Однако Семён Захарович не прожил пустоцветом, у него вырос наследник, и было кому передать опыт. Когда сын был маленьким, он гладил ему волосы и напутствовал: «Вот повзрослеешь, и случится тебе попасть в трудное положение. Так ты подумай тогда: “А как бы поступил мой отец, что бы он сделал?” И поступай наоборот». Сын оказался хорошим учеником и, разменяв четвёртый десяток, звонил родителям, только когда ругался с женой. Тогда он вспоминал детство, клял свою теперешнюю жизнь и обещал приехать.

Но так ни разу и не появился.

В старинных родовых усыпальницах, своротив

ржавый замок и набросав ворох прелой листвы, ночевали бомжи. «От мёртвых не убудет», – вздыхал Семён Захарович, разгребая железным прутом тлевшие на рассвете костры. С утра бомжи, как стая перелётных птиц, тянулись мимо привратницкой – заспанные, опухшие, подбирали окурки, лениво приставали к прохожим и, стуча грязными ботинками в низенькое окошко, просили воды.

По воскресеньям Семён Захарович ходил на службу, протискиваясь меж огромных колонн собора, ставил свечи у темноликой, в серебряном окладе Богородицы, крестился, отвешивая земные поклоны мощам святого Александра, которого в душе считал мальчишкой. Под высоким, как небо, куполом ему становилось душно, он поспешно выходил и, задирая голову поверх барельефов на фронтоне, разбирал лепные буквы «Бгъ». В Бога Семён Захарович не верил, а в церковь ходил, чтобы не косилось начальство.

И всё равно слыл богоборцем.

– Как думаешь спастись? – гудел в его камерке молодой батюшка, потягивая красный, как кровь, кагор.

Семён Захарович не мечтал о воскресении, он видел жизнь такой, какая она есть, и понял вопрос по-своему.

– Каждый спасается, как умеет, – развёл он руками, – одни за жену прячутся, другие – за работу. Плавное – забыть, что живёшь. Жизнь-то, как попрошайка: привяжется – не отпустит...

Округлив глаза, батюшка смахнул с усов липкие капли.

– Живёт не человек, – гнул своё Семён Захарович, – живёт беспокойство внутри него, а человек свою жизнь под него подстраивает.

Отодвинув стакан, батюшка поднялся.

– Человеку другого не понять, – прочитал его мысли Семён Захарович. – А когда нет понимания, остаётся Бог.

Возвышая голос, он рубил воздух ладонью, представляя к груди сведённые в горсть пальцы.

Пока не устался на пустой стул.

«У каждого своя правда, – пожал он тогда плечами. – Один Бог всё видит, а Его нет..»

А батюшка, не разбирая дороги, шёл домой.

«Старики злые, как осенние мухи, – вздыхал он, – помирать скоро, вот и хотят мир за собой утащить».

Дорогу к лавре по обеим сторонам занимали нищие, выставляя увечья, кланчили, прогоняя сквозь строй. Подать Семёну Захаровичу было нечего, и он выбирал окольные пути. «Люби себя, – читал он на установленных там рекламных щитах с нагими женщинами, – счастье – это твоя красота!»

Тогда его мысли делались особенно тяжёлыми. Он думал, что в жизни, как в кино, самое важное остаётся за кадром, что именно это непроявленное и определяет события, которые иначе представляются случайными, и что некрополь Александро-Невской лавры – это средоточие непроявленного Петербурга, то место, в котором сходятся все остальные его места. Вглядываясь в черневшие надгробья, он различал шпили, дырявившие сырое небо, видел площади, как чернильные кляксы, и дворы, как фьорды. Он видел и некрополь Александро-Невской лавры, свою каморку, себя, беседующего с моложавым батюшкой, видел свою ненаписанную книгу, постаревшую жену, несчастливую в браке сына, видел дома-колодцы и людей с лицами, будто не кончалась блокада. А над всем этим, нависая тенью гигантской птицы, по улицам как чертёжные линии

двигался город-призрак, город без настоящего, который шёл, словно против ветра, спиной вперёд.

Летом заходила Соня, сирота лет пятнадцати, в пыльном платье, беспокойная, с вечными царапинами на коленках.

– До свадьбы заживёт, – заговаривая боль, смазывал их йодом Семен Захарович. – Хочешь детей, Соня?

– Нет, – серьёзно отвечала она, кусая грязные заусенцы, – рожать – преступление, потому что жить – наказание.

Смутившись, Семён Захарович поил её чаем, который она выпивала так быстро, что он не успевал налить себе, а, отсыпая на дорогу леденцов, думал, что они с Соней похожи, как пустые чашки на столе, – в одной ещё ничего нет, в другой уже ничего не будет.

«Будь я моложе, удочерил бы», – обманывал он себя, когда осенью Соня исчезла. Сироту обидеть легко. Он ясно представлял, что стало с ней в бездушном городе среди людей-масок, которые говорят на одном языке, но друг друга не понимают.

И испытывал угрызения совести оттого, что их не испытывал.

Семён Захарович носил свои мысли, как в коробочке, – для внутреннего употребления, а исповедовался могильным камням.

«Хорошая компания, говори – не хочу», – разгребал он раз осеннюю листву в «писательском» уголке некрополя, где на расстоянии вытянутой руки лежали кости Карамзина, Жуковского и Дельвига. Была безлунная ночь, возле побелённого забора тускло бил уличный фонарь, и Семён Захарович то и дело спотыкался о выступавшие корни старой липы. «Растащили вас на цитаты, как вороны – объедки, – оставив грабли, обратился он

к зиявшим в темноте надгробиям, – молотят языком, а народ безмолвствует. – Он сердито засопел. – Красота спасёт мир... А никому даром не нужна красота-то, её саму бы спасти!»

Поплевав на ладони, он снова взялся за грабли. Пот заливал глаза, и ему казалось, что мир перевернулся и город отбрасывает тень на звёзды, которых от этого не видно.

«А коли не подлец человек, тогда мало жить, нужно делать», – глухо донеслось из-под серого валуна. И Семён Захарович, подняв глаза, увидел, как на бронзовом изваянии Достоевского повисла кривая усмешка. «Эх, Фёдор Михайлович, мы своё пожили, знаем, что мира не переделать... – Он вздохнул. – Здесь каждый сам себя делает – хорошо ли, плохо, а приводит к одному... – Разведя руками, он указал на грудившиеся вокруг мраморные саркофаги. – И какая разница, что жили вы в столице империи, – кости ваши лежат в столице провинциальной культуры».

Он тяжело замолчал.

Ветер раскачивал фонарь, в подвижной тьме замелькали тени.

«Тварь я дрожащая или право имею?» – пискнули за позеленевшей от слизняков решётчатой оградой. И Семён Захарович увидел, как в светящемся от фонаря пятне вокруг постамента разыгрывается спектакль. Крохотные фигурки поочередно выходили на сцену, толпились у подножия памятника, повторяя вложенные в них слова. «Как люди за Творцом», – подумал Семён Захарович, удивляясь их тонким голосам. Пока не разглядел, что это дети. «Страшно, когда некуда пойти», – признавался мальчик с нарисованной, как у пьяниц, красноватой паутиной на щеках. «А если за гробом

нет никакой вечности, а только деревенская баня, закоптелая, с пауками?» – меланхолично спрашивал другой, с белым, будто в муке, лицом и холёными, пухлыми пальцами.

Семёну Захаровичу стало страшно. Он вдруг понял, что люди, как и литературные герои, не взрослеют, раз и навсегда застыв в том возрасте, в котором родились, а ему довелось появиться на свет стариком и прожить в городе чужой мечты. Он понял также, что всякая судьба трагична по-своему, что подлец-человек ко всему привыкает и что натура людская самый тонкий расчёт подсекает. А ещё понял, что умирает. Он перевёл взгляд в темноту и увидел там свою книгу, целиком уместившуюся в эпитафию, которая никогда не будет выбита на его могиле:

Некуда пойти.

ВОЛХВ

*Если я говорю языками человеческими
и ангельскими, а любви не имею, то я –
медь звенящая или кимвал звучащий.*

13 1 Кор. 1, 2

Если поэзия – это Божественная цитата, то строфы Сильвестра Ведуна принадлежат, безусловно, дьяволу. Они были его первородным грехом, его проклятием, вознёсшим над всеми земными поэтами. И он искупил их отречением и страданием.

История моего героя, история невинного греха, восходит к 18.. году, к душной летней ночи в портовом трактире, когда публичная женщина, её имя не сохранилось, неловко корчась, потянулась за стаканом дешёвого, мутного портвейна, и из неё вывалился окровавленный сгусток, в котором невозможно было признать младенца. Он едва не раскрыл голову о грязные доски и, вывихнув ногу, остался хромым – таким было первое прикосновение мира, его первый поцелуй. Мать допила вино и стала шарить под столом, ощупывая во тьме ножки стульев, опорожнённые, валкие бутылки и мужские сапоги, прежде чем тронула мокрое тельце, которое сначала приняла за блевотину. Наклонившись, она пугнула свечой гурьбу тараканов. Ребёнок не издал ни звука, его сочли мёртвым, но упрямые, недетски злые

глазки смотрели, не моргая, выказывая ненависть и боль. Его вытащили на свет: у него была заячья губа, на лбу рдело родимое пятно, скользкие, в гармошку, как у ящерицы, складки кожи, так что даже привыкшие ко всему портовые шлюхи с омерзением отвернулись. Чадили свечи, капало сало. Греческие матросы, отчаянно кутившие уже несколько часов, увидев новое развлечение, предложили крестить новорождённого. Среди них был судовой священник, устало кивавший двойным подбородком, сгорбленный и толстошей, едва не плескавший вино на трепник. Кто-то, угрюмо надвинувшись, выкрикивал своё имя, набиваясь в крёстные. Мать было отказалась, но греки дали золотой. Нависая горой, священник тряс космами, бормоча молитву, вселяя в ребёнка ужас и отвращение к словам. По стенам дрожали тени, а закопчённое зеркало немым свидетелем жадно ловило происходившее.

Так посреди кабацкого смрада, посреди гвалта, запаха рыбы, оплывших свеч, плевков, ругательств, зловония и крошек табака родился Сильвестр Ведун, в которого вселился поэтический бес. Мать даже не почувствовала его рождения, устав от шумного застолья, уснула тут же на дощатой, жёсткой лавке, не подумав его накормить, а утром, выйдя по нужде, забыла о его существовании. Отцом был, несомненно, моряк – швед, француз или русский, отцом можно считать сразу всех, распутное чрево дало пристанище вавилонскому смешению языков.

Сильвестра приютила жена трактирщика, и следующие шестнадцать лет его вселенную ограничивала стойка, а воспитание – пьяные речи да тоскливые песни матросов, в которых выпитое пробуждало родину. Он рос замкнутым, ко всему глухим. Ковыляя с подносом,

не радовался чаевым, не огрызался подзатыльникам, никогда не улыбался – ни липким скабрёзностям посетителей, ни добродушным шуткам кабатчика, своего названного отца. Целыми днями он до одури тёр посуду ветхим, измочалившимся в тряпку полотенцем, мёл мусор или с равнодушным отчуждением слушал мечущегося по клетке кенара. Только изредка игравший без посторонних тапёр пробивал стену его безразличия глумливым и надрывным долотом скрипки. Молчаливый, почти немой, Сильвестр забивался тогда в тёмный угол и тихонько скулил...

В десять лет ему показали мать. Волоча искалеченную ногу, он тащился за наспех струганным гробом, разглядывая свежие сучки, слушая причитанья козлобородого дьячка и всхлипы казённых плакальщиц. Уныло шарил по оврагам осенний ветер, нагоняя толпы мшистых туч. Потом он долго стоял у зеркала, широко раскрыв глаза, помнящие комья сырой земли, тусклый блеск лопат и верёвки, опускающие гроб в могилу – это были глаза смерти, прозрачные и злые. Как-то на Пасху объявился его крёстный. Грек постарел, осунулся, поскучнел. Он быстро набрался и, бессмысленно таращась, стучал кулаком в грудь, повторяя своё имя. Сильвестр, которого он усадил перед собой на высокий табурет и в которого изредка тыкал пальцем, болтал босыми ногами, тупо уставившись на висящие за спиной грека часы, смешивая его монотонное жужжание с движением маятника. Памятью от грека остались дырявый картуз и ржавый компас. Эти два события фонарями висели на вёрстах безрадостных лет, посреди вязкой тьмы, они были вестью из прошлого, которому противилось настоящее.

Наночьего запирали в чулане. Здесь, на сколоченной

из ящичков кровати, он проводил годы, вперившись в темноту, слушая, как шагают по крыше короткие южные дожди, лоя ртом затхлый воздух, кропя обои кровью битых комаров. Его пристроили в воскресную школу, но от него там вскоре отказались: Сильвестр сидел, точно мёртвый, уставившись в одну точку, не замечая учителей. И чему они могли его научить? Складывать слова он умел несравнимо лучше.

Но это история отверженного, калеки из пыльного южнорусского захолустья, в паутину дней которого, как гусеница, вползало тусклое однообразие. Подлинная история Сильвестра Ведуна началась позже. Однажды в кабаке заглянул Серж Чаинский, поэт и местная знаменитость. Он был в приподнятом настроении: ему заказали оду на смерть городского землемера и уже выплатили аванс. Яркое солнце било в низкое, засиженное мухами окно, сверкая лучиками на пыли, разливая крутом томленье и лень. Чаинский одёрнул фрак, отложив в сторону трость и неуместный в жару цилиндр, велел подать перо, бумагу, штоф анисовой, распорядился насчёт закуски. Вслед нескладной фигуре, исчезающей в сизом кухонном дыму, он сдвинул серебрившееся брови, уперев локти в стол, охватил ладонями лицо. Его ноздри кокаиниста трепетали: он уже чувствовал лёгкое возбуждение – приближение поэтической лихорадки, которую считал вдохновением. Чаинский опрокинул водки, зацепил вилкой холодного языка и размашистым почерком стал набрасывать рифмованную чепуху. Дело ладилось, он заметно опьянел. И тут с переменной блуд перед ним опять возник половой. «Че-а-ёк! – Чаинский смотрел невидящим взором сквозь уродливого подростка, с белёсым, вылинявшим полотенцем наперевес. – Вот, послушай...»

Сильвестра для него не существовало, ему был важен он сам, его монолог, он мог равно обратиться к дубу, камню или волнующемуся прибору. Растягивая слова и картинно жестикулируя, он прочитал: «Звезда уснула – и диво: рыдает морская грива. Как ненужный кадастр, у гроба букет белых астр...» Второй строчкой он особенно гордился, сделал паузу, переводя дыхание. Губы полового издевательски скривились, он хрипло рассмеялся. Чаинский вздрогнул, это был хохот мертворождённого. Не отпуская злобной ухмылки, калека произнёс скороговоркой с десяток слов скрипучим, каркающим голосом. Мгновенье – и мир Чаинского рухнул, его прежние представления о поэзии растаяли медузой на солнце, растворились в колдовских модуляциях, он стал их пленником, узником Сильвестровой ворожбы. В это мгновенье – вечность – перед ним вспыхнули картины его детства: разбитая горничной чашка, кусачий кактус в углу гостиной, эхо обеденного колокольчика, таинственным образом отразившись в словах Сильвестра, ему стремительной волной представилась вся его жизнь, которая упёрлась теперь в берег этого мгновенья, разбившись о камни Сильвестровых чар.

Наваждение опрокидывает время. Очнулся Чаинский уже в одиночестве, посреди онемевшего трактира, липкого солнца и неряшливо измаранных листков на столе. Он механически сгрёб их в карман и, забыв про дыбившийся цилиндр, выскочил на улицу. Он не увидел, как алчно доедал за ним вечно голодный колченогий ублюдок...

Если свобода – мать одиночества, то кабала – его мачеха. Сильвестр и презирал, и боялся людей. Работая тряпкой, он слушал их никчёмные беседы, тосты,

брань, поздравления, они резали слух, как бритва по стеклу. Он искренне удивлялся, зачем они им, ведь он давно заметил, что люди понимают не слова, а поступки. Он же – Сильвестр Ведун, безродная сирота, человек без прошлого и будущего, хромоножка, обречённый на невозможность поступка, научился жить в словах. Их куклы заменили ему всё – мать, отца, стремления, веру и само время. Отвергнутый реальностью, он свил гнездо среди их руин, постиг общую для всех языков суть, проник в их тайный смысл. Очищая шелуху семантики, он научился раскалывать эти вещи в себе, видеть их наготу, извлекать из небытия. В царстве синтаксиса он был королём. Плоть слов – мысль – начинается желанием, слова – только оболочки, но Сильвестр не знал, чего хотеть, у него были убогие кров и стол, ему не дано было мечтать, надеяться, жаждать. Для других он был идиотом, и он соглашался с их мнением. Почти немой, он был машиной слов, анатомируя их естество, он перебирал их обёртки, упиваясь многообразием, причудливой мозаикой, бесконечной, как очертания облаков. Ребёнок, он блуждал в комбинациях букв, ориентируясь на стрелки слов, он открыл их внутренние законы, их хаос представал ему порядком, их кубики слагали лабиринт, в котором он был Минотавром.

Настоящая поэзия всегда пьянит. Сильвестр Ведун поглощал целиком, точно ядовитое растение, обволакивая пряным дурманом строк. Мир тускнел перед этой сладкой отравой, и остальные творения казались разбавленным вином. Запах ворвани, брызги со шкиперских шляп, луны его детства – дольний мир рифмовался с миром горним, его поднятые из грязи метафоры достигали неба, впиваясь клещами, уже не отпускали. Хотелось умереть, упившись их губительным восторгом,

возвращение в привычный мир было нестерпимым. Бог до времени оберегает от рая, делающего земные муки невыносимыми. Исчадие поэтического ада, Сильвестр Ведун с этим не считался. Растоптанный, гадкий утёнок, он мстил миру, который изгнал его, блаженно-го и невинного, миру, в который ему суждено было врываться чудовищем.

Слова, слова... Затёртые, захватанные, они были для Сильвестра первоначально чисты, освобождённые от содержания, они разогнулись, точно ветка, сбросившая снег, избавившись от бремени служить, предстали во всём величии, в бесконечном, как переливы листвы, многообразии. «Любовь», «долг» или «ландыш» существуют лишь в координатах значения, каждый воспринимает их в призме чувств и собственного опыта – «моя любовь», «мой долг», «ландыш, увиденный мною в лесу». Преломляя, пропуская через себя, мы превращаем язык – в речь, а бытие – в жизнь. Бесчувственному калеке Сильвестру Ведуну был доступен их архетип, обезличенные, отделённые от вещей, слова представляли непосредственно, для него существовали сразу все оттенки «любви», все понятия «долга», все ароматы «ландыша». Если мы видим лишь слово для нас, он зрел слово в себе, и, приладив отмычку поэзии, обрубал связь с действительностью, как топор палача.

Слова и мысли были для него бесконечно далеки, они разнились, как «мыловар» и «малOVER».

Сильвестр жил у Чаинского уже месяц. Тот заплатил трактирщику выкуп в сто рублей, обещая его жене по воскресеньям отпускать с ней Сильвестра в церковь. Она коротко перекрестила приёмьша и расплакалась.

Сильвестр удивился – в первый раз из-за него лили слёзы. Но его согласия на переезд никто не спросил. Долго ехали на извозчике, перевозили нехитрый скарб. Мимо по набережной, громыхая о булыжник, проносились открытые пролётки, седоки кивали Чаинскому, поворачивали голову вслед, Чаинский отвечал рассеянно и небрежно. Отовсюду лились помои человеческих голов: грубое понукание кучера, крики торговцев, визг мальчишек, перебранка размалёванных, по пояс высунувшихся из окон женщин, – они раздражали Сильвестра до глухоты. Бедные и скудные, их речи пугали неблагозвучием, оскорбляли фальшью, заставляли его окаменевать, прятаться, как улитка, за изнанку слов. Он отвернулся на черневшие баржи, кромсавшие воду, шурился на солнце, коловшееся верхушками кипарисов.

В доме ему отвели чистую, светлую комнату, с иконой чудотворца Николая в углу. После чулана комната раздавила просторностью, он топтался в нерешительности у порога, прижав руки к груди, пока Чаинский легонько не подтолкнул в спину. Сильвестр понимал своё положение, всё чаще вспоминая жёлтого кенара, оставленного в клетке над трактирной стойкой, но и не думал бунтовать, не понимая, что это значит. Он был, как черепаха, дом из слов был всегда с ним. Сильвестр неподвижно громоздился на краю табурета, покорный обстоятельствам, довольствуясь ничтожным клочком пространства.

Из прислуги он сошёлся только с няней Чаинского, глухонемой, выжившей из ума старухой, которая по приезде купала его в мыльной ванне, вычёсывая гребнем вшей.

Вкабинете Чаинского висели пейзажи и натюрморты

в дорогих рамах – но они не произвели на Сильвестра впечатления. Зачем иметь изображение, если есть натура? А горы, долины и яблоки в вазе он уже видел. Были здесь и книги, дразнящие роскошью кожаных переплётгов, занимавшие огромные шкафы. Чаинский попытался было приобщить Сильвестра к грамоте, но тот отделивался нечленораздельным мыгчанием. Он недоумевал, зачем нужен алфавит, зачем нужно распинать живое слово, приколачивая гвоздями букв, убивая и коверкая, также как не понимал краски, убивающие природу. Для иудеев и шумеров письмо было священным, древние германцы наделяли руны магической силой, вырезая на капищах знаки, которым поклонялись, ощущая действие их колдовских чар. Сильвестр Ведун не постиг грамоты, мёртвые книги, вызывали у него отвращение и мистический ужас.

От Чаинского он услышал множество новых слов, пробивших бреши в прежних, возводимых годами укреплениях. Они возбуждали любопытство, но, когда он узнавал, что их можно заменить горстью уже известных, разочаровывался. Ночью, когда в зиявшей черноте дома хищно куковали часы, залезая под одеяло, он зализывал своё расколотое «я», стоящее под шквалом дневных атак, под напором чужеродных слов. Он спал без сновидений, но его беспощадный мозг продолжал перебирать фигуры речи, разбивая слова на буквы, дробя на слоги, калеча суффиксами и префиксами, воскрешая в новых сочетаниях.

А Чаинский боролся с искушением. До сих пор ему казалось, что он знает о поэзии всё, ему доказали, что – ничего. Он понял, что все предшествующие Сильвестру поэты, чтимые как гении, только профанировали сакральное. Он понял, что этот сын блудницы

– поэтический мессия, посланный на землю опровержением поэзии. «Но ведь никто не узнает, – думал Чаинский, расхаживая по комнатам в распахнутом халате, – ни одна живая душа! Это даже не плагиат – воровать можно у равного, подобрать разговор кухарок не возбраняется...» Он говорил себе, что и Пушкин не гнушался прелестью просторечья, вспоминал малоросские пометки Гоголя. «Да он бы сгнил в чулане! Поселив его здесь, я благодетельствую, – продолжал он размышлять, наблюдая, как Сильвестр неловко стирает пыль с полок, вытряхивая ковры растрескавшимися, узловатыми пальцами. – Он же совершеннейший кретин, зачем ему слава, о которой он не мечтает?» Хлопая дверьми, Чаинский убеждал себя, что Сильвестр – насмешка Аполлона, что его вид оскорбляет муз. «Разве на Парнас попадают с чёрного хода? – рассуждал он. – Изяществу учат, а он всё опрокидывает: не надо ни университетов, ни художественных академий! О, Господи, где же справедливость, почему именно ему!» Чаинского душила зависть, он стонал, обхватив голову руками, до боли сцепив зубы, играл желваками. Но к чести устоял. К тому же в душе он стал рабом своего слуги, мнил, что схватил муху, но сам попал в сеть к пауку.

Он всё чаще брал наугад классиков и, читая вслух несколько строк, как бы нечаянно забывшись, косился на Сильвестра. И уже через мгновение, ломая реальность, раздавался скрипучий голос, доказывавший, что оболганные пышными сравнениями строки – совершенство в отсутствии совершенства, луна, которую приняли за солнце. Откликаясь на эхо чужеродных рифм, этот юноша, с землистым лицом и алым пятном посреди низкого лба, импровизировал на их неуклюжие конструкции, казавшиеся теперь лишь

искусной искусственностью, так же мало походившей на ускользящую простоту жизни, как аллегория или опера. На его фоне их талант выглядел неумелым при творством, их вымороченные творения распадались на горстку жалких приёмов, их неточные слова граничили с лепетом. И Чаинский не мог противиться наважде нию. Он вспоминал китайского художника, ушедшего в написанный пейзаж, растворившегося во мгле искусства. И эта же мгла обволакивала, заставляя исчезнуть всё вокруг: и створчатые шкафы, и громоздившиеся на горизонте облака, и мысли, и чувства, оставляя лишь одно алчное желание – слушать этот скрипучий голос, слушать, слушать... В нём тонули пороки, добродетели, обиды, скорби, святость, он был выше иерархии, лживых обещаний и обманчивых пророчеств, выше добра и зла. Чаинский в изнеможении опускался в кресло, давая себе слово больше не подчиняться воле дегенерата, но, проклиная малодушие, на другой день повторял опыт. И каждый раз ему не хватало сил записывать, а память отказывала...

Салон Шаховской на Приморской привлекал старыми винами и небрежным радушием хозяйки. Здесь сложился круг из «людей искусства» – литераторов местных «Ведомостей», приезжавших на морские этюды художников, начинающих музыкантов, эстетствующих студентов и обывателей, праздно шатающихся по компаниям. Провинция – всегда шарж, её богема – карикатура столичных снобов.

В черноте южной ночи дом Шаховской насквозь светился распахнутыми окнами, из которых била музыка. Бронзовые канделябры, сгрудившиеся на английский манер диваны и аккуратные ливреи вышколенных

слуг подражали петербургским гостиным, оттоманки и кричаще изогнутые кальяны отчаянно зывали к изысканности.

– Все эти новомодные штучки, эти синематографы, дагерротипы – это всё так, декорации... – приподнявшись на локте, сипел лысеющий профессор, приехавший на воды лечить подагру. – Они не главное...

– А что же главное? – с показным безразличием откликнулся розовощёкий критик, потирая золотое пенсне.

– А главное – чувство жизни, искусство... Да ещё, пожалуй, отношения между людьми. По ним и спрос на небесах будет ...

– Да-да, – рассеяно соглашался критик, – Арс Лонга вита брэвис...

– К чёрту латынь, помните у Чаинского: «Средь бушующего моря, где волна с волною споря, разбивается на волны, только скалы безмятежны. Как следы подошвы Бога, безмятежны и покойны...» Это волны эпох накатывают, а Человек стоит.

– Да вы, батенька, Сенека... В Петербург когда собираетесь?

– Зимой. А Чаинский хорош.

– Манерничает много...

А в другом конце возвышали голос: «Я вам уже третий раз говорю: главное оправдание Бога состоит в том, что Он не нуждается в наших оправданиях! Вспомните Иова...» И всем было неловко, и все обещали не ходить сюда больше, но, изнывая от курортной тоски, вечерами опять тащились на Приморскую, где их встречал плешивый камердинер и сверзившиеся с колонн львы.

Раз в год у Шаховской устраивали состязания, выбирая короля поэтов. Чаинский называл их турнирами

банальностей, но охотно участвовал. Вокруг него клубились дамы полусвета, с папиросами в длинных мундштуках и газовых платьях. Юные дарования – девицы из купеческих семей и плаксивые веснушчатые гимназисты – доставали мятые листки, читали попетушиному, смущённо краснея. Те, кто поопытнее, с меланхолической отрешённостью закатывали глаза, заламывали руки, а сорвав аплодисменты, топтались манекенами. «Шедевр! – выносила приговор хозяйка, поклонявшаяся всему французскому – Почти Рембо... Вы читали его “Лето в аду”?»

«Бонжур, Серж!» – грассируя в нос, встретила она Чаинского, протянув для поцелуя дырчатую перчатку. – Ты нас осчастливишь?» После бурного романа, о котором говорил весь город, они оставались на «ты». Чаинский пожал плечами. «Я надеюсь», – улыбнулась она, шурша шелками навстречу очередному гостю. А Чаинский подумал, что у мужчин обращают внимание на глубину мыслей, у женщин – на глубину декольте.

Густел вечер. В зале пестрели поэтессы, шаркали по выщербленному паркету недоучившиеся студенты, молодёжь окружила толстенького критика, холодно кивнувшего Чаинскому – они были соперники, оба претендовали быть законодателями вкусов и пользовались расположением дам. «Ямб и хорей уже на закате, – проходя, услышал Чаинский, – сегодня все упирают на внутренний ритм, потому что поэзия – лингвистическая проекция бессознательного, как утверждает немецкая школа...» «Да что ты знаешь о поэзии? – подумалось Чаинскому, вспомнившему домашнего шамана. – Дух дышит, где хочет, его не загонишь под спуд монографий...»

Задули часть свечей, остальные обнесли лиловыми

абажурами, начались чтения. Распорядилась всем Шаховская, оживлённая и несколько суетливая. Спрятавшись в тень, Чаинский слушал привычные рифмы, испробованные веками интонации, но теперь эти выверенные, испытанные модуляции только оскверняли слова, делая одинаково глупыми и пошлыми. Не выдержав, он вышел в соседний зал. Там играли в карты.

– У нас язык богатый, слов без малого тысяч двести, – заявлял какой-то незнакомый Чаинскому купчик, азартно выхаживая с пик. – Почитай, три аглицких...

– Это из-за просторов, – вторил ему гарнизонный врач, благообразный старик, спивающийся после смерти жены. – Россия – ширь, всё смешалось... А у них остров, что тюрьма. Один только Нормандец и приходил за тыщу лет. Оттого мы и смотрим вширь, а не вглубь.

Старик развёл руками, поправляя о стол веер карт.

– Англичан погубят нетопленные каминны и овсянка, – блеснул третий из игроков, прослывшийся гурманом, оттого что кормился блюдами парижского повара. – Да-с, легче иметь хорошую литературу, чем хорошую кухню! А что вы ко мне всё глаза запускаете?

– Так карты – к орденам. А то, вижу, козырей полк скопили!

– Да, язык у нас красивый – работать некогда, – усмехнулся купчик, накрывая бубнового валета.

Врач представил Чаинского, предложил составить банк, но тот сухо откланялся. Развернувшись на каблуках, он услышал, как критик рассыпался в комплиментах какому-то золотушному студенту: «Это поэзия междустрочья, поэзия будущего! У вас, голубчик, лёгкая кисть...» Чаинского передёрнуло. Какое-то мрачное отупение навалилось на него, и он распорядился

привезти Сильвестра...

Повозка неслась по каштановой аллее в жёлтом мареве фонарей, заставляя расступаться гуляющих. Сильвестр зажался в угол, его ушные раковины тянули какофонию людских звуков – шипящих, рыкающих, свистящих... Стадо, безжалостное стадо! Ревущее, бляющее, орущее, мычащее, хрюкающее, вопящее, лающее, пищащее... Оно лизало шершавым языком, мучило, корёжило, жгло. За месяц у Чаинского он отвык от этой всепроницающей пытки, прячась в ледяной тишине кабинета, и тем болезненнее был возврат. Его окружал мутный водоворот слов, которые висли, как пиявки, царапали, как дикие кошки, кусали, как бешеные псы. Их полчища облепляли осами, нигде не было спасения от гудящего улья!

Жирной кляксой пала ночь, гости начали расходиться. В сопровождении купчика удалился изрядно набравшийся врач, отклонялся розовощёкий критик.

«Кто ещё мечтает о титуле короля?» – проворковала Шаховская. Кокетливо оттопырив мизинец, она обвела всех лорнетом. Чаинский легонько подтолкнул Сильвестра вперёд, как тогда в комнате. Нелепо хромая, тот вышел из круга. В драном, с чужого плеча сюртуке, протёртом на локтях и с закатанными рукавами, он был смешон – худшее из чувств, которые может вызывать артист. Пополз презрительный шёпот. Уставившись в решётчатое окно, Сильвестр молчал – незнакомые шорохи кружили голову. Аполексическим затылком опрокинулась на море луна, дул слабый ветер. «Духовной жаждою томим, в пустыне мрачной я влачился...» – громко продекламировал Чаинский. И тут злобная ухмылка исказила черты Сильвестра, тысячи слов пираньями вцепились в эти строки, растаскивая по

буквам и собирая вновь. Когда он смолк, никто не позаботился надеть ему на шею приготовленный лавровый венок, никто не проводил их с быстро ретировавшимся Чаинским, им вслед не раздавалось ни единой похвалы. Оторопевшие, все пребывали во власти угрюмого бормотанья, задевавшего их потаённые, неведомые им самим струны. «Соловей», «златоуст», «поэтическое божество» – ничего не выражавшие, бледные слова не шли с языка, услышанное завораживало, манило, пугало, причиняя боль и затопляя наслаждением. Всё преддущее выглядело ремесленничеством, грубой поделкой, слепком с идеала, приближением к приближению. Оно лишь касалось правды, не проникая дальше поверхности, довольствовалось отзвуками сокровенного, которым был Сильвестр Ведун. То, что прорывалось к ним вдохновением, было его обыденностью, он не задумывался о поэтических костылях, как олень, не имеющий представления о сухожилиях и анатомии бега. Но он не осознавал своего могущества. Возвращаясь в коляске, он встраивал «титул» в отсек словесной шкатулки, новым исполнителем в музыкальном концерте.

Сильвестр Ведун не вошёл в Историю, История – это закон больших чисел. Но там нет Бога. Бог, как и дьявол, сокрыт в деталях, Бог – это штрих на мировом полотне, сноска в книге бытия.

Дальнейшая история моего героя – это эволюция греха. После своего ошеломляющего, опереточного успеха Сильвестр заболел. Он метался в горячке, в непролазной, безобразной тьме, обостряющей чувства, в жару, напоминающем о преисподней. Однако его мозг продолжал расщеплять скорлупу слов, а жесточайший бред граничил с откровением. Чаинский проклинал себя, точно вор, прокрадываясь на цыпочках под дверь,

вытягивая шею, ловил безумные, бессвязные речи. Диковинные, они влекли его, как стервятника падаль. «Там царь Кощей над золотом чахнет...» – бубнил Чаинский, барабанил пальцами по дверному косяку. Сильвестр сильно исхудал, стал похож на сморщенного гнома, на заячью губу выбежал зуб. На третий день Чаинский всё же пригласил врача, того, что встретил за картами у Шаховской. С утра тот был трезв и болтлив. «Ну-с, где же ваш вещий Олег? – начал он бойко ещё с порога. – Шила в мешке не утаишь, показывайте своего кудесника, любимца богов!» «Чертей...» – с мрачной серьёзностью съязвил про себя Чаинский, приглашая в дом. Он почти ненавидел доктора, он к нему ревновал. «Что со мной? – думал он. – Ведь когда-то я любил этого трудягу, лечившего ещё отца... Ах, Сильвестр, Сильвестр!» Топчась в прихожей, врач съпал городские сплетни. «Антон Петрович (так звали розовощёкого критика) всему уезду растрезвонил про вашего феномена. Целую лекцию прочитал – что значит образование... – По утрам доктора съедала желчь. – А я скажу проще: ваш визави – осколок древности, когда прыгали через дровчатые костры и, гадая, пускали по реке плоты с лучинами. Один тогда наберётся духу, произнесёт в лад несколько слов кряду – и все на колени падают, покоряются волшебу... – Доктор расстегнул пуговицы саквояжа, доставая слуховую трубку. – Да-с, слово тогда исцеляло от ран, избавляло от недорода, поэты тогда священнодействовали. Помните, кто создал Грецию, – слепой Гомер, Персию – гимны огню. А северные скальды, а наши гуслиры... Куда прикажете?» Чаинский указал жестом. «Нет, что ни говорите, а поэзия только разновидность заговоров, вроде как у знахарок или лесничих...»

Собираясь точками на посуде, густо блестело

солнце, пуская по стенам зайчиков, резало глаза. Но на море уже собирался шторм, кучились пунцовые горы. Врач выстукивал Сильвестру рёбра, вызывая кашель, журавлём заглядывал в горло. Тот, как всегда, покорный, уткнулся в пол мутными васильковыми глазами. «Ничего страшного», – коротко бросил врач, укладывая саквояж. Из вежливости Чаинский предложил отобедать, но доктор отказался, отговорившись визитами. Уже в дверях, рассеянно потеряв лоб кулаком, как бы между прочим добавил: «Да, вот ещё что, не напрягайте его, убедительнейше прошу..»

Несмотря на прогноз, Сильвестр поправился только к зиме. За это время его навестила Шаховская. Выпорхнув из кареты, качая страусовыми перьями, она призналась Чаинскому, что не в силах справиться с собой. И тот её понял. Прогнав глухонемую сиделку, она заполнила собой комнату: сняла со свечей нагар, убавила лампадку перед черневшей в углу иконкой святителя Николая, распластала снедь. Её визиты стали регулярны. Вместе с Чаинским они грудились у его постели, неловко переминаясь, ловили каждое слово. Сильвестр ненавидел её фальшивые хлопоты, подоткнутое одеяло, поправленную подушку, но больше – щебетанье. Отвернувшись к окну, он наблюдал, как прикованная цепью собака, шалея, ловила пастью белые хлопья, прыгала, едва не опрокидывая конуру. Но посетителей было не смутить. Шаховская приезжала в сумерках, пряча лицо под вуалью с мушками, и её лошадь неприятно цокала сквозь метель. Её салон как-то сам собой распался, она отлучила завсегдатаев. Теперь смыслом для неё стало сидеть у больного, густо моргая, точно намазывая одну ресницу на другую, обратившись в слух. Увядающая, она опять видела себя барышней, совсем молоденькой,

в завитых по моде локонах, дрожащей кисеей платья на первом балу. Возвращение было мучительным, бросающая пряди на воспалённый лоб, она умоляла Сильвестра не молчать, совала ассигнации. Эта изнеженная, развращённая вниманием женщина чувствовала над собой власть неотёсанного, безусого юнца и была не в силах обуздать себя, совладать с постыдным желанием принадлежать ему, быть его рабыней, наложницей. И она пробудила Сильвестра, он вдруг понял, что может смять эту избалованную, роскошную женщину, как полевой цветок. Стадия личинки закончилась, к весне куколка превратилась в бабочку, крошка Цахес стал Циннобером...

Талант – это могущество. Сирены сладкозвучием победили Одиссея, а Орфей двигал камни, повелевая тенями. Сильвестр Ведун был новым воплощением Слова, его окончательным и бессмысленным торжеством. Он был Антихристом, пародией, обезьяной Бога. Дар возвышал его над моралью, догмами, миропорядком, он парил выше пороков, прозрений, долга, ошибок, мудрости, правды. Ведь слова выше суждений, вне истин с их банальной сущностью и наивными обещаниями. Сильвестр не заключал сделки с Вельзевулом, но как художник платил обычную цену, о которой не подозревал даже смутно. Впрочем, Страшный суд – для других, дьявол, как и Бог, в апологиях не нуждается, как может Творец судить творца? Тринадцатый апостол, Сильвестр мог бы вести род человеческий на край света, как флейтист – крыс. Втайне избранный быть орудием наказания, посланный опровержением суесловия и предостережением от тщеты, он был призраком, однажды осознавшим себя. В нём пробудилось грозное, растительное самоощущение, свойственное

ранним годам. Бич Божий, он вышел из подчинения, он всё больше становился отступником, бунтарём, падшим ангелом...

Чаинский совсем опустил. Он уже не искал повод, не напускал важности, требовательно приставив стул, он садился верхом и, нюхая со спинки кокаин, ждал, ждал, ждал... В Сильвестровом ведовстве он видел себя каким есть – разбитым, опрокинутым, в провинциальном городке, где рождаешься с чувством, что непременно уедешь отсюда после гимназии, и где через полвека тебя хоронят на заброшенном кладбище. И Чаинский знал, что ему уже никуда не деться из захолустья, где скука сводит с ума, а от глухой тоски хочется выть. Сам он уже давно не сочинял – зачем? – ведь ему всё равно не вырваться за ограду правильных стихов – за частокोल постылых размеров и пресных рифм.

Навестил Сильвестра и Фонбрассов – Антон Петрович был из немцев. Недавно вернувшись из столицы, он высокомерничал, сыпал новостями. «Там всё по-прежнему, – говорил он, отдавая лакею перчатки, – либералы грызутся между собой. А над всеми парит беллетрист, сующий Христа в полицейские романы. Все как с ума посходили – его ставят аж выше Флобера!» Сверкая залысинами, он долго рассуждал о том, что не каждому открывается воля богов, не каждому дано толковать их знамения, а после, уже на крыльце, вытирая платком череп, нёс околесицу: «Надо его в Петербург.. Показать государю...»

Как-то Шаховская за роялем импровизировала романс. По её просьбе Сильвестр сочинял слова. Он продиктовал двадцать семь вариантов – больше в доме не оказалось бумаги. Говорят, что никому не дано создавать шедевров, что некоторые произведения становятся

ими благодаря любезности времени. Но это ошибка. Считается также, что поэзия делится по жанрам, стилям, возрастам, сословиям, степени начитанности. Но глаголы Сильвестра жгли сердца с одинаковым безразличием. Он подбирал слова, осторожничая, как Гулливер среди лилипутов: ритмы других щекотали, его – разили наповал. В сравнении с ними остальная лирика казалась сочинением ярмарочных скоморохов, величайшие стихи – виршами, их язык – жаргоном. Искра Божия вспыхнула ярким пламенем. Он представил существовавших до него классиков бледной тенью, их лексику – маловразумительной невнятицей, набором вульгарностей, заимствованных из просторечья...

Сильвестр не фиксировал события, происходящее вокруг было чужим, враждебным, он едва помнил вчерашний день, зато мог отчётливо воспроизвести выражения, в которых год назад, карябая акцентом, английский боцман заказал ростбиф, или интонации трактирщицы на его первом причастии. Но всё изменилось. Чужие слова больше не буравили мозг, он научился строить защиту. Теперь он не прятался в ракушку от текущей вокруг реки косноязычия. Притупив абсолютный слух, он снизошел до неё, впитывая, как губка, чужие интонации, испорченный камертон, он передразнивал, пересмешничал, подражал... Так имитируют кваканье лягушек и пение цикад. Он схватывал мелодию речи, её обертоны и контрапункты с той же лёгкостью, с какой раньше подделывал анапест и гекзаметр. Он научился отзвучивать собеседника, быть эхом, зеркалом чувств. Пустотелая форма, он наполнился чужим содержанием, как кувшин – водой. Он видел скрытый подтекст, неграмотный, читал души, как раскрытую книгу. В разговоре с ним находили ответы

на сокровеннейшие вопросы, не замечая, что разговаривают с собой. Олицетворение красноречия, он становился олицетворением риторики, ораторствуя лучше Плевако и Цицерона, потому что отделял слова от вещей, не вкладывая в них души. Чужие желания прорывались в междометиях, сбивчивых модуляциях, представляли нагими в стеклянной витрине тела. Чаинский и Шаховская ползали на коленях, унижались, кланялись, питаясь его метафорами, как ненасытные, голодные демоны. Сильвестр звал их «словососами». Они стонали, бредили, галлюцинировали, рыдали от упоения и жалости к себе. По болезни коротко стриженный, точно капуцин, он исповедовал именем слов, приговаривал, миловал, внушал, от него уходили просветлёнными, но сам он был миражом, иллюзией, лже-мессией – будоражил, оставаясь спокойным, задевая корневые связи не выстраданными словами.

По городу поползли слухи. Молва приписывала Сильвестру чудотворство, и вскоре для простодушных подъезд Чаинского превратился в райские врата. Сюда шли за спасением, разуверившиеся, позабывшие себя, надеялись обрести себя в звуках его перекошенного рта, в бездне его гипербол и сравнений. Тропую ложных солнц, они брели к дому, где в распахнутых настежь дверях скалился Чаинский. Поначалу он ещё вяло протестовал, назначая очередь, комкая свидания со своей говорящей собственностью, но постепенно его смели, и он махнул рукой.

Приходил сухой, как палка, спивающийся доктор, рыхлый, слывший гурманом, купчик. Аккуратно протискивались бочком, извинялись, нагличали. «Э, разрешите взглянуть на урода... – прятали за ухмылкой робость, растерянно мялись в дверях, ломая

шапку. – Говорят, он – сумасшедший...» И тут же, сглаживая оскорбление, заявляли развязно и одновременно заискивающе: «Впрочем, норма – это серая посредственность... Не так ли, Серж?» Чаинский провожал к Сильвестру, жадно припадая к замочной скважине, слушал скрипучий голос. В этом резком тембре он видел ребёнка, который, накидавшись снегом с дворовыми мальчишками, накатавшись в ломавших хрупкую корку санях, возвращается в тёплый дом пить горячий кисель, приготовленный охающей нянькой, румяный, разомлевший, он чертит своё имя по заиндевавшему стеклу. «Смотри, замёрз весь!» – журит маменька. Всё кругом в мареве, и жизнь представляется ему длинной-предлинной и безмерно счастливой. Но годы валяются грудой хлама, не добавляя ничего к тем мгновеньям зыбкой радости...

К весне Сильвестр сбежал. Ему не суждено было стать пророком, судьба уготовила ему иной жребий.

Он поселился в горах среди тучных пастбищ, где его уже ничто не могло потревожить, кроме пастушьей свирели и журчанья ручья. Всё сипевшее, кашляющее, плаксивое осталось там, внизу, в городе. Неприхотливый, как пустытники, Сильвестр облюбовал пещеру, где настелил валежник, сложил очаг. Здесь была его скиния, его храм, и он мог часами предаваться жертвоприношению на алтаре слов. Отшельник, он искал одиночества и забвения, но чесоточными, шелудивыми овцами потянулись паломники. Вначале ими были окрестные пастухи с опалёнными солнцем ресницами, являвшиеся послушать диковинные рассказы. Они смыкали круг каракулевых папах, и единственным воспоминанием о них были хлеб и козье молоко,

оставленные платой за слова. Потом стали приходиться и горожане. Его речевая мимикрия изумляла, он разгадал код слов, меняя кожу, как змея, он стал их сфинксом, их оракулом.

Отлучался Сильвестр редко – его мир был всегда с ним. Проходя как-то раз по валунам через журчащий ручей, он подумал, точнее, в такую мозаику свернулся вдруг алфавит, ведь мыслить образами, вне слов, он не умел, что слова – те же камушки, положенные в мутный поток бессознания, сорваться с них – значит погрузиться в сумасшествие и тьму. На минуту у него закружилась голова, но продолжившийся перебор страховал от безумия.

После внезапного исчезновения Сильвестра в городе всполошились, расспрашивали трактирщицу, врач задним числом ставил диагноз. «Всё ясно, как божий день, удар при рождении заклинил правое полушарие, и чёрная кровь прихлынула в левое, гипертрофированное, необычайно развитое...» Не понимая его построенный, все согласно кивали. Но эта мнимая ясность не ограждала от неуёмной жажды Сильвестровых слов; медик, как и все, испытывал по ним волчью сыть. Эта невыносимая тяга, эта необоримое влечение толкали на поиски.

Между тем Сильвестр обрёл друга. Дружба эта была странная. Его приятелем стал крестьянин, бобыль, распахивающий на волах участок, грубый, косный, неразвитый. Он был первым, на кого не действовали Сильвестровы чары. Послушав его немного, он почесал затылок: «Ишь, балабол...» Примитивный, почти дикарь, он был ниже речи, слова, как сабля, свистели над ним, не задевая головы, не обольщали, не причиняли

мук. И Сильвестр полюбил спускаться в долину, отмахиваясь веткой от гудящих комаров, сидеть под деревом и смотреть, как он впрягает волов, наблюдать за его каторжным, сизифовым трудом.

Ночами звездило, синели иззубрины гор. Дорога в пещеру освещалась бордово пятневшей луной, вилась меж валунами. Однажды по ней пожаловал гость. Медведь брызгал слюной, огромные лапы секли воздух, скрежетали о камни. Зверь пришёл недавно и ещё не освоился. Вернулся и Сильвестр – мгновенье зверь и человек смотрели друг на друга. Человек начал ласково, убаюкивающе, он рассказывал о далёких звёздах, обрѣкших всё живое быть вместе, о тяжёлой участи родиться, о залитых светом полянах, которые ждут всех в долине ушедших, и постепенно враждебное рычание стихло, зверь отступил. Так Сильвестр понял, что язык выше словаря. С тех пор он, как мифические герои, владевшие языком зверей и птиц, разговаривал с цветами и животными. Он видел, что вся природа стонет, мучается, кричит, он разбирал шѣпот воды, брань леса, причитанье звѣзд.

Раз огнём на стене явился красный монах. С гранита рукава пламени потянулись вглубь, Сильвестр отшатнулся.

– Тобою недовольны...

– Кто?

– Тот, кто именами одушевлял предметы.

– И что ему нужно?

– Любви. Тебе ниспослали дар.

– И жало в плоть? – Сильвестр вытянул хроющую ногу. – Прикажешь любить и это? – Оттопырив пальцем заячью губу, высветил щербатые зубы. – Человек

рождается в мерзости, живёт, как скользкий обмылок, а его речь – трескотня головёшек в костре, который разжигает похоть... – Исчерпав небогатый церковный арсенал, Сильвестр перешёл к житейским сравнениям. – Оттого он любит топчущих его, а любящих – топчет... – Он сделал паузу, но монах не обратил внимания на ловко ввёрнутый афоризм. – Один раз любовь уже приходила в мир, и что – приняли её?

– Слово без любви мертво, – задумчиво прошептал монах. – Без любви слова слепы, истинный свет неизречён, истинная речь бессловесна. А из не выстраданных слов вьётся паутина зла.

Сильвестр расхохотался:

– Уж не ловишь ли ты меня в словах, монах?

Где-то протяжно заухали совы.

– Вот ответ на любую софистику, – задрал в потолок палец, продолжил Ведун. – Бог пострадал, но люди неспособны на страдания. Добровольная жертва – неудачный оксюморон...

Он сделал жест, собираясь развернуть мысль.

– Апокалипсический зверь совсем не страшный, – с какой-то ласковой отрешённостью перебил монах, – у него нет ни рогов, ни когтей. И число его вовсе не шестьсот шестьдесят шесть, а ноль, ибо он оставляет пустыню. Он есть, и его нет, и поэтому он – зверь...

– Что есть зверь? – умыл руки Сильвестр в потоке сентенций. – Если мы не знаем даже, что такое человек?

Монах глубоко вздохнул.

– Жертва Богу – сердце сокрушённое, а зверь – это равнодушие, его земная тень – Великий инквизитор...

– Откуда тебе знать? – закричал Ведун.

– Я был им.

Языки пламени задрожали, и монах исчез.

И тут Сильвестр пробудился, не понимая сна, ещё не отличия его от яви, выскочил наружу, в мерцанье звёзд, в тёплый, льющийя припадками дождь.

Чаинский явился неожиданно. Он был в охотничьем костюме, с хлыстом за голенищем. Поджидая Сильвестра, расседлал лошадь. В городе он сказал, что отправляется пострелять уток, но ему не поверили, да и сам он чувствовал, что больше походит на дичь. Как и при первой их встрече, ярко польхало солнце, вокруг всё кипело от жары.

Дорогой Чаинский подбирал аргументы, уговаривал Сильвестра согласиться на условия, которые сам же и выдвинет, репетируя, он вслух горячо убеждал его вернуться, но теперь растерялся, застыл в жалкой позе просителя.

Вруках он вертел пакет – деньги, которые они тайком насобирали с Шаховской, и видел всю их ненужность здесь, посреди гула полей и одиночества гор. Чаинский смотрел Сильвестру в переносицу, и в глазах его стояли слёзы. Сильвестр опёрся через кулак о гранит, исчезнув в перепутанных пегих космах, думал, что слова – лживые посредники. А Чаинский натуженно теребил пакет, прислонившись спиной к дубу. Так они и стояли, пока не подкралась ночь. За всё время Чаинский едва выдавил про свободу, которой отныне будет пользоваться бывший его слуга, у него стучали виски, он уже предвидел провал миссии, но Сильвестр неожиданно согласился. Ему в первый раз стало жаль человека.

Низко висело солнце, корчилось карликом на горизонте. Сильвестр долго гулял по набережной, всматриваясь во паловую даль. Он уже отобедал в привокзальном

ресторане, ел устрицы, трюфеля, зашёл в цирюльню, оделся у модного портного. Платановая аллея вывела его к трактиру, где он провёл отрочество. В кадке клешнями чернела пальма, всё было по-прежнему: выщербленная стойка, рыдания пьяных, оскорбительная вонь. Только жёлтого кенара сменил в клетке общипанный, облезлый щегол. Возле ног бездомной дворнягой крутился подросток с мокрым полотенцем наперевес.

– Хозяева дома? – спросил Сильвестр.

– На рынке-с...

Потухший, отсутствующий взгляд сироты.

– Служишь давно?

– Как мамка умерла...

Мальчишка кинулся сметать пыль, навернулась слеза.

Сильвестр заказал чаю.

– Спишь в чулане...

Подросток равнодушно кивнул. Обнажая пунцовый зев, клонул зерно щегол.

И тут Сильвестру захотелось побыть отцом, ведь быть отцом – значит немного быть Богом.

– И, верно, в приходскую отпускают? – продолжил он допрос. Теперь он поддельвал язык прислуги, как раньше – язык господ. – Неси бумагу.

Он диктовал, а мальчишка корпел, склонив голову набок. Сильвестр сосредоточенно глядел на своего двойника, избавляясь от иллюзии, на которой держится мир: веры в «я», вокруг которого, как мотыльки, мечущиеся над керосинкой, вращаются мысли, слова и поступки. Теперь он видел множество огоньков, одинаково мерцающих, плывущих по реке под безмолвным небом, огоньки уже слились с течением, стали его частью, и Ведун осознал, насколько глуп и беспомощен

человеческий эгоизм.

Круг замкнулся, на болоте выросли розы. Грязная вселенная Сильвестрова детства рождала венки соцветов, диваны газелей и многое, чему ещё не дали названья. Сильвестр знал, что они принесут мальчишке славу. Его славу. И впервые в жизни улыбнулся.

– Разыщешь Фонбрасова, скажешь: сочинил.

Мальчишка отчаянно закивал.

Сильвестр достал пакет с деньгами:

– Это тебе...

Представление назначили в номерах. Наспех оборудовали сцену, собралась кучка посвящённых. В человеке неистребима жажда утешения. Предвкушая сладкое забытие, они ёрзали на стульях, курили, нервно обмахивались веерами. Они ждали. Сильвестру открыл лакей с пошлыми бакенбардами. Среди публики он узнал бывших хозяев. Трактирщица, натянутая, как струна, сидела рядом с Шаховской, капризно дувшей губы. Пора было начинать. Но он молчал. Он вспомнил красного монаха, бывшего Великим инквизитором, кроличьи глаза крестившего его грека, мальчишку из трактира. Ему было жаль их, несчастных, мечущихся в поисках себя, и от этой безмерной жалости к людям он не мог произнести ни слова. Его сокрушённое сердце видело вокруг братьев и сестёр, он не мог больше обманывать их, а правду они знали и без него. На улице орала благим матом распутная женщина. «Моя мать...» – подумал Сильвестр.

Гробовую тишину сменил шёпот, недоумение нарастало, их терпение было на исходе. Они чувствовали себя соблазнёнными и брошенными, их напрасно поманили, как бродячих собак, и теперь отдали на бойню.

Они едва сдерживались. Первым на него бросился Чинский. Одержимые, они рвали его на части – женщины, словно вакханки, визжали, царапая ногтями, мужчины старались силой разжать ему рот, выдавливали зубы. Иные, спасаясь, затыкали уши – их подавляла исходящая от него тишина. Его мозг ещё привычно представлял буквы, фразы, звуки, уже не находившие выхода. Он ещё мог усмирить их, но он смертельно устал. Он хотел освободиться, исчезнуть из этого искалеченного тела, он жаждал убить этот всё разъедающий мозг. Это был его крест, его Голгофа. Он научился жалеть людей, понял, что сострадание выше слов, осознал, почему Бог, которого ему предстояло увидеть через мгновенье, молчалив. Но люди его не жалели, как и тысячу лет назад они пожирали кумира, ломали ему рёбра, выворачивали язык. Опомнились, когда всё было кончено. Им стало жутко: вытирая окровавленные губы, стыдились взглянуть друг на друга, перешагивая через останки своего идола, стали расходиться...

Так в дешёвой гостинице посреди нелепых, жалких людей умер Сильвестр Ведун, величайший из поэтов, равного которому не видел свет. Как и любой, он не был виноват в своей доле, он сделал всё, что от него зависело, искупив зло злосчастьем.

РОМАН С РОЗОВЫМИ ОЧКАМИ

Чтобы сохранить мужскую силу, китайцы советуют сжимать себе яйца по количеству лет, и Лев Рукопят взвешивал каждый год в кулаке, пока, устав, не сбился со счёта. За окном бурлила Москва, кипела под крышкой голубого, весеннего неба. Но Рукопят не замечал в нём ни птиц, ни ангелов. Когда-то он был успешным писателем, однако вкусы меняются, и его последний рассказ отвергли несколько журналов. Теперь он целыми днями горбился с газетой, угрюмо курил, пуская залысынами «зайчиков», скользивших по клубам табачного дыма. «В семейной жизни движение двустороннее, – мерила его взглядом жена, – не дай бог вылететь на встречную полосу. Она косилась на мужа, как на протез, с которым нельзя ни сродниться, ни расстаться. А Рукопят всё чаще рассматривал мир сквозь бутылочное стекло.

– Кто пьёт вместе чай, может пить и водку, – раз выстрелил он, пряча за газетой поднятую рюмку.

Жена вздохнула:

– Пить вместе могут все – попробуй вместе не пить.

С тех пор молчание лежало в квартире, как лужа в овраге.

Семейный монастырь с годами налагает обет целомудрия, и Рукопяту давно казалось, что у него нет тела.

«Грех один», – подводил он черту под своим существованием и жил вне времени: прошлое вызывало у него сожаление, настоящее – горечь, будущее не вызывало ничего.

Однажды его пригласили в Дом литераторов на вечер известного поэта. В тот день он тщательно побрился, выдернул из ушей седые волосы и надел «двусторонний» свитер, который, когда тот грязнился, выворачивал наизнанку. На улице кропил дождь, прохожие прятали свою боль под зонтами, а чужую пропускали через сердце, как верблюда сквозь игольное ушко. На миг Рукопяту показалось, что они сговорились дать ему пощёчину. Остановившись у витрины, он сделал вид, что рассматривает мужские костюмы, и поправил причёску. В толстом, затемнённом стекле он выглядел моложе, как и в том сне, когда мать, вычёсывая гребнем упрямые колтуны, тихо вздыхала: «Лёвушка, ну когда же ты, наконец, снимешь розовые очки?» От смущения он просыпался, испуганно таращился на черневшее в углу фото и вспоминал, что мать давно умерла, а наяву так никогда не говорила.

«Рукоблуд?»

Администратор поднял голову, ткнув пальцем в список приглашённых.

И Рукопят подумал, что фамилию коверкают, как судьбу.

Зал был полон, ему досталось тринадцатое кресло, в которое он провалился, как мяч в баскетбольное кольцо. Стихи уже читали – глухой, заунывный голос доносился, будто из-за прозрачных кулис.

– Он хороший поэт? – не поворачивая головы, спросила соседка.

– Возможно, в переводе на русский... – ответил он, не отрываясь от сцены.

Соседка облизнула губы, и Рукопят почувствовал, что слюна у неё горькая.

В перерыве Рукопят теснился у стола с двумя пластиковыми стаканчиками, его толкнули, и он облил вином девушку в вельветовых джинсах. «Извините, – улыбнулась она, вертя между пальцев гардеробный номерок, – это я вас толкнула...» Она быстро его поцеловала, по вкусу слюны он узнал соседку и от растерянности пригласил её в гости.

Вещей у Ангелины не было, сняв блузку и джинсы, она осталась посреди комнаты с родинкой на плече и мурашками под ночной сорочкой. Рукопят пробил отдельный вход, врезал замок, а дверь в общий коридор загородил тяжёлым комодом. Для всех он уехал в глубинку. «Провинциалы грубее, но человечнее», – отвечал он на удивлённые звонки, пока не отключил «мобильный». А на кухне оставил записку: «Время, в котором я живу, отстаёт от московского, и с каждым часом я старею на фоне сверстников. Надеюсь, в провинции стрелки внутренних часов будут показывать правильное время, ведь там оно течёт медленнее».

А вокруг всё было по-прежнему: работая отбойными молотками, под окнами стелили асфальт, из-за плеч друг у друга выглядывали высотки, русский язык разъедали американизмы, а хромой дворник, подволакивая ногу, вычерчивал на земле знак доллара. Перед Рукопятом проплывали годы бессмысленной учёбы, обманутые надежды, первая женщина, семейные сцены, бедность, похороны матери, будни, изрешечённые обедами и вдохновение под прицелом издательских договоров. События выстраивались в памяти хаотично, представляясь клетками кроссворда, заполнять который можно в любом порядке: женившись, он сел

на школьную скамью, закончив десятый класс, шёл в первый. Но Рукопят надел розовые очки. «Каждая любовь – первая, а каждый развод – последний», – думал он, и ему казалось, что, встретив Ангелину, он получил вознаграждение за бестолково прожитую жизнь.

Я – Ангелина, лет мне, сколько пальцев у мужчин, но я давно замужем. Муж намного меня старше, он – известный поэт, и это всё, что я о нём знаю. А он знает обо мне только то, что я повсюду разбрасываю одежду и мужские духи предпочитаю женским. Кого винить? Со всеми одно и то же. Сначала вместе едят-пьют, смотрят телевизор, занимаются любовью, а потом есть начинают отдельно, телевизор смотреть порознь, а любовью заниматься на стороне. Теперь, когда муж говорит «да», я говорю «нет», а когда он говорит «нет», я молчу. Ночами мы лежим в постели каждый на своей половине, опасаясь, как водители на дороге, выскочить на встречную полосу, и упираемся взглядом в потолок. В его разводах, как в облаках, проступают человеческие лица, но каждый видит в них своё.

«Короток бабий век, – думаю я, глядя на мужа, – от “любого” до “любого” в нём полшага».

И не требую развода.

В постели я старше мужа. Мне не передалась его привычка зарабатывать деньги, зато ему привилась моя – ими сорить. Я его подавляла, он стал больше курить, и в результате стал пассивным гомосексуалистом, а я – пассивным курильщиком.

На вечере мужа в Доме литераторов я скучала, пока в буфете на меня не опрокинули красное вино. «Велизарий Тяпокур, – представился неловкий молодой человек с двумя стаканчиками в руках. – Для друзей просто

Вел...» Он протянул мне полный стаканчик: «Первый – на платье, второй – “на грудь”». Улыбнувшись, он обнажил белые зубы, за которыми я сразу увидела его голым. И пошла за ним, как была – в вельветовых джинсах, с родинкой на плече и мурашками под сорочкой.

Жена Рукопята читала сквозь слёзы записку мужа, но думала о сыне. Сын был взрослым, жил отдельно и, как многие его ровесники, проводил дни и ночи в интернете – знакомился с девушками, заводил семью, расхаживал, наживал врагов, зарабатывал деньги, которые тратил в интернет-магазинах. Он был близорук, при встрече щурился и носил очки, которые казались матери розовыми. Она видела, что сын сбежал в искусственный мир, реальность которого виртуальна и отличается от её собственной, как небо от земли. А теперь ушёл муж.

«Всякий муравей бежит по своей дорожке, – решила она, – бывает, дорожки пересекаются, но никогда не совпадают». Под автоматные очереди отбойных молотков сделала несколько шагов по комнате, заткнув уши, влезла на подоконник и наглухо захлопнула форточку. А потом, упираясь пятернёй в стекло, громко призналась: «Скулы свело – так им завидую!»

Раньше Вел Тяпокур не пропускал ни одной юбки, теперь не взглянул бы и на «мисс Россия». Ангелина ворвалась в его жизнь, вытеснив прежние увлечения. «Грудь у тебя больше задницы», – восхищался он, когда она вертелась перед зеркалом, и Тяпокур мог видеть её всю, как свой затылок в парикмахерской. Но чем сильнее он любил Ангелину, тем чаще изменял ей во сне – с женщиной много старше, которая была его женой, и от которой имел взрослого сына.

Лев Рукопят был польщён: забравшись с туфлями на диван, Ангелина перебирала его рукописи.

– А ты хорошо пишешь?

– Сама почитай.

– Я верю.

Так он догадался, что она неграмотна.

«Знаешь, – отодвинул он в сторону исписанные листы, – когда-то я был хорошим читателем, но, научившись писать, разучился читать. Хорошо можно делать что-то одно, и тебе придётся выучить буквы, чтобы наши половинки сложились в целое...»

Подкралась осень, и в саду по ночам трещали, лопаясь на морозе, оставшиеся на ветвях яблоки. Лев Рукопят переживал вторую молодость. Волосы из ушей перебежали у него на голову, а чувства обострились настолько, что у каждого цвета он стал различать запах, а у каждого запаха – цвет. День приходил, как в юности, голодным, а насыщался лишь к вечеру.

– Какой молоденький! – достала раз Ангелина его фото из старого семейного альбома.

– Дай сюда! – закричал он и разорвал фото. – Я ревную.

Ангелина была очаровательна. «Понедельник – день тяжёлый», – ложилась она засветло в воскресенье. И просыпалась во вторник. А, бывало, учила: «Для счастья нужно, чтобы реальность дополнялась мечтой: жизнь без мечты скучна, а мечта без действительности – невыносима. Раньше ты мечтал обо мне, но жизни у тебя не было – сейчас, воплотившись, исчезла мечта... Что лучше?» Рукопят молчал. «Одна моя часть хочет одного, другая – другого, – думал он. – Слово одно, но в “я иду”, “я курю” и “я сознаю” “я” – разные...»

Встав ночью по нужде, Вел Тяпокур не включил свет. Вытянув, как слепой, руки, которые утонули в густом, как жижа, мраке, он двинулся по квартире, которую знал, как свои пять пальцев. И тут раскрытая дверь, попав створкой между рук, ударила его торцом. Тяпокур упал, потеряв сознание. А когда очнулся, нащупал у себя шишку, седеющую бороду и залысины. Над ним хлопотала немолодая женщина, которая звала его Лев Рукопят.

«Ангелина, собирай чемоданы!» – кричал Лев, проходя мимо нового, возвысившегося над провинциальными лачугами, супермаркета. И я его понимала. Столичное время расплзлось, как туча, и гнало нас всё дальше. «На мой век мест хватит», – кривился он, и я кивала, пропуская его боль через сердце, как нитку через игольное ушко. Раз, мучаясь бессонницей, мы читали в постели сонники, положив их на подушку, я – мужской, он – женский, и мне вдруг подумалось, что совместная жизнь нам ничего не сулит, что мы в чём-то промахнулись, где-то промешкали, и у нашего будущего вышел срок годности.

Жена Рукопята представляла себя молодой, вспоминала вечер мужа в Доме литераторов, на котором они познакомилась. Тогда разговор поначалу не клеился.

– Тяжело говорить с незнакомым, – виновато улыбнулась она.

– А со знакомым?

И как в воду глядел – молчание теперь лежало, как лужа в овраге. Жена Рукопята думала, что жизнь – улица с односторонним движением, что одиночество чернее тучи, и от этих мыслей наворачивались слёзы. Она

пыталась сбежать, спрятаться в ночные грёзы, но утро беспощадно раскалывало их скорлупу тарахтевшими под окном отбойными молотками.

Столичное время настигало нас, как борзая зайца. Собираясь в дорогу, Лев нахлобучивал на лоб потрёпанную шляпу, а когда, прибыв на новое место, снимал, обнаруживал под ней чужое лицо – моложе, без бороды. Но постепенно лицо старело, появлялись морщины, и он становился самим собой.

«Это тот, кого ты увидел в витрине, – догадалась я. – Его имя – Вел Тяпокур – читается в твоём, как в зеркале, как и ты в своих снах, он моложе тебя, но в отличие от твоих, чёрных, носит розовые очки».

Встречая у подъезда «скорую», Ангелина Рукопят залезла в почтовый ящик. В толстом, запечатанном сургучом конверте возвращали рассказ мужа «Роман с розовыми очками». Всё ещё комкая надорванный конверт, Ангелина вела врача по лестнице и, забегаая на ступеньку вперёд, шептала скороговоркой: «Месяц пьёт один, разговаривает с самим собой...»

ЗВЕРЬ

Он был невысокий, щуплый, с голубыми, ясными глазами. Виски уже серебрились, но щёки были гладкими, как у мальчишки.

«Татарские гены», – пошутил он.

Ресторан был пуст, официанты сервировали столы, в огромном зале густела тишина. Разговор завертелся вокруг справедливости.

– Где ты её видел? – рассмеялся Иван Терентьевич. – Вот же заказывали одновременно, а тебя первым обслужили. И так во всём. Тебя в школе били?

– Не помню.

– А меня били. Слабый был, а дети к животным ближе. Это потом зверство скрывать научаются.

– Без лицемерия какая цивилизация, один каннибализм.

– А может, так честнее? – тронул он лоб. – Была у меня история... Даже не история, а эпизод. Я по первому образованию юрист, и после университета работал в прокуратуре. Следователи там презирали кабинетных червей, гордились, что в гуще жизни. И я гордился, считая себя стражем закона, да и в справедливость тогда ещё верил. Раз поручили мне вести дело одного «цеховика». В Средней Азии на него целый город работал. Кого купил, кого запугал. И перед убийствами,

видать, не останавливался. Русский, из казаков, малолеткой отсидел за грабёж и подался к солнцу. Тут среди узкоглазых и раскрылись его таланты: набрал кустарей, открыл швейный промысел, и деньги потекли бешеные. Блатные, конечно, пронюхали, предложили «крышу», но он и с ними быстро разобрался. Фамилия его была Бирюков. Отчаянный мальй, ему высшая мера грозила, а он допросы в философские беседы превращал.

Иван Терентьевич пригубил вина. Ресторан оживился, вокруг сновали официанты, посетители, множась зеркалами, плыли в сизом, табачном дыму.

– С виду Бирюков был невзрачный, но силу внутри имел необыкновенную. А главное, был хищником. Таких немного и в природе, и в обществе, иначе бы жизнь давно прекратилась. Но зверь внутри нас их всегда чувствует. Жестокий он был до безумия. И властный. Три шкуры драл, а ему подчинялись. И овца не блеет, когда волк дерёт. Жил баем, хлопковым плантатором, завёл гарем из туземок. Дикость, средневековье! Стонали, плакали, а пикнуть не смели, ненавидели, а терпели...

Иван Терентьевич закашлялся. Плеснув в рюмку, отпил мелкими глотками.

– Взяли Бирюкова по доносу, комиссия из столицы накрыла с поличным, да он и не прятался. У нас его сразу поместили в одиночку: дело простое, думали, и стажёр справится. И вначале всё шло как по маслу. Но исподволь Бирюков стал мне свою философию навязывать. Жизнь, говорит, это драка над пропастью, куда каждого хотят столкнуть. А кто прав, кто виноват – как разобрать, оставшихся-то бульдозер подчистит. А? Каков образ? При этом в Бога верил и церкви жертвовал... Ты веришь?

Я пожал плечами.

– Вот и я тоже, – плеснул в рюмку Иван Терентьевич. – Царство небесное внутри? А зверь? Он откуда? Тоже внутри сидит и караулит своего часа... Дело продвигалось, и картина вырисовывалась ужасающая. Тирания, которая Чингисхану и не снилась, а крови на подследственном – хоть рубаху отжимай, на три высших меры. И Бирюков стал меня ломать, впрямую не покупал, а больше намёками. И не угрожал, а мне делалось страшно. За мной государство, армия, но он был зверь. Даже в клетке моего кабинета, даже в наручниках, он оставался хищником. Человек сомневается, а зверь уверен, ты понимаешь, уверен, поэтому всегда побеждает...

Чиркнув спичкой, Иван Терентьевич закурил.

– И постепенно мы поменялись местами: у него стало проскальзывать «ты», он угощался сигаретами со стола. У него за спиной одиночная камера, над головой приговор висит топором, а он куражится! Нет-нет, и моллил, и заискивал, но взгляд колючий, вот-вот бросится. И знаю, что не бросится, а боюсь! Умом понимаю: мразь, ничтожество, – а дрожу вроде бедных азиатов. А ещё думаю, чем я лучше? Палач, убийца. Он-то за свою жизнь в одиночку борется, а я храбрец, когда кругом решётки. И домой прихожу – те же мысли. Суд-то в его случае обернётся пустой формальностью, так или иначе, а вынести приговор придётся мне. Но кто я такой?

– Собрать улики не значит судить.

Иван Терентьевич будто не слышал.

– Выходит, такой же зверь. Только называюсь охотником.

– Но воспитание совсем другое.

– А что воспитание? Разве оно исправляет натуру? Нет, зеркало не изменяется от того, что отражает. И пока зверь внутри затаился, лучше его не дразнить.

Иван Терентьевич выпустил кольцо.

– Тянулось так месяца два. Бирюков чувствовал, что поддаюсь, а однажды оскалился: «Назови цену!» Лето, страшная жара, я в мундире, а он рубашку расстегнул – волосатая грудь, наколки. Я опешил. И вдруг мой кабинет, охрана, пистолет в ящике – всё исчезло, а на земле, как и миллион лет назад, остались хищник и жертва. Я не мог пошевелиться, точно скованный гипнозом. Отбросив ногой стул, Бирюков скривил шею, будто собирался перекусить горло, и я понял, как он прибрал к рукам город.

Появились музыканты, хрипло взвизгнул микрофон. Пары, неуклюже выбираясь из-за столиков, затоптались у сцены.

Иван Терентьевич затаился.

– Это нам подавай тихое местечко, а зверь по крови тоскует! И когда Бирюков навис, обжигая дыханием, я вдруг понял, что все наши учреждения – камуфляж, декорации. А царствует всё тот же зверь.

Я пристально посмотрел на него.

– Ну, нет, до этого не дошло, – отмахнулся он. – Зазвонил телефон, будто невидимая рука потрясла за плечо. Я кликнул охрану. А на другой день подал в отставку...

Грянул оркестр, Иван Терентьевич беспомощно развёл руками.

– А что стало с Бирюковым? – прокричал я.

На безбородом лице показался румянец:

– Расстреляли. Времена были другие.

Он отвернулся, смяв в пепельнице окурочок.

– Впрочем, времена всегда одинаковые: бирюковы

и, – кивнул на танцующих, – стадо...

Песня неожиданно оборвалась, и на нас удивленно покосились.

– Да-да, чудовище обло, стозёвно и лаяй – одни топчут, другие пресмыкаются, – скороговоркой зашептал Иван Терентьевич. – А я с тех пор занимаюсь мёртвыми языками... Скажешь: струсил? Может, и так. Но мне не стыдно, пойми, зверя может одолеть только зверь! – Иван Терентьевич стал похож на забившегося в щель таракана. – Однако Бирюков меня и сейчас донимает. В сумерках сядет напротив и ест жестокими, ненавидящими глазами. «Назови цену!» – вопрошает тогда весь мир.

Принесли счёт. Официант равнодушно взял деньги. По столам уже зажгли абажуры, размазанные тени пластались по стенам.

Иван Терентьевич как-то сразу постарел, васильковые глаза помутнели, и я подумал, что двадцать лет назад он всё же вынес приговор – себе.

Поднявшись, я сухо откланялся.

РОДИНЕ НУЖНЫ ГЕРОИ

Гражданка Трагова? Это из военкомата.
– А в чём дело? – затаила дыхание Ольга, беспокоясь за сына.

– На основании закона о воинской обязанности вы зачислены в списки отправляемых в Чечню...

Ольга, как была с трубкой в руке, сползла по стенке.

– Это ошибка.

Голос стал суше.

– Никак нет. Вы патологоанатом, а в Моздоке ваши коллеги не справляются.

– Но я потеряла квалификацию.

– А там большого ума не требуется.

Ольга промолчала.

– Да вы не бойтесь, – сменил тон военный, – в зону боевых действий не поедете, а в Моздоке тихо.

И повесил трубку.

– Жену успокаивай, – захлебнулась Ольга, слушая гудки.

Ольге сорок. У неё пьющий муж, который, случается, её бьёт, и переросток сын, прочно застрявший в выпускном классе. Угрюмо косясь на мать, он проводит дни, слоняясь с плеером в ушах, таскает из карманов мелочь и, чуть что, задирается, как заусенец.

«Лишь бы не наркотики», – крестится Ольга.

Её мысли уже много лет раздваиваются между счетами за квартиру и готовкой обедов, её семейная жизнь начинается с порога, где на неё, точно ущербный месяц, смотрит сын, лает собака и попрекает муж. «Дармоеды! – грозит он кулаком. – Сидят на моей шее». Однако денег не даёт, запирая их в фаянсовую свинью.

Ольга часто думает о разводе, но квартирка маленькая – не разменять.

Училась она давно, как и большинство, не зная толком, зачем, а, проработав с год по специальности, не выдержала. Морги ломились от огнестрелов, коренастые, коротко стриженные ребята привозили окоченевшие трупы и за полсотни долларов требовали протокол вскрытия. За столом дрожали руки, страх лез под воротник, а кругом – грязь, зимой – холод, летом – мухи, и вечно пьяные санитары, липнущие, как тени, в свете ультрафиолетовых ламп.

И Ольга устроилась библиотекарем. Думала на месяц-другой, а задержалась на одиннадцать лет. Работа ей нравится, только вот коллектив женский, и, когда она приходит в тёмных очках, прикрывая оплывший синяк, у неё хихикают за спиной.

Весь вечер Ольга просидела зарёванная, уткнувшись в стену, а, когда пришёл муж, выложила всё.

«Надо служить! – злорадно отрезал он, закрываясь в своей комнате. – Родине нужны герои».

Схватив за поводок собаку, Ольга выскочила на улицу.

Родители у неё умерли, а родственники навещали в год по обещанию. «Некому заступиться за сироту», – криво усмехалась она. И часто вспоминала, как в детстве её отправляли на дачу, где сквозь дыру в заборе она видела, как сосед режет кур. Безголовые, те бежали по двору, стуча крыльями о землю, пачкали кровью

белоснежные перья. А другие, кудахча, ловко отскакивали в сторону, продолжая клевать зерно.

Ольга курила на лавочке, подставляя щёки осеннему ветру. Топча сочившуюся грязь, из церкви возвращалась соседка, которая со вздохом кивнула. К тому, что на свете все судьи, Ольга привыкла, но тут ей сделалось стыдно.

«Надо звонить Жоре», – несколько раз повторила она, кусая губы.

Георгий Лукьянов, бывший сокурсник, держал частную клинику. Когда-то он ухаживал за Ольгой, дарил после лекций цветы, а к четвёртому курсу, бледнея, сделал предложение. Но Ольга отказала. Гремя на кухне посудой, она теперь часто вспоминает тот день, и ей кажется, что её нарочно подтолкнули, заставив оставшуюся жизнь кусать локти.

«Приезжай, обкашляем», – хрипло отозвался Жора.

Всю ночь Ольга беспокойно ворочалась, накрываясь с головой одеялом, видела во сне Чечню, и её дразнил голос Требенко: «Она там, она там – патологоанатом!»

А утром, схватив сумочку, полетела к приятелю. В подъезде у Жоры были видеокамеры, и Ольга, чувствуя на спине их взгляд, дважды ошиблась, набирая домофон.

– А ты не изменилась, – шурился спросонья Жора.

Ольга это и сама знала. В юности она занималась спортом, и этим продлила бабий век. Но ей было всё равно приятно, и, утопая в кресле, она без страха рассказала про звонок.

– Да уж, весёлого мало, – вдруг протянул Жора. – Войкам только попадись.

У Ольги ёкнуло сердце. Кресло стало вдруг раскалённой сковородкой.

– Что же делать? – вытянулась она, как струна.

– Деньги есть?

Ольга густо покраснела.

– Пл-о-хо, – опять протянул он, отворачиваясь к окну.

Хмурое небо липло к земле, накальваясь на голые деревья. Доносилась ругань, машины обливали грязью, и прохожие жались к домам.

Оправив юбку, Ольга поднялась и неверными шагами направилась к выходу.

Одних время укрывает одеялом – других выгоняет на мороз. «В зените жестокое солнце, и люди под ним – без тени сострадания!» – часто повторяет ей набожная соседка, спуская на нос очки. Она предлагает сходить в церковь, но Ольга не верит в другую жизнь, ей и эта не по силам.

Как в спасательный круг, Ольга вцепилась в сумочку, но по дороге расплакалась.

– Пойми, Жорик, – уткнулась она ему в халат. – Оттуда здоровенные мужики возвращаются, будто с иглы слезают...

– А зачем мне понимать? – с философским равнодушием заметил Жора, глядя вверх неё на холёные ногти. – Мне туда не ехать.

Однако, хватив через край, похлопал по плечу:

– Ну-ну, Москва слезам не верит.

Они стояли посреди комнаты, а мимо плыло прошлое. Достав платок, Ольга стала промокать тушь. Пристально взглянув, Жора вдруг стиснул ей запястье и быстро зашептал:

– Послушай, а ведь у меня тоже камень на шее. Сын-инвалид, в коляске, ровесник твоему.. – У него дрогнул голос. – Соками налился, а с этим делом ничего не получается: и врачей приводил, и шлюх...

Поражённая, Ольга отстранилась.

– Да я, собственно, не настаиваю, – деланно зевнул Жора. – Просто друзьям помогать надо. Один только раз.

Он прошёлся по комнате, закурил.

– А ты думаешь, мне легко? – кивнул он на запертую дверь. – Мать в европах, а я с ним, как папа карла, – он глубоко затынулся, задравшийся рукав обнажил татуировку. – Короче, решайся: ты – мне, я – тебе.

И Ольга поняла, что Жорик мстит за отвергнутую любовь.

Она опять вспомнила окровавленную курицу и, ничего не говоря, отправилась в ванную, доставая на ходу губную помаду.

На другой день в женской консультации при Жоринной клинике она получила справку, которую отнесла в военкомат.

А через три месяца раздался звонок.

«Вы нам справочку приносили о беременности, – напомнили из военкомата. – Так вот через недельку занесите подтверждение. А то у нас очередной набор».

«Жён отправляйте!» – огрызнулась про себя Ольга.

За стенкой орал пьяный муж. Из-за их ссор сын вторые сутки не ночевал дома. Ольга вспомнила Жорика, его калеку-сына. Её затошнило, и, обхватив горло пальцами, она впервые подумала: «Надо ехать в Чечню».

ПСИХОЗ

☞ Смерть – дело новое, – шурился в вестибюле Виссарион Личуй. – Привычки требует.

Был вечер, ресторан уже заполнился, и гардеробщик не обслуживал.

Плюнув на ладони, Евдоким Куття разгладил перед зеркалом волосы.

– Второй раз всё скучно, – зевая, оттянул он кожу с белков, словно выявляя у себя желтуху, – оттого и живут одиножды.

У Евдокима были глаза в красных прожилках и веки без ресниц.

– Судьба вроде напёрсточника, – продолжил он, – сулит выигрыш, а под каждой скорлупкой у неё пустота.

Он высунул язык и легонько присвистнул. Так, с высунутым языком, он и шагнул в зал, доставая на ходу пистолет со стволом таким длинным, что неизвестно, как он помещался в кармане.

За Евдокимом тенью скользнул Виссарион. Словно кондуктор билеты, он собирал кошельки, пока Евдоким отрывисто лаял про ограбление. Зажатой в кулаке рукоятью Евдоким тёр глаза к носу, точно доставал соринку, и, раскачивая стволом, брал на мушку потолок.

Протискиваясь обратно сквозь стеклянную вертушку, Евдоким Куття неожиданно вернулся к разговору.

– Привыкай, – ввинтил он дуло в ухо напарника, спуская курок.

Хлопнул выстрел.

Никита Трепещ вздрогнул и, ещё не проснувшись, утопил кнопку будильника.

Никита был свободным философом, засыпал со старинным, в кожаном переплёте, изданием Шопенгауэра, а просыпался с новыми комментариями к Гегелю. Он и сам пописывал в журналы, при этом его левая рука опровергала то, что выводила правая. Из слов кафтан не сошьёшь, и Никита задохнулся бы от безденежья, если бы ни пришедшая с радикулитом известность. Она заставляла говорить то, во что не веришь, и молчать о том, чего другие недоговаривали. Но Никита не поддавался. «В царстве глухарей и кукушка соловей», – рубил он с плеча за глухими стенами своей комнаты.

У таких каждый волос на голове застрахован, а время идёт, держась за перила. И тут – дикий сон. Утро казалось испорченным. Сунув подмышку очередную статью, Никита впервые за долгие годы вышел из дома на голодный желудок. «Не позавтракаешь – завтрак за тобой весь день бегать будет», – хмурился он, спускаясь в лифте с соседом. Три этажа его вислоухий щенок, поскуливая, тёрся о ноги, а к четвёртому, задрав лапу, помочился Никите на штаны.

«Не утерпел», – вылетая за поводком, извинился собачник.

А Никита поехал вверх, топча ботинками жёлтую лужу.

Его привычки сводились к двум «нет» и одному «да»: он никогда не вставал с той ноги, не заходил так далеко, чтобы не вернуться, и, пересчитывая в зеркале

морщины, кивал своим мыслям. «Поезди дёт по расписанию, – подумал он, когда у него полезли болячки, – скоро прибытие». Незаметно он сделался старше окружения, отпевал в церкви знакомых и, сжимая колыхавшуюся на сквозняке свечу, перечислял заслуги покойников. А те прибывали, выстраивая за плечами очередь. «Вчера был пустырь, а сегодня уже обжили», – удивлялся он разросшемуся кладбищу и думал, что землю, как огород, заселяют в два этажа: живые – верхки, мёртвые – корешки.

На улицу Никита выводил себя редко, как собаку по нужде, а дома изводил бумагу, стараясь сосредоточиться, чесал за ухом, тихо лысея среди книг и, бог знает, сколько раз произнесённых истин.

«Это Евдоким Кугтя, – бросил сыщик, выслушав потерпевших. – До чего обнаглел “Пёс” – даже маской пренебрегает!»

И отправился прочь походкой волкодава.

А Никита Трепец снова встретился с Евдокимом, едва сомкнул глаза следующей ночью. Он уже знал, что Евдоким любил, чтобы кровь в жилах не застаивалась, и у Никиты от его шуток бегали мурашки. Он сучил ногами, сбрасывая одеяло на пол, но сон не отпускал. Он слышал, как грозно рычали друг на друга угрюмые мужчины, как, пряча под шрамами лица, тянулись к голенищам сапог. Договаривались приходить без оружия, но ведь у мужчин нож вроде щетины – лезет сам по себе.

Блестела сталь, у Никиты захватывало дух, но Евдоким каждый раз опережал.

«Пёс, сын пса...» – хрипели поверженные.

Из ночи в ночь история разворачивалась, как сказки Шахерезады. Никита мучился, ходил к психиатру – тот

крутил пуговицу на его пиджаке и выписывал таблетки. Но стоило закрыть глаза, как кошмар был тут как тут. Он словно караулил под дверью и, когда сумрак вынимал ключ, пролезал в замочную скважину. «Не бойся, касатик, – ворожила над Никитой знахарка, катая по блюдцу яйцо. – Мы его враз одолеем». Она надувала щёки и повторяла скороговорки такие заковыристые, что Никита удивлялся, как она не сломает язык. Но не помогли ни присказки, ни заговоры.

– Вообрази, – жаловался Никита по телефону, с перепугу путая себя и Евдокима местами, – я – сон какого-то уголовника!

– Во снах, мы те, кем должны быть, но не стали, – смеялись на том конце.

И Никита брёл, спотыкаясь о сны, как пьяный о ступени, чувствуя себя насекомым, раздавленным каблучком визжащей женщины.

Евдоким вёл себя всё развязнее. Он являлся будто невзначай, под дулом пистолета брал займы, записывал долг на манжете, и в каждое пришествие твердил про скуку и смерть. Не давая передышки, бил кувалдой, и под его ударами жизнь грозила перевернуться, рассыпавшись, как карточный домик.

Никита был потомственный интеллигент. «Правда, талантливо?» – спрашивали его, принимая назад свои рукописи. Он спешно кивал, сравнивая деликатность с горбом. Передуманное у таких обрастает плотью, пережитое хudeет, как камень на ветру.

Дамы от него млели. А он от них нет. Неудачно женившись, он удачно развёлся, и с тех пор жил бобылём, считая, что дважды с ума не сходят.

Никита врос в жизнь, как пень, сегодня у него проходило с оглядкой на вчера и прицелом на завтра. Его пугали метаморфозы, утрата «я» представлялась апокалипсисом, и теперь от ужаса перед сном у него зуб на зуб не попадал. Вечерами он бесцельно слонялся по квартире, оттягивая встречу, долго мылся и в полруки разбирали кровать.

Но постепенно свыкся. Ночами, перекручивая простыни, бегал от полиции, хрустя позвонками, отстреливался и, кусая подушку, любил продажных женщин. Наяву он был всюду чужим, чувствуя, как за спиной крутят у виска пальцем, зато во сне везде был своим. Дни вылетали стреляными гильзами, и Никита уже с нетерпением ждал ночи. Здесь он был смел, его считали человеком дела и «своим» даже в одиночке. Когда Евдоким разживался круглыми суммами, Никита ворочался с бока на бок, а когда хмелел, у него трещала голова. Иногда он подсматривал сны Евдокима, перемешанные с его воспоминаниями, словно в детской куче-мале.

«Кажется, во всём своя логика, – думал тогда Никита, которого прошибал пот, – а глянь со стороны – сумасшедший дом...»

Было утро, почёсывая кривым ногтем лопатку, он варил кофе, и его не покидало ощущение бессмысленности.

Евдоким был Никите ровесником. Он отличался мрачноватой весёлостью, числился в бегах и перед ним ходили на цырлах. Совести у него совсем не было. Он всюду чувствовал себя, как рыба в воде, не сожалея о дне вчерашнем и не заботясь о завтрашнем. Говорил мало, думал ещё меньше и не распускал соплей, даже

простужаясь. Евдоким крестил покойников, сложив пальцы в кукиш, держал в рукаве пятого туза и легко умирал, чтобы воскреснуть на другую ночь. Его правила складывались из двух отрицаний и простой арифметики: он ни перед кем не ломал шапки, не ставил авторитеты ни в грош и любую величину мог умножить на ноль. Однажды в лесу ему не уступили дорогу овчарки. Он расправился с ними. А потом и с хозяином. Жадный до жизни, Евдоким, как рубашку в штаны, торопился запахнуть в год три. Про таких говорят, что еду они солят уже во рту, а ботинки шнуруют на ходу.

Его домом было «я», и оно же было его церковью. В ней причащались кровью пережитого, а список грехов возглавляло сомнение.

Был вечер, выстукивая марш на подлокотнике, Никита утопал в кресле, качал на ноге тапочком и искал способ избавиться от Евдокима. «Сны продолжают нашу судьбу, – листал он старинный сонник. – Во снах мы те, кем должны были стать, но не стали». Во сне можно было увидеть суженого, положив под подушку сушёные коренья, наслать порчу и, помочившись на простыни, отвадить соперника. Но Евдокима ничего не брало. Когда Евдоким получал нож в спину, Никиту пронзала острая боль. Он открывал глаза и в темноте видел тускло блестящий нож, торчавший у себя меж лопаток. Его охватывал ужас. Согнутый в подкову, он глядел затылком, пропуская руку между ног, тянулся к рукояти, но, едва коснувшись, понимал, что проснулся во сне.

И от этого просыпался уже наяву, корчась от радикулита.

«Во сне всё быстрее, – кусал он до крови губы, – а быстрая смерть – счастье...»

Сонник оборвался, трепеща страницами, полетел на пол.

«Мира не сдвинуть и на ноготь», – смирился Никита, чувствуя себя памятником на собственной могиле.

С этого момента он переменялся. За Шопенгауэра выменял пистолет со стволом таким длинным, что неизвестно, как он помещался в кармане, а за Гегеля – финку. Он больше не отводил глаз и при встрече не тянул руку первым. «С оружием мужчина уверен не больше и не меньше, чем без него», – поучал его Евдоким, и Никита, бегал за наставником, как «зайчик» за зеркалом.

– Правда, талантливо? – обращались к нему с намазанной на лицо улыбкой.

– Как унитаз, – обрывал он, не узнавая своего голоса.

И неведомая сила разворачивала его на каблуках.

«Не я отвечаю, – понимал он, – но Евдоким во мне».

Кто-то видит во сне ангела, кто-то – беса, для Никиты поводырём стал беглый каторжник. Он носил его, как женщина ребёнка, доставая из кармана, как компас. Едва смыкались веки, перед ним всплывали глаза без ресниц, с белками в красных прожилках. И Никита перевоплощался, повторяя чужие движения, превращался в тень. Он хохотал над тем, отчего наяву плакал, и радовался, что ускользал от наручников.

Евдоким Кугтя, человек из сна, подчинил его своей воле.

Поначалу Никита пробовал навязать Евдокиму и собственные сны, которые были назойливы, как стук почтальона, но тот оставался глух и не открывал им двери.

Зато Никита скрипел зубами, когда во сне его

посещали уголовники, с их воровским законом. «У кого волчьи клыки – тому кусаться, а кому заговорили зубы – пахать», – вскочив посреди ночи, выводил Никита в нестройном свете лампы. Строки плясали, он то и дело поправлял очки и снова валился в кровать, чувствуя себя бунтарём.

Никита погружался в сны всё глубже, проводя дни в бесцельной маете, проживая их, словно расстояние между событиями, которое надо перетерпеть. Прежние занятия – перелицовка черновиков и возня с рукописями – теперь представлялись ему скучной, бесполезной игрой, вроде пасьянса, годного разве, чтобы скрасить ожидание. Зато ночи не обманывали, от них захватывало дух. Чтобы скорее забыться, Никита бубнил, пересчитывая овец, и, как в зеркало, вплывал в сон.

– И всё-таки смерть – дело привычки, – настаивал Виссарион Личуй.

Плюнув на ладони, Евдоким Кугтя опять разглаживал перед зеркалом волосы.

– Второй раз всё скучно, – зевая, оттянул он кожу с белков, – оттого и живут одиножды.

От его признаний не шевельнулся даже сонный гардеробщик.

– Судьба вроде напёрсточника, – продолжил Евдоким, – сулит выигрыш, а под каждой скорлупкой у неё пустота.

Высунув язык, будто собака над костью, он легонько присвистнул. Так, с высунутым языком, он и шагнул в зал, доставая на ходу пистолет.

Но на этот раз сыщики оказались проворнее.

Они, как тени, вынырнули из-за портьеры, а дремавший гардеробщик достал полицейский жетон.

Жизнь – не мозаика, по схеме не сложишь. Теперь Никита готовил во сне чифирь, носил арестантскую робу, клетки которой повторяли решётку его камеры, и распевал блатные песни, которых, проснувшись, не понимал.

Но это было уже не важно. Потому что наяву Никита оказался в психиатрической больнице. Его забрали из ресторана, где он с мрачной ухмылкой ввинчивал в ухо официанта ствол пугача. Врачи признали его ненадёжным, цокали языком, слушая рассказ про людей, которыми они могли быть, но не стали. А Никита, спеленатый рубашкой с пуговицами на спине, открывал им глаза. Свою болезнь, которую таковой не считал, он объяснял ошибкой небесной канцелярии, подменившей ему судьбу. Это на нём, а не Евдокиме, стояла печать рецидивиста, при рождении их перепутали. Однако душа знает о своём предназначении и оттого стучится в его сны.

Решётку из сна днём сменяли железные прутья, сквозь которые, просунув руку, можно было потрогать насмешливое послание свободы – цветы на клумбе. Никита проводил время в постели, сутками разглядывая потрескавшийся потолок, обрастал бородой поверх простыни, и уже смирился со своим положением. Но однажды случилось чудо. Сон, цепкий, как репей, отпустил его, и он навсегда потерял двойника. Через неделю его выписали. И всё пошло своим чередом: он по-прежнему хрустел солями, писал с оглядкой, а из зеркала ему подмигивал книжный червь.

Умер он мгновенно. Так умирают герои снов, когда пробуждается сновидец.

– Представляешь, – свесился с нар Евдоким Кугтя, которому струйки пота расчертили грудь крестом,

– мне снилось, будто меня зовут Никита Трепец и я согнут радикулитом!

– Сон в руку, – оскалился Виссарион Личуй, доставая из подушки заточку, – пора валить охранника и делать отсюда ноги.

ПО-СЕМЕЙНОМУ

Когда мы расставались, в её огромных, беспокойных глазах стояли слёзы. Она успела побывать замужем и снова мечтала о браке. Расходились бурно: у меня вырывались упрёки, у неё дёргалось веко, кривились тонкие, болезненно ярые губы.

А через двенадцать лет я, мыкаясь по углам, явился по газетному объявлению.

– Лена?

Я узнал её сразу, да и она, казалось, не удивилась. Лена была ещё красива, хотя с годами немного раздалась, теперь в её облике проступила та хваткая уверенность, которая рано или поздно приходит к женщине.

Она жестом пригласила войти, и я, не опуская чемодан, перешёл к делу.

– Вы можете остаться, – на щеках заиграл румянец. – Бельё раз в неделю, стол за отдельную плату.

– Послушай, глупо играть в незнакомых.

Она улыбнулась.

Моё окно выходило в сад, и, когда открывалась дверь, сквозняк шевелил занавески. Из мебели был старинный двухстворчатый комод, закрывавший полстены и пускавший по утрам солнечных зайчиков.

Круглый год Лена сдавала комнату, а сама жила в другой, со шкафом, заваленным тряпьем, колченогими

стульями, кроватью сына. Я вспомнил, как она говорила: «Если никого не встречу, заведу себе ребёночка».

Тогда я опускал глаза. А теперь её мальчику было около десяти. Его звали Андреем.

– А отчество?

– Андреевич. Как-то же надо было.

Годы дались Лене трудно. Помощи ни от кого не ждала, тянула воз, огрубев от ежедневной борьбы. Я тоже был побитой собакой, за сорок – ни кола, ни двора.

И вскоре мы опять сошлись.

На ночь она читала сыну про волка-королевича и, дождавшись ровного дыхания, шла ко мне, обдавая жаром изнывавшего тела. А я совсем обезумел: изголодавшемуся по теплу, этот шаткий уют рисовался убежищем от холодного мира.

Замелькал календарь. Лена работала допоздна, возвращалась опустошённая. Поначалу мы пытались беседовать, но постепенно наши разговоры свелись к нестиранным рубашкам и вымороченным воспоминаниям.

– Не надо... – обрывал я, ища в темноте горячие губы.

И любовь смывала всё.

Деньги Лене нужны были на лечение: под простыни она стелила Андрюше клеёнку, скатывая по утрам мокрую постель. К тому же он слегка заикался. Врачи говорили – от впечатлительности. Большеглазый в мать, он часто сидел посреди разбросанных игрушек, подперев щеку худым кулачком. Чтобы подружиться, я подарил ангорского кота. Тот забирался на руки, урчал, обжигая кислым запахом, и Андрюша смеялся.

А скоро я убедился, что на свете все пасынки.

Лена стала покрикивать. «Опять без тапочек!» – гремело среди ясного неба, и между бровей у неё проступала

складка. Андрюша ёжился и с трясущимися губами шарил под кроватью.

Но мать есть мать.

Несмотря на наши отношения, раз в месяц я выкладывал на комод взлохмаченные, свёрнутые пополам купюры, которые Лена с торопливой неловкостью смахивала в ящик. Мы оба стеснялись этого момента: говорили преувеличенно громко или неестественно молчали.

Утром она уходила, а я валялся до обеда, играл с котом, радуясь, что мне удалось спрятаться от жизни. В драном засаленном халате я, как привидение, слонялся по квартире, развалившись в кресле, перелистывал старые, пожелтевшие журналы. Но постепенно неприкаянность делалась невыносимой, и, когда в полдень появлялся Андрюша с туго набитым портфелем, я чувствовал себя счастливым отцом.

Был вечер, глухо барабанил дождь. Взобравшись с коленями на табурет, Андрюша грыз ногти. Нужно было делать уроки, но он, склонившись над тетрадкой, застыл в мечтательном оцепенении. Из сада тянуло свежестью, а я совсем размяк: стоял под форточкой и, глядя на сгорбленную фигурку, думал, что мне нарочно послали сына, чтобы прежняя жизнь показалось пустой и никчёмной.

– Опять!

Она вошла незаметно, ткнув ногтем в голые пятки. Андрюша вздрогнул и, соскочив, бросился в коридор.

– Ну что ты... Как кошка с мышкой...

Она обожгла меня взглядом.

Однако настроение у Лены менялось быстро. Её визг ещё стоял в ушах, а она уже укрывала ребёнка стёганым одеялом.

– Я тебя люблю, потому и наказываю, – ласково шептала она, глядя ему волосы. – Разве я не права?

– Пр-а-ва... – успокаивал её Андрюша, постигая азы лицемерия.

Из настенных часов выскочила кукушка. Лена погасила свет, мелко перекрестив спящего:

– Андрюшенька, милый...

И опять в её покрасневших, чуть припухших глазах стояли слёзы. С полчаса она гремела на кухне посудой, а потом у меня в комнате твёрдым голосом заговорила о воспитании, долге, помянула Бога.

– Ну что ты зло срываешь, он же не игрушка.

– Вот именно!

И опять постель утопила всё.

Со временем я окончательно пригрелся. Мне казалось, я научился выносить Ленины истерики. В конце концов, это её ребёнок, а я – кукушка в чужом гнезде. Возможно, Лена права, с посторонним жильцом ему было бы легче.

Раз мы гуляли с Леной по городу. Было холодно, густели сумерки. Перебирая гитару в тусклом свете фонаря, горланил пьяный:

«Жена найдёт себе другого,

А мать сыночка – никогда!»

Я остановился, кинул монету. Он проницательно подмигнул, но Лена уже тянула меня за рукав.

А дома всё текло по-прежнему. Когда вспыхивала ссора, я прятался за дверью, опустив щеколду, разглядывал обои. «А мать сыночка – никогда...» – бубнил я, заткнув уши. А ночью мне снился кошмар. Будто я, ребёнком, лежу в постели, и ко мне является во сне страшная, безобразная хворь. Припадая к моей груди, она алчно сосёт кровь. Я стону от ужаса и, решившись,

ударяю её ножом – хворь хохочет и исчезает. А проснувшись, я вижу Лену, которая во сне была моей матерью, – с зияющей на шее раной.

И тут просыпаюсь окончательно.

Незаметно пришла зима. Закружили метели, забили в решётчатые окна, покосив черневший забор. Андрюша всё чаще кусал заусенцы, в его угрюмой сосредоточенности читался упрёк.

В то утро Лена умывала его у раковины, дёргала гребнем упрямые колтуны.

– Не крутись, дай вычищу нос!

Я вспомнил, как мыло разъедает глаза, когда стоишь с напеченной головой, а чужие пальцы бесцеремонно скребут макушку.

– Я сам...

Андрюша попытался разорвать пуповину.

Её лицо исказилось, она по-мужски выругалась, пнув трущегося о ноги кота.

– Ма-ма, не н-а-до!

Андрюша втянул шею.

Я стоял боком, ковыряя на стекле изморозь.

– Это же твой сын...

– Да, мой! – перекинулась она на меня. – А ты – постоялец!

Нервные, выпирающие скулы, голодные глаза. «Заведу себе ребёночка...» Я готов был её убить.

Под растрёпанными волосами у неё рдела шея. Она стала лупить по Андрюшиным испуганно вскинутым ладоням, и каждая пощёчина укрепляла её власть. Во рту у меня вырос кактус, в висках застучало. Я метнулся к раковине, точно крыльями, размахивая обшлагами рукавов.

И тут натолкнулся на стеклянный взгляд.

– П-у-сть убирается! – пронзительно закричал Анд-
рюша. – Он, он один во вс-ё-м виноват!

И это было высшей правдой.

На другой день я съехал.

ДЕШЕВЛЕ СЛОВ

В самолёте Иона Кундуль увидел у соседа свою книгу.

- Нравится?
- Ничего особенного.
- А многим нравится.
- Ещё бы! Бестселлер.

За долгую писательскую карьеру Кундуль научился держать удар. К тому же спасал псевдоним. Он отвернулся к иллюминатору.

- Но соседа было не остановить.
- А вы её читали?
- Пришлось.
- Согласитесь, не шедевр. И зачем писал?
- А вы зачем читаете?
- Время скоротать.
- Может, он тоже?

Едва пристегнули ремни, как внизу уже поплыли огни аэропорта, над облаками засеребрилась луна.

- Интересно, он это всерьёз?
- Пожав плечами, Кундуль улыбнулся:
- Со вкусами не спорят.

– А я люблю поспорить, – вернули ему улыбку. – Со вкусом.

Кундуль вздрогнул. Когда-то он сам так каламбурил.

Положив книгу на колени, сосед оттянул за ворот цветастый свитер, обнажив загорелую грудь. Кундуль узнал свой жест.

– А что, у вас тоже есть книги? – пробормотал он.

– Есть. «Шесть миллиардов и один». Повесть о человеке и человечестве. Оригинально, правда?

У Кундуля заложило уши. «Шесть миллиардов и один» было его раннее произведение, которое он повсюду выкупал, чтобы уничтожить. Кундуль, не отрываясь, смотрел на соседа, и ему вдруг показалось, что всё это с ним уже происходило – и самолёт, и книга, и то, как он произносил слова – будто за суфлёром.

– Оригинально не значит гениально... – буркнул он.

В проходе покатали столик. Взяв леденцов, Кундуль предложил соседу. Ему хотелось спросить его имя. Но тогда бы пришлось назвать своё.

А тот рубил воздух.

– Гениев создают поколения, литературе, как и земле, безразлично, кого носить...

И Кундуль вспомнил, как призывал писать так, будто первым составил слова в предложения, вспомнил своё: «Отсутствие авторитетов – единственный авторитет!» и не мог понять, почему кончил сочинителем заказных романов. Но когда-то было по-другому. Был дом за резным палисадом, были ворота с целующимися голубями, грушевый сад с качелями, на которых, болтая ногами, хорошо считать звёзды, пыльная, заваленная журналами этажерка и жёлтый зобатый кенар, не дававший спать по утрам. В провинциальном городке жизнь вдвое короче, зато время в три раза длиннее. Кундуль рассеянно кивал, прикидывая, живы ли ещё родители и сколько лет остаётся до женитьбы.

Самолёт набрал высоту, и гул от моторов стих.

– Интересно, он разбогател? – разглядывал сосед обложку.

– Не думаю. Что может быть дешевле слов?

– Это смотря как продавать!

«Да ты сам и купить не умеешь! – усмехнулся Кундуль, представляя, как, возвращаясь из магазина с пустым кошельком и набитой сумкой, он слушает вздохи матери: «Ах, непутёвый, вечно тебя обманут!» Он тщательно выбрит, значит, мать ещё жива. Но осенью после её смерти заболит и впервые отпустит бороду. Кундуль почесал нос: грамматика не предусматривала такой встречи – он живёт четверть века назад, и зовут его Иннокентий Дулёв.

– Эй! – пристально взглянул сосед. – А я вас где-то видел.

– Наверно, во сне.

– Я серьёзно.

– Я тоже.

Самолёт лёг на крыло, проваливаясь в воздушную яму. Сосед побледнел.

– Бойтесь?

Он крепче вцепился в подлокотник. И Кундуль представил, как при мысли о смерти он вскрикивает по ночам, холодея от ужаса, хватая с этажерки журнал с единственной целью забыться, забыться... «Завтра пойду в церковь», – даёт он слово, будто Бог – старший брат, который заступится, стоит к нему обратиться. Но приходит день, страх отступает, и он отмахивается: «Не сегодня...» И так будет откладывать всю жизнь, защищаясь бесконечной отсрочкой.

Самолёт выровняло, и он повеселел.

– Не за себя боюсь – жаль огорчать друга.

– А есть друг?

– К нему и лечу.

«А я – с его похорон!» – чуть не закричал Кундуль. Ему захотелось рассказать о грязной, пропахшей чужими пальто квартире, о заросшем бурьяном кладбище, на котором могилы, будто влюблённые, целуются крестами, о грубо выструганном гробе, намокшем под серым дождём, – сыра-земля всё примет, об убогих поминках, на которых вдова глухо рыдала: «Все бросили, вот и пил...», о том, как, не выдержав, выскочил на улицу и, закурив, подсчитывал, сколько лет не звонил покойному.

– Хочу пригласить его на свадьбу, скоро женюсь.

«А разойдётся ещё скорее», – скривился Кундуль, вспоминая истерики, изматывающий развод и унижительный делёж детей:

– Жена, как застарелая язва, то открывается, то утихает, но ноет постоянно.

Пришёл его черёд вздрогнуть: это была фраза из «Шести миллиардов и одного».

– Так вы читали?

– Доводилось.

– И как?

– Не шедевр.

И Кундулю сделалось стыдно. Точно опять дразнил сестёр-близняшек, деревенских дурочек, носивших имена с таким же равнодушием, как простенькие ситцевые платья и стоптанные босоножки. Сквозь дырку в заборе он крутил им у виска, а они смеялись над собой вместе с ним.

Тогда он был злым от наивности. Теперь – от равнодушия.

– Облаять и собака может..

«Хуже, когда обходят молчанием», – возразил про

себя Кундуль. И ему стало жаль его. Или себя? Местои-
мения, как и глаголы, не отражали случившегося.

– А о себе я пока и сам невысокого мнения.

И в самом деле. Только, бродя у реки, с улыбкой бор-
мочет: «Центр мировой литературы постоянно переме-
щается. Вместе со мной». Он ещё мечтает о книге, кото-
рая удивит мир, рассказав ему о себе самом, перевернёт
его, и пройдёт немало времени, прежде чем поймёт, что
книги пишут вовсе не для того, чтобы их читали, что
они, вроде клубной карты, необходимы для вступления
в закрытый орден и лишь отражают принадлежность
к кругу, в который ведут тайные пути. Он ещё верит во
всевластие букв, в то, что талант, как камертон, настро-
ен на чужую боль и что писательский долг – улучшить
мир. Но когда медные трубы разовьют глухоту, поймёт,
что мир принадлежит другим, а писатель может лишь
бросить слово в чужое окно, как другой – камень.

– А за славой я не гонюсь...

– Так не подписывайте книги! – не выдержал Кун-
дуль. – Как иконы.

В доме с палисадом Кундуль любил рассуждать о
мире, который представлялся таинственным и в кото-
ром он брёл наощупь. Теперь в мире не оставалось бе-
лых пятен, и он всё больше молчал, наперёд зная, что
случится, точно жил во второй раз. И в его разговорах
главное место занимало кровяное давление, за кото-
рым он следил больше, чем за тиражами своих книг.
«Это раньше вместе с оружием в могилу опускали спи-
сок подвигов, а сегодня – историю болезни!» – кряхтел
он, давно перевалив возраст больниц. «Каждый сам
себе либо врач, либо могильщик, – добавлял он к месту
и не к месту, и у него не хватало мужества пошутить:
«Если могильщик, то и роды примет!»

Вычеркнув себя из списка провинциалов, он сжёг старые рукописи. Но прошлое, как тень, проступало снова и снова, и он знал, что стоит сейчас открыть рот, как оно встанет в полный рост. Испугавшись, Кундуль прикусил палец, как делал это в детстве, чтобы не сболтнуть лишнего, и ему показалось, что, спасая его, сосед рассказывает о своих планах, о том, как его напечатают в столице, куда после свадьбы привезёт свою любовь. Вслушиваясь в его речи, Кундуль обрадованно кивал. Но сосед молчал. И в темневшем иллюминаторе Кундуль вдруг увидел, как, оттянув свитер, с жаром говорит про свой развод, про склоки в редакциях, рассказывает, как, перебравшись в столицу, множество раз твердил: «Слова нужны не для того, чтобы проявить смысл, а для того, чтобы его спрятать», как, отрезая прошлое, взял псевдоним, а теперь, запутавшись, уже и сам не знает, кто он. То и дело слюнявя палец, точно переворачивал невидимые страницы, он жаловался на одиночество, слепоту публики, на унижительные гонорары, за которые приходится кривить душой так, что вырастает горб, на всесилие издательского интернационала, определяющего, кто сколько стоит, признавался, что узнал цену миру, который оказался дешевле слов. Он говорил и говорил, пока вдруг не поймал взгляд, которым одаривают стариков. Опустив голову, сосед уткнулся в книгу, и на мгновение Кундулю показалось, что они сидят в разных самолётах, которые летят в противоположных направлениях. Ему ещё хотелось открыть будущее, рассказать, что всех вталкивают в жизнь, которую проживают по инерции, хотелось поделиться горечью и предостеречь от ошибок. Но вместо этого закрыл глаза.

Самолёт приземлялся, загорелась команда пристегнуть ремни. Выплюнув леденец, Кундуль огляделся. Кресло рядом пустовало. И ему подумалось, что в другом самолёте у пассажира в цветастом свитере соседнее место тоже свободно.

ОН ПРИШЁЛ

*И увидев Его, просили,
чтобы Он отошёл от пределов их.*

Мф. 8:34

Свидетельствует Семён Рыбаков, таксист из Новоиерусалимска:

Я увидел *его* холодным апрельским вечером идущим в город по лесной дороге. *Он* не голосовал, но я решил подработать.

– Куда?

– В Лавру.

– Служба уже кончилась, храмы закрыты.

– Разве церковь может закрываться?

Я пожал плечами.

– Мне на ночлег..

«Бродяга, – подумал я. – Денег не жди...»

– На свете все бродяги, – прочитал *он* мои мысли. – А зачем вам деньги, Семён Петрович? Жена от вас ушла, дочь – у тётки, и достраивать дом, начатый после свадьбы, не для кого. От одиночества вы боитесь спиться, вот и «бомбите» допоздна. Так что нам по пути.

– Мы знакомы?

– Давно, только вы об этом не догадывались.

Следователь: «И вы ему поверили?»

Рассказывает Фома Ребрянский, московский

художник:

Год назад у меня обнаружили СПИД. Надежд на лечение не было, друзья отвернулись, и я ходил по монастырям, чтобы не сойти с ума или не наложить на себя руки.

Перед Пасхой бомжей в ночлежке набилось, как сельдей в бочке, от тесноты не продохнуть, и запах грязного белья мог выдержать только тот, кому, как мне, было уже всё равно. А когда привели ещё двоих, все недовольно зашипели. В пост и без того скудный рацион урезали, от голода сводило живот, было не до сна, и я предложил свою койку на полночи, собираясь курить в коптёрке. Он посмотрел на меня пронзительно грустно, его глаза светились состраданием. «Какое интересное лицо, – механически отметил я, – просится на холст».

– Останьтесь, Фома Ильич, – вынул он из сумки две сушеные рыбы и пять хлебных булок, – покормим братию, а потом меня нарисуете.

Я вздрогнул:

– Красок нет, да и темно...

Он вынул краски. И тут мною овладело забытое желание взяться за кисть, так что, пока остальные ели, мы расположились в углу под лампадой. Я решил писать на почерневшей дощатой стене. Такие выразительные лица легко писать, но странно, его образ, до неуловимости подвижный, ускользал, изменяясь, как блик на воде. Я узнавал в нём отца, первого учителя рисования, себя ребёнком, свою мать, бабуку, которая умерла до моего рождения и которую знал лишь по выцветшей фотографии, видел девушку, которая не стала моей женой, врача, поставившего мне смертельный диагноз, служившего вчера батюшку. Как в пятнах на обоях, в нём проступали лица друзей, врагов, давно забытых

попутчиков, как в очертаниях облаков, угадывались итальянцы, испанцы и голландцы со старинных гравюр.

– Не всё видимое доступно, не всё можно рассчитать, – вздохнул он. – Вот вы, Фома Ильич, год назад бегали за модными заказами, водили женщин по ресторанам. А теперь ни до чего. И всё из-за веры.

– При чём тут вера? Я не верующий.

– В Бога не верите, а врачу поверили? А врач-то человек, это у Бога ошибок не бывает..

Нас слушали, присев на корточки, и он рассказал каждому его жизнь.

– Вы были как дети, – подвёл он черту, – а теперь повзрослеете, ибо взрослеть – значит выбирать между добром и злом...

Он говорил просто и ясно, точно видел не только прошлое, но и будущее, так что, когда утром собрался уходить, к нему присоединились четверо: попрошайки братья Заводины, Андрей и Данила, сторож Илья Мезгирь и Николай Пикуда из Кариот, села под Новоиерусалимском. Пикуда был горбат, к тому же слегка заикался, смешно растягивая слова.

Всю ночь я курил в котельной, вперившись в звёздное небо через дыру в крыше, и, едва дотерпев до расвета, бросился в больницу..

Следователь: «Анализы, конечно, не подтвердились?»

Говорит Семён Рыбаков:

Утром собрались в город, у меня старенький «Москвич», семерых не возьмёт. А он: «Ничего, Семён, в тесноте, да не в обиде!» И каким-то чудом поместились. «Кто он, – думал я дорогой, – раз имеет власть над

пространством?»

Когда проезжали мимо бревенчатого дома, у ворот которого стояла «Скорая», он велел притормозить...

Показания даёт Марфа Лазарева:

Ночью мужу стало плохо, и приехавший доктор снял электрокардиограмму. «Обширный инфаркт, – отчитывался он по телефону. И, прикрыв трубку ладонью: – Везти бессмысленно...» И, действительно, через час муж уже не дышал. За окном сушился его пиджак, безобразно вывернутый наизнанку, страшно бил в стекло рукавами, как непрощенный гость. «Это смерть», – подумала я и, вдруг ощутив, что стала вдовой, разрыдалась на плече у доктора. Когда затормозила машина, мы подумали, что приехали забирать тело.

– Из морга? – спросил врач.

– А разве кто-то умер?

Гость положил ладонь на лоб мужа. Тот открыл глаза, врач бросился щупать пульс...

Следователь: «Врач ошибочно констатировал смерть?»

Матвей Абрамович Левин, врач:

Мне стало дурно: признаки смерти были налицо, тело уже начало холодеть. Мой опыт в таких случаях исчисляется сотнями – я уверенно констатировал смерть. А потом наблюдал воскресение! Всё, чему учит медицина, опровергалось на глазах.

Человек, принятый за санитаря из морга, тронул меня за плечо:

«Врач лечит тело, но исцеляет душа».

Он вышел, а я метнулся за ним.

Следователь: «Возможно, вы наблюдали

клиническую смерть?»

Семён Рыбаков, таксист:

Новоиерусалимск – это две улицы с магазинами на перекрёстке. Остановились у супермаркета, он поднялся по ступенькам. Был полдень, на тротуарах блестел снег, и прохожие обтекали нас, как ручейки. Вдруг он простёр к ним руки:

– Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное...

Никто не задержался.

– Блаженны плачущие, ибо утешатся...

Женщины ускорили шаг, мужчины скользили взглядом.

– Блаженны кроткие, ибо наследуют землю...

«Сумасшедший!» – мелькнуло у меня.

Мимо него сновали покупатели.

– Иди в церковь, – на ходу бросил один.

– Весь мир – церковь, – ответил он.

– Не обезьянничай! – остановился в дверях другой. – Ты не Сын Божий.

– Сыны человеческие – все дети Божьи.

Двери хлопали, а он, нелепо размахивая руками, обращался к прохожим, точно к манекенам.

– Кончай юродствовать, – вышел с дубинкой молодой охранник.

Я метнулся к нему:

– Оставь, видишь, человек не в себе...

Матвей Левин, врач:

Это отдавало фарсом. Мне сделалось неловко, будто при мне жгли икону. Новоиерусалимская Лавра от города в двух шагах, я перевидал много паломников, среди

них было немало и откровенно сумасшедших, но никто не позволял подобного. Я ждал, что вот-вот полетят камни. Но мимо проходили с абсолютным равнодушием. Мы переглянулись с Фомой, которому, я видел, всё это было также неприятно...

Следователь: «Почему?»

Художник Фома Ребрянский:

Да потому, что форма довлеет над содержанием, и рушить стереотипы болезненно. Ну, представьте святых апостолов с «мобильными» вместо посоха, рассылающими эсэмэсками благую весть! Современникам как поклоняться? Икона должна быть тёмной, духовность представляется как постные лица, длинные бороды, акридии, все эти пустынники, молчальники... В своём времени нет пророка.

Однако я готов был кричать от радости и простить ему всё. Впрочем, и другие чувствовали исходящую от него магическую силу, так что в монастырь мы вернулись уже вдвоем. С нами ехал Захар Адамов, молодой охранник из супермаркета. Он только и спросил его: «Почему, Захар, ты терпишь, когда начальство, путая, зовёт тебя Адамом Захаровым?»

Семён Рыбаков, таксист:

Наш городок размером с носовой платок, а слухи, как ветер, так что Новоиерусалимская Лавра встретила нас в штыхы.

– У нас не место богохульникам!

Явившийся в скит эконоом указывал на дверь.

– А с чего, отец Марк, ты взял, что знаешь, кто славит Бога, а кто хулит? Не ты ли повторял сегодня утром, когда трудники сплетничали про настоятеля:

«Не судите, да не будете судимы?»

Эконом побледнел.

– Тебе кажется, ты любишь Бога... А ближнего?
Но если вера не делает добрее, зачем она?

Эконом хлопнул дверью.

– Бог велик, – продолжал он, – благодарность Его унижает. Только деспоту нужно от сына ежедневное почитание, неужели наш Отец такой? Ведите себя так, чтобы Он гордился вами, и обретёте отцовскую любовь...

– А отцовские гены? – возвысил голос Фома Ребрянский. – Почему Творцу не вдохнуть в нас частицу Своей бесконечной любви? Разве Его забудет?

Он стал печален, как древние азы.

– Его любовь как огонь – от неё умирают. И Христос умер от бесконечной любви...

Следователь: «Не нужно богословия, пожалуйста, переходите к делу!»

Матвей Левин, врач:

Эконом между тем пожаловался, и нас вызвали к настоятелю. Глубокий старик, согнутый радикулитом, встретил нас в кресле, за спиной у него стоял рослый келейник.

– Кто ты?

Он промолчал.

– Что, язык проглотил? – тронул его келейник.

Он вздрогнул, будто очнулся.

– Если я скажу, что видел мир в первозданной чистоте и вещи – до их названий?

Сжав подлокотники, настоятель приподнялся в кресле:

– Вижу, эконом не ошибся!

– Священник всегда прав, даже когда в прошлом

году был пойман на воровстве монастырской казны, а ты, Ипатий, покрыл его. Впрочем, отец Марк достойный человек и верит искренне и глубоко. Только сам не знает, во что.

Он развёл руками.

– Оглянись вокруг: разве тому учил Основатель твоей религии?

Опять вмешался келейник:

– Нашёлся тоже реформатор, Православию тысячи лет!

– Слово, как птица, живо, пока летит, в клетке обрядов оно умирает. Ты служишь власти, для которой главная добродетель – покорность. Но разве Моисей, Иисус Навин и Давид были смиренниками?

Келейник побагровел и вдруг громко расхохотался:

– Сначала закончи семинарию, чтобы бунтовать, надо понимать против чего!

– Разве вера – наука?

Он вздохнул.

– И молитесь вы по старинке, хлеб насущный теперь у всех, и с голоду никто не умирает – к чему пустые аллегории? Теперь борьба за выживание должна смениться борьбой за духовную самостоятельность...

Так нас изгнали из монастыря.

Художник Фома Ребрянский:

Меня поразило лицо настоятеля, который сосредоточенно разглядывал нас, а потом указал на дверь келейнику.

– Откуда ты? Твоё лицо мне странно знакомо...

Старческий голос дрожал.

– Мне жаль тебя, Ипатий, – приблизился он к креслу, – апостолы годились тебе в сыновья, Распятый мог быть

тебе внуком. А ты привык жить и, как все старики, наложил мерку на неизмеримое. Ты думаешь, мир устоялся, но человек остался глиной с момента творения, из него можно лепить любую обезьяну.

Стало слышно, как за стенкой читают псалмы.

– Моисей разбил золотого тельца, твой Бог выгнал торгующих из храма, а ты? «Нет власти не от Бога»? А власть князя мира сего? Веками ждали одного, а пришёл другой – у него кошачья поступь, вкрадчивый голос, и теперь все, все служат ему.. Но что ответишь ты, когда спросят: «Пастырь, где твоя паства?»

Настоятель замахал руками.

– Я вспомнил, это *ты* говорил во сне: «Ипатий, зачем ты оставил *меня*?» Не делай из меня великого инквизитора!

Монастырь с нами покинули два монаха и трудник.

Говорит Иван Лукин, иеромонах:

Из монастыря, как из жизни, уйти можно всегда, вернуться – никогда. В тот день после службы мы с дьяконом Илларионом и трудником Михаилом направлялись в трапезную.

Он встретил нас притчей:

– Один водонос в жаркой стране брал воду из колодца под смоковницей и разносил по деревне. И все радовались, ведь он избавлял от жажды. Но однажды он решил больше не приходить – сидя под смоковницей, ел плоды и пил из колодца. Как думаешь, Иван, полюбили его после этого селяне? А если люди не любят, как полюбить Отцу Небесному?

А надо сказать, что в миру я был школьным учителем и постригся всего год назад.

– В монастырь тебя привёл страх смерти,

– продолжал *он*. – Но ряса не спасает, там, – *он* задрал вверх палец, – все голые...

Я растерялся, но вступился Илларион:

– Соблазняешь Христа предать, как Иуда?

– Ошибаешься, Илларион, Христа предал не Иуда, а Павел, заключивший Его учение в клетку предписаний.

– Так тебе церковь не по душе? Церковь – это тело Христово!

– Тело не дух... Именем Христовым золотят купола, но причём здесь пришедший к блудницам и мытарям?

– Его именем отпускают грехи, совершают таинства!

– На свете одно таинство – любовь...

Следователь:

– И эти сентенции заставили вас оставить монастырь?

– Не знаю, но я вдруг понял, что вере учить нельзя.

– А почему ушёл трудник Михаил?

– Боюсь, выдам чужую тайну.. *Он* сказал: «Миша, сними икону, раз так смущаешься...» «А зачем?» – покраснел молодой трудник. «Ты смиряешь плоть тяжёлой работой, постишься, а ночью занимаешься рукоблудием под святыми ликами». Трудник похолодел. «Ты страдаешь от того, что не можешь победить свою привычку, тебе стыдно перед Богом. Но скажи, какое дело Богу до твоего занятия? И что это за Бог, который запрещает то, через что прошли все?»

Семён Рыбаков, таксист:

Он ел с нами за одним столом и спал в одной комнате, мы видели в нём только человека, наделённого неординарными способностями. «В чём сущность

единобожия? Любовь и есть Бог, – говорил он, – а другого Бога нет». Но Николай Пикуда, горбун из Кариот, видел в нём Бога. Заикаясь больше обычного, он утверждал, будто встретил его ночью бредущим по лесу, точно в пятне от прожектора, где пели птицы и в зелёной траве распускались цветы, в то время, когда вокруг лежал снег. А ветер, как бы он ни поворачивался, дул ему в спину...

Но о чём я сам могу свидетельствовать – это о его чётках, в которых каждый, кто их брал, насчитывал своё число камней...

Иван Лукин, иеромонах:

Рядом с ним мы испытывали невероятный подъём, уверенные, что на мировой карте счастья Новоиерусалимск будет светиться жирной точкой. Однако мы считали его божьим человеком, провидцем, которого Книга Царств называет «роэ», но не пророком, которого евреи зовут «наби» – возвещающий, тот, кто призван Богом. Однажды ему на голову упала с полки склянка с елеем. Мы не придали этому значения, но для Николая Пикуды это было знаменье. С тех пор он считал его помазанником Божьим. Пикуде казалось, что он присутствует при Втором пришествии, и ради него он был готов на всё.

Следователь: «Разве апокалипсис уже наступил?»

Семён Рыбаков, таксист:

– Чтобы понять мир, не обязательно покидать дом, – говорил он, пока мы ехали по заспанным новоиерусалимским улицам. – Быть пассажиром первого класса – не значит понимать, почему летит самолёт. Наша цивилизация напоминает крысу, которой в голову вживили электрод, – в погоне за удовольствием

она разъедает себе мозг. Сохраниться в этой гибнущей цивилизации и значит спастись...

Кто-то из монахов, как школьник, поднял руку.

– А как жить в миру?

– Людям отдай людское, себе оставь своё.

– А Богу?

– Что Богу? Каков ты – таков и Бог.

Мы подъезжали к банку...

Следователь: «С этого момента, пожалуйста, подробнее!»

Художник Фома Ребрянский:

Новоиерусалимский банк, стоящий на пригорке, – огромное, выкрашенное в канареечный цвет здание, облицованное тонированным стеклом.

– Ждали одного, а пришёл другой, – вышел он из машины. – Вот его храм – отовсюду виден, чтобы понимали, кто истинный бог!

Мы миновали блестящий металлический турникет. Навстречу вышли банковские служащие: дюжина посетителей для столь раннего часа – это много.

– А вот и его жрецы, – выставил он палец.

Клерки переглянулись.

– Что вам угодно?

– Вы нарушаете закон!

– Это к нашему юристу...

– Каждый будет себе юристом, когда спросят: «Разве ты не знал, что Бог запрещает давать в рост?» На работу вы, будто в церковь, надеваете чистую рубашку, но процент кормит тело, а душу убивает...

Клерк покрутил у виска.

– Это ваш? Забирайте, пока не вызвали психушку.

– И вы глубоко несчастны, озлобляя и себя, и

других.

Клерки побелели.

– Всё, мужик, достал! – тронул его за плечо один.

Второй достал мобильный, вызывая охрану. Но связь оборвалась. Менеджеры беспомощно топтались вокруг него, когда перед ними вырос Николай Пикуда. Горбуны очень сильны – он легко отшвырнул их к кожаному дивану.

Следователь:

– И после этого вы устроили погром?

– Это неправда!

– Показать заявление банкиров?

– Себе я доверяю больше. Погром состоял в том, что компьютеры дали сбой, расчётные файлы пропали, долги обнулились...

– А почему его не задержала охрана?

– Он стал для них будто невидим, зато нас вытолкали на улицу.

– И тогда вы перевернули вверх дном торговый центр?

Семён Рыбаков, таксист:

Всё вышло случайно! Торговый центр располагался напротив банка, в огромной витрине светились десятки экранов: политики, полуголые «звёзды», реклама...

И тут на него нашло: «Да, он пришёл, смотрите, у него множество лиц, его слуги лгут в глаза! Они отливают золотого тельца, умалчивая, что за покупки для тела расплачиваются душой!»

Следователь:

– И тогда он разбил витрину?

Матвей Левин, врач:

Я стоял рядом и видел, что он едва коснулся стекла,

как оно вдребезги разлетелось, и множество осколков посыпалось в телевизоры, точно пыль, затыкая лживых проповедников...

Следователь:

– А прежде чем появилась милиция, вы сбежали?

– Расторопность милиции всем известна. Мы нашли убежище у моего близкого приятеля Наума Гефсимана...

– Еврей?

– Да. Вы же знаете, русский интеллигент – потомственный антисемит, у которого все друзья евреи. А у Наума большой свободный дом с флигелем и двенадцать соток под яблоневым садом. Он отвёл нам половину дома, а к вечеру, когда неожиданно потеплело, зарезал овцу, собираясь пожарить на костре.

– Так *он* не был вегетарианцем?

– Скорее из тех, кто предпочитает шашлык гамбургеру..

Фома Ребрянский, художник:

Мы все понимали, что в нашей жизни происходит что-то экстраординарное, что в нашем избрании заключено огромное везение. И мы стремились им воспользоваться. *Он* поселился во флигеле, а мы по очереди приходили к *нему*...

Следователь:

– Исповедовались?

– Если угодно...

– Следствие не требует вашей тайны.

– Какая тайна! Когда животная радость прошла, я, ещё вчера приговорённый к смерти, ощутил обычную растерянность. Странное существо человек! Теперь я жаловался на наше безвременье, когда и чувства

перевелись, и искусство – не искусство, и вера – не вера. Я искал участия, поддержки... И мне врезались в память его слова: «Кто знает больше тебя? Не ищи правды на стороне, на земле каждому нет равных. Мы все герои проигранных войн: лучшие пали в битве с собой, худшие – с другими.

– И всё?

– Да, всё. Сейчас эти слова мало значат, но тогда у меня случилось просветление, как говорят на Востоке. Видно, слова сами по себе ничто, а звучат в зависимости от того, кто их произносит..

– Кто-нибудь ещё хочет поделиться?

Говорит Захар Адамов, охранник из супермаркета:

Со мной, вероятно, было проще всего, хотя, подзреваю, он с каждым говорил на его языке, к каждому подбирал ключ, а мы чувствовали себя нагими и маленькими, точно лежали у него на ладони. Мне двадцать лет, родители давно развелись, и я жил с матерью, которую ненавидел. Иногда мне хотелось её убить, но признаться в этом я не мог даже себе. А ему сказал. Я сгорал от стыда, ожидая ответа. А он: «Захар, Захар, не ты первый, не ты последний! Я знаю, как мать говорит тебе: “Ты так молод...”, а ты понимаешь, что если бы она могла, то отобрала для себя отпущенные тебе годы. К старости, если некого любить, начинают любить своё тело, обожествляя здоровье. И никто не калечит мужчину больше матери, у которой иссякла любовь, её сосцы кормят не молоком, а ядом...

Следовательно:

– Какая жестокость!

– Почему? Он ещё добавил: «Сказано: чти отца и мать свою», а про любовь ничего не сказано. Чтить же

можно и на расстоянии...

– И ты ушёл из дома?

Иван Лукин, иеромонах:

– Должен ли я повторять, что дорога в монастырь пролегла для меня через страх смерти?

Следователь:

– Если ваша танатофобия имеет отношения к делу.

– Во флигель меня гнал страх, от которого я надеялся получить лекарство. Но не успел я раскрыть рта, как он сказал, что бессмертие, как долголетие и здоровье, не зависит от грехов, что самоотречением Бога достичь невозможно, что спасутся либо все, либо никто – и в этом состоит высшая мудрость. «Разве добродетели одного могут заслужить вечное блаженство, а пороки другого – вечные муки? Перед лицом Всемогущего преподобный Серафим Саровский и разбойник с большой дороги одинаково ничтожны и одинаково любимы». Он добавил, что Бог, выдуманный людьми, не выдерживает критики, что все теодицеи – жалки, что из божественных атрибутов, несовместимых друг с другом, приходится выбирать – каждому для себя, и что он сам выбрал абсолютное милосердие. «Раз Господь не всемогущ и не всеведущ, то что же остаётся?» – прошептал я. «Жалеть людей, видя в каждом себя. И Бога, который страдает от того, что не в силах облегчить людскую участь, а может лишь её разделить. Жизнь – тайна, думаешь, у меня есть готовые рецепты?»

И тут в углу тихо вскрикнули, и из тени вышел Николай Пикуда. «Но ты же все-евластен, – обратился он к нему. – Спаси неви-инных – я видел твои чудеса!» «Я знаю не больше тебя». «Нет, ты скрываешь свою силу, проявить её не было по-овода». «Ты ошибаешься».

Глаза Пикуды сверкнули. «Когда ты обманывал – тогда или сейчас?» Он промолчал. «Я бо-оюсь...» – прошептал Пикуда, пристально глядя на него. «Ненавидят любящие, предают преданные: делай, что задумал, и не бойся – ни за меня, ни за себя». И тут, постучав, нас позвали к ужину. Никто не обратил внимания, как Пикуда исчез...

Следователь:

– Это он сообщил в милицию?

Матвей Левин, врач:

Да, причём с моего «мобильного», который выкрал. Пикуда был гол, как сокол, но к материальным благам не стремился.

– Ты работаешь? – как-то спросил я.

Он нахмурился.

– В жизни либо делаешь, что не хо-очешь, и позволяешь себе потом, что хо-очешь, либо не позволяешь себе, что хо-очешь, но и не делаешь, чего не хо-очешь...

Единственное, чего он искал, это Бога, готовый перевернуть мир ради своей находки. Думаю, он был любимейшим из нас. Но Пикуда не мог простить бессилия, он задумал его проверить, оттого и донёс...

Фома Ребрянский, художник:

Признаться, мне всё надоело, я мечтал вернуться к прежней жизни, картинам, выставкам... Я был, как в театре, где разыгрывали евангельские страсти – в современной дурной интерпретации. «История повторяется дважды – как трагедия и как фарс», – крутилось у меня, и я почти равнодушно ждал развязки. Поэтому, когда приехала милиция, не удивился...

Семён Рыбаков, таксист:

Больших грехов я за собой не видел и всё же

предпочёл держаться подальше. Остальные пришли и ушли, а мне в этом городе жить.

– И ты с ними, Семён? – узнал меня старшина, мой сосед.

– Просто подвозил, мало ли компаний.

– А кто утром витрины бил?

– Откуда мне знать?

Он стоял под яблоней, так что на него не падал лунный свет. И тут к нему приблизился Николай Пикуда...

Иван Лукин, иеромонах:

«Ненавидят любящие, предают преданные». Я вспомнил горящие глаза Пикуды на моей исповеди и понял, что он решил его спровоцировать. Пикуда был уверен, что он легко освободится, оттого и поцеловал. Для него это была игра, а он был вроде Deus ex machina, который выйдет на сцену и всё уладит. Но я подозревал худшее. «Подождите, мы заплатим...» Я хотел пустить шапку по кругу. «Он был один?» – ударил по моей руке старшина. Я растерялся, но тут вперёд выступил Захар Адамов, охранник из супермаркета...

Захар Адамов:

Нет, нет, какой я храбрец! Просто обидно стало – бузили все, а отвечать одному? Меня в армии учили вставать плечом к плечу, да и чем я рисковал – мелкое хулиганство. «Их трое, – думал я, – в случае чего, справимся...» Рядом встал Михаил, трудник из монастыря...

Следователь:

– Хотели оказать сопротивление?

– Хотел – не хотел, какая разница, сейчас это не важно. Считайте, жаль было стол оставлять, думал,

по-хорошему договориться. Но старшина светил *ему* в лицо фонариком: «Документы?» «Мы за *него* свидетельствуем...» – встрял я. «Ну, какие у скитальца документы?» – поддержал Михаил.

И тут *он* сам протянул ладони. Когда щёлкнули наручники, я отступил...

Семён Рыбаков:

Иван Лукин, Матвей Левин, Фома Ребрянский и я провели ночь в отделении, а утром сопровождали *его* в окружную прокуратуру. Феропонт Арвилат выглядел заспанным, с торчащим, как у чёрта, клоком волос.

– Кто ты?

– Человек.

– Вижу, не Бог... Дата и место рождения?

– Земля, до пришествия времён...

Глаза Арвилата стали задумчивыми:

– Призывал к свержению конституционного строя?

– Ты говоришь.

Арвилат облегчённо вздохнул.

– Денег, конечно, не зарабатываешь?

– Зарабатывать деньги и приносить пользу – вещи разные.

– Это верно, бывает больше вреда. Я вот отставной военный, а гнию в дыре...

– Письмо, которое ты ждёшь, уже отправлено.

Глаза Арвилата сузились.

– Ты уверен?

И, не дожидаясь, обратился к старшине:

– Я не нахожу на *нём* вины. Ну, что *он* натворил? Телевизор разбил? Так я и сам, бывает, экран заплюю. Не знаешь, чего там больше – мерзости или глупости...

Сделав несколько шагов, Арвилат потёр виски.

– А от лавочников откупиться всё же придётся. Монастырь средств не выделит? *Он* же их, по всему видно...

Так нас под стражей вернули в Лавру.

Показания даёт бывший окружной прокурор Феропонт Арвилат (по телефону):

Накануне мне исполнилось пятьдесят, мы крепко выпили, так что я чувствовал себя совершенно разбитым. К тому же я готовился к переводу в Москву и сдавал дела. Но старшина настоял, чтобы я принял задержанного. Не секрет, что в наше время монастыри ломаются от людей, которым нужен не Бог, а психиатр. Все эти несостоявшиеся жёны, истерички-матери, неудавшиеся бизнесмены, спивающиеся художники, смиренницы в платках, кликуши, все шипят, грызутся, осуждают... Любую идею испоганят, из всего сделают моду! И я подумал, что *он* один из них. Но едва увидев *его*, определил – мухи не обидит! В *его* лице было что-то подкупающее, по-детски наивное, и вместе с тем оно светилось мудростью, приходящей с возрастом. *Он* призывал относиться к жизни, как к величайшему дару, а вы знаете, какие теперь времена – высокое приземляют, осмеивают...

Следователь:

– И вы так сразу *его* раскусили?

– Я старый служака, а моя работа развивает проницательность. Проформой я задавал обычные вопросы, а *он* мне: «Трудно тебе, Арвилат, душно без истины!» «Что есть истина?» – вздохнул я. И увидел в *его* глазах отклик, точно пароль предъявил.

С этого момента я стал искать пути к *его* освобождению. Всё портило заявление от банкиров. Голова

раскалывалась, и пока я лихорадочно соображал, как *ему* помочь, у меня крутилась странная фраза: «Хорошо, что человеческие слёзы не горят, иначе бы земля задохнулась от дыма!» Заметив в *его* свите священника, я направил всех в Лавру..

Иван Лукин, иеромонах:

По дороге в Лавру, пока мы тряслись в милицейском «уазике», *он* сказал: «Прокурор Арвилат думает, что появился полвека назад, а он, как и все, существовал ещё до пришествия времён». И, наклонившись, прошептал на ухо: «Не бойся, Иван, смерти нет, наши мысли, слова и чувства не исчезают, не уходят в никуда и не берутся из ниоткуда. Они накапливаются, и когда-нибудь психическая энергия превзойдёт физическую, нужда в материи отпадёт, а человечество соединится с Богом...»

Но я *ему* не поверил, на моих глазах человек превращался в антропоида, цивилизация съедала его, как тля – зелёный лист.

Наступила Пасха, в монастырь со всего света стекались паломники, в храмах, как дети, боящиеся темноты, шептали молитвы, надеясь на воскресение. Настоятелю было не до нас. Но не все ещё принимали меня за изгоя, и я добился аудиенции. Настоятель разговлялся в трапезной, куда со мной пропустили Семёна Рыбакова. Я убеждал взять *его* под монастырскую опеку:

– *Он* самобытный, безусловно, религиозный мыслитель...

Настоятель промокнул губы салфеткой:

– Значит, *он* нарушил законы не только Божеские, но и человеческие?

– Церковь могла бы покрыть ущерб.

– С какой стати?

– Её авторитет от этого бы только вырос.

– У него своя вера! – повысил голос настоятель.

– А церковные пожертвования я лучше нищим раздам...

Встав из-за стола, о. Ипатий отвернул кран и вымыл руки. Меня сменил Семён Рыбаков – ручался своими заработками, предлагал в залог дом. Вместе с золочёным крестиком на шее у него висел брелок зодиакального знака, под которым он родился.

– Сними, – перебив его, ткнул пальцем настоятель.

– Наши символы с языческими не носят!

Так нас снова отвезли в новоиерусалимскую прокуратуру..

Слово берёт Наум Гефсиман:

В Лавре нас обступили старухи.

– Сектанты, – шипели они.

– Таинства отрицают, – бросил на ходу грузный монах, возвышаясь чёрным клобуком.

– Жизнь – сама таинство, – ответил он.

Когда нас выдворяли из монастыря, за его воротами остались сторож Илья Мезгирь и братья Заводины, Андрей и Данила...

Бывший окружной прокурор Ферапонт Арвилат (по телефону):

Мне доставили, наконец, извещение о переводе в Москву. Я как раз занимался делом некоего Варнавы, чиновника, подозреваемого во взятках. Была Пасха, и на радостях я прекратил следствие – пусть вспоминают добром. Я уже открыл шампанское, пригласил старшину. Но тут вернулись из Лавры.

– Не дали? – усмехнулся я. – Что ж, каждому своё...

– Вечность на всех одна.

– Вечность далеко, а срок близко!

И всё же мне хотелось *его* освободить, чтобы не поминали лихом. Но старшина намекнул, что достаточно Варнавы. А отправить *его* в тюрьму я тоже не мог. Оставалась последняя лазейка – медицинская экспертиза.

И я направил *его* в психиатрическую больницу.

Следователь:

– Вам больше нечего добавить?

– Нет, на другой день я уехал. А *он* как в воду глядел. «Чему быть, того не миновать, – обернулся в дверях. – А Москву ты не найдёшь – только потеряешь...» И точно, вместо повышения будто понизили – развратный, бездушный город...

Матвей Левин, врач:

Он говорил: «В Москве, как на птичьем базаре, – обертонны Вселенной гложут в галдеже...» Я слушал вполуха: бесконечные проповеди стали меня утомлять.

О психушке в Новоиерусалимске ходила дурная слава. Говорили, что на утреннем обходе врач задавал там один вопрос: «Мысли есть?» Если были – кололи транквилизаторы. «У нас таких много, – обвёл руками главврач, – им кажется, будто явились спасти мир... – И сделал знак санитару: – Два кубика сульфы...»

Когда *его* уводили по коридору, *он* обернулся, и я навсегда запомнил *его* взгляд. Передавали, что в тот же день *он* пожалел главврача, сказав, что представляет *его* внутренний ад, а тот «отправил *его* на крест», как это называется на больничном жаргоне, велел распять на кровати, привязав к спинкам руки и ноги...

Иван Лукин, иеромонах:

Обшарпанные стены, грязные полы. «Весь мир – сумасшедший дом, – утешал я себя, – только отделения разные...» Матвей Левин как врач добивался отдельной палаты. Пока я ждал в приёмной, меня окружали скучные больничные сплетни, застиранные, белёсые халаты, серые, серые лица...

Обратной дорогой я думал о смерти, и опять всё казалось бессмысленным!

Следователь: «Так вы подозревали, что *его* убьют?»

Семён Рыбаков:

«Молитесь за *него*, батюшка!» – простился я с Иваном Лукиным по возвращении в город. Наконец я попал домой, где, казалось, не был тысячу лет. Пустые комнаты, гнетущая тишина. И с новой силой навалилось одиночество. Весь день я просидел за столом, обхватив голову руками, а в полночь ко мне постучали. На пороге стоял Николай Пикуда, бледный, с дрожащими руками. Он будто стал выше, похудел, осунулся. Я пустил его в дом, он сел на кровать и, уткнувшись в стену, рассказал, как навещал *его*. Как он проник в палату, остаётся тайной.

– Яви свою си-илу, – сразу сказал он, – выйди из темницы!

Он молчал.

– Оди-ин раз *ты* уже позволил себя убить, – снял он со стены тяжёлое литое распятие. – Не-ет, миру нужна не же-ертва, но кнут!

Он молчал.

– Зна-ачит, не можешь, – разочарованно заключил Пикуда. – Ну, тогда попро-оси за *себя*, Бог *тебе* не откажет.

– Бога нельзя просить за *себя* – только идола.

И Пикуда почувствовал себя обманутым.

– Ты не Бо-ог, ты не Бо-ог! – прохрипел он. – Ты та-акой же, как я, убогий, жалкий... И то-оже умрёшь!

Он с размаху ударил его. А когда он упал, навалившись, стал душить крестом:

– Примерь-ка, примерь-ка...

Он не сопротивлялся, и через минуту всё было кончено...

Увидев, что натворил, Пикуда, как тень, выскользнул на улицу.

Скрипнула кровать, Пикуда встал, долго смотрел на себя в зеркало, потом направился к выходу. И только в дверях я понял, почему он казался выше – у него пропал горб...

Следователь:

– А почему вы его не задержали?

– Я ему не судья...

Фома Ребрянский:

Пикуда был предан ему, как собака, в отличие от остальных, настроенных более скептически, он боготворил его. Он безоговорочно признавал в нём сына Божьего, оттого и убил. В собственных глазах его предательство было оправданным, он считал, что его предали раньше. И он не пережил обмана. Когда у него отобрали величайшую из иллюзий – причастности к Богу, жизнь потеряла смысл. На другой день его выловили в реке...

Следователь: «Вас приглашали на опознание?»

Семён Рыбаков:

Да, они лежали в одном морге, голые, и казались похожими, как все мертвецы.

Фома Ребрянский:

Я стоял над телом, и мне не хотелось плакать, точно я знал заранее, что всё кончится именно так.

Матвей Левин:

Причина смерти была налицо, родственники отсутствовали, поэтому на вскрытии я не настаивал.

Следователь: «А на третий день тело исчезло, вам это известно?»

Иван Лукин:

– Да, известно...

Следователь:

– И что вы скажите?

– Не знаю, для меня это загадка. Как, впрочем, и всё, что с *ним* связано. Иногда мне кажется, что это был сон.

Семён Рыбаков:

Куда пропало тело, боюсь, мы никогда не узнаем. Допускаю, его выкрал кто-то из упоминаемых сегодня...

Следователь:

– Зачем?

– Возможно, чтобы черпать силы, как на могиле святого. Скажу больше, я постоянно ощущаю *его* присутствие. А вчера, когда ехал мимо того места, где впервые подобрал *его*, мне показалось, что *он* стоит в тени дерева, как тогда у Гефсимана, в нашу тайную вечерю...

Следователь:

– Мистика не входит в круг моих обязанностей. Рассмотрев все обстоятельства, я не нахожу оснований для уголовного дела: трупа нет, подозреваемый в убийстве мёртв, мотивы и состав преступления отсутствуют... Все свободны!

АВТОР И ГЕРОЙ

Ефим Холостных сочинял прозу, но о своём ремесле был не бог весть какого мнения. «Мы все заточены в язык, но каждый – за свою решётку, – размахивал он руками. – Словами не пробить наших “одиночек”».

Его не перебивали – заезженную пластинку легче дослушать, чем переставлять.

«В порыве скрытности я пишу чёрт знает о чём, а в глубине меня волнует только собственная смерть... – Ефим расстёгивал рубаху, будто собирался достать сердце. – Один может быть умнее своих героев, другой – глупее, но честнее должны быть все...»

Устав молоть языком, Ефим обнаруживал себя в запертой комнате. Он сутулился на стопе книг, а другая служила ему столом.

Можно читать много. Можно совсем не читать. Одни поглощают шкафы с книгами, для других чтение – диета. Питирим Молостных сузил его круг до буквы. Его энциклопедией стало «я». Он видел в ней коронацию государя, сообщения с германского фронта, гудевшего в детстве шмеля, забытые философии, себя, сколько народу родилось и сколько умерло, добро, которому не осилить зла, и зло, которое вечно. Из века в век,

рассуждал он, по страницам бродят мысли, древние, как вода, читать ли вчерашнюю газету или сегодняшнюю – нет разницы, если видеть завтра, которое совпадает с позавчера...

Молостных был приват-доцентом московского университета, летом и зимой жил на даче, добираясь до города на «кукушке». Сойдя на вокзале, он отправлялся в буфет, заказывал водки и мелкими глотками пил, прикидывая, кому нанесёт визиты. Потом он стучался в купеческие дома, раскланивался с хозяевами, учил их детей тому, что сам благополучно забыл, а к вечеру брал извозчика, чтобы успеть на обратный поезд. У себя он запирался на веранде, подкручивал в лампе фитиль и, плеснув водки, как крот, зарывался в бумагу. К полуночи масло выгорало, и его тень лезла вверх по стене. Тогда он наугад открывал книгу, упирался в первую попавшуюся букву «я» и погружался в праздную мечтательность. К третьим петухам он запрокидывал голову и, зевая, ловил на потолке собственную тень.

Спал Питирим, не раздеваясь, поэтому ночь касалась его лица, а тела – нет.

Ефим коротал жизнь в одиночестве. По гороскопу он был Скорпионом, но ему некого было жалить, а в Прощёное Воскресенье некого прощать. Он уютился на отшибе литературного мира, и его улыбка давно сползла на колени.

«Не зарывай талант в землю – его закопают вместе с тобой», – говорил он, примеряя своё мнение на общественное, как левый ботинок на правую ногу. Где можно, он шёл наперекор, где нельзя – плыл против течения, и везде был посторонним. Однажды ему дали шанс,

писательский интернационал заказал ему хвалебную оду. Ефим готовил её, засучив рукава, тщательно вплетая нотки правды в симфонию лжи.

В день его выступления лил дождь, ботинки жевали слякоть, а дорога удлинялась с каждым шагом. «Держи нос по ветру, а ухо востро», – напутствовал себя Ефим под стук трамвайных колёс. Он отсчитывал минуты, чихая в воротник, но всё-таки опоздал, в зале его уже ждали, развесив уши и оттопырив карманы, из которых, как детские хлопушки, извлекли ладони.

«В романе есть места как выверенные традицией, так и просто новаторские, – взобравшись на трибуну, отхлебнул он из стакана. В горле першило, сухость передалась словам. – Но то, что в нём выверено, не ново, а что ново – не выверено».

Он поднял стакан, предлагая запить пилюлю.

Выходил Ефим при гробовом молчании, а, возвращаясь в трамвае, причитал, как пономарь: «Слова на ветер – типун на язык...»

Кроме уроков Питирим подрабатывал на юбилеях. Ему заказывали слова, которые не могли выдумать сами. Точно переводчик с языка немых, он сочинял поздравления, свадебные тосты и поминальные речи, но его душа была далеко. «Человечество мечется по вокзалу, – думал он, глядя за стекло буфета, – а искусство носят за ним в чемодане».

В тот год на столах царствовал чёрствый хлеб, а над умами властвовали крикливые поэты. Один из них опустился напротив.

– Мало написать стихи, нужно их продать, – щёлкнул он пальцами, подзывая полового.

Питирим вздрогнул. Сосед, не мигая, уставился

в переносицу. У него были глаза без взгляда, и от этого щекотало подмышками.

– Думаете, шедевры редкость? Ошибаетесь. Я давно редактирую журналы, и среди мусора они часто встречаются. Я отправляю их в ведро. Лучшее недостойно жить, мир жаждет посредственности...

Поморщившись, он запил водку сельтерской и, не спеша, достал портсигар.

– Думаете, я злодей? Нет, так было всегда, для публики ведь что Пушкин, что Иванов седьмой, лишь бы свято место не пустовало...

Он постучал папирсой о крышку, сыпя на железо табачные крошки.

– Дэ густибус нон эст диспутандум, – меланхолично поддакнул половой. – Кому поп, кому – в лоб.

И, чиркнув спичкой, поднёс огонёк. Через волосатые ноздри поплыл сизый дым, который поэт успевал ловить ртом. А половой, крутя пальцами потухшую спичку, вдруг рассыпался коротким смехом:

– У одних на роду аршином писано, у других – пети-том.

– Вот-вот, – поддержал поэт, – слышно самого громкого.

У Питирима зачесались руки.

– Творчество – всегда соло, – взорвался он, – хор – для лягушек!

На него обернулись. Он сидел за столом один и, как пёс, лаял на свою тень.

Ефим давно понял, что едят только простую пищу, а изысканную проносят мимо рта. «Популярные книги не отражают времени, а только пародируют, – цедил он, видя, как водят за нос чужие слова. – Подлинные

летописи спят в безымянных могилах». Но в нём говорила зависть. Хотя он и отжимал слова, как взмокшую рубаху, пока с него самого не сходило семь потов, читатели разбежались от его строк, как зайцы, требуя одним словом убивать сразу двух.

«В искусстве, как на войне, – утешал он себя, – многие пропадают без вести».

Ефим нёс свои годы на покатых плечах, будто коromptысло, и его походка тяжелела с каждым шагом. На хлеб он зарабатывал, высасывая из пальца рекламные тексты и, время от времени, как геморрой, выдавливая из себя бульварный роман. Но ему хотелось проникнуть в суть своего времени. Он мечтал отобразить, как на его глазах люди глотали от вранья, которому начинали верить. «Правда, как стекло, – думал он, – её замечают лишь по разводам лжи». Бывало, он хватался за перо, но фразы ложились изъезженными, как «город дорог».

Вечерами он покидал свою конуру, бесцельно топтал мостовые, натыкаясь под фонарями на свою тень, и думал, что Россия как с цепи сорвалась, – вокруг готовы были продать родную мать.

Раз возле него затормозило авто. «Ефим!» – окликнули с заднего сиденья. Обернувшись, он узнал однокашника. Тот был навеселе, много каламбурил, а прежде, чем ответить, переспрашивал. Упёршись в затылок шофёра, Ефим слушал, как крутятся шестерёнки в голове однокашника, и опять думал, что мир – это лестница, по которой его не пускают дальше первой ступени.

– Мечтаешь поцеловать раду, а ловишь губами мыльные пузыри, – рассказал он о себе.

– Да, разлетелись, как голуби, – кашлянул однокашник, захлопывая дверцу.

В тот день Питири́м Молостных вычитал среди томов своего «я»: «Государство – это когда худшие управляют лучшими».

Женился Ефим неудачно. Развёлся – с сожалением. Теперь у него рос сын, который шагал так, будто собирался обогнать время. Но шёл не в ту сторону, удаляясь от возраста, когда понимают отцов.

«Школа готовит к раю, а выпускает в ад», – начал было Ефим в их последнюю встречу, но, споткнувшись о молчание, скатился на истины, ставшие банальными ещё при царе Грохе.

А придя домой, записал:

«Мир – что компания пьяных: каждое поколение тянет в нём свою песню и, как тетерев, глухо к чужой».

Иногда на чай заходил местный священник. Недавно его перевели из дьяков, и под сединой он был зелен.

– Есть что-то наивное в покаянии, – поддевал его Питири́м, – ну зачем Всемогущему наши извинения?

Батюшка лизал сахарин, неторопливо прихлёбывал из блюда и плешивел с каждым глотком.

– Прощение нужно не Ему, а нам, – будто с амвона, наставлял он. – И потом сказано: «Будьте, как дети...»

Он тряс рукавами, и цитаты сыпались с него, как блохи с дворняги. Но Питири́м не унимался:

– А взрослеем зачем? Чтобы увидеть глубину своей мерзости? Нет, таких горемык мог сотворить только несчастный, у грустной песни – печальный автор.

Батюшка молча сдувал пар, его щёки краснели, как яблоки.

– И Христос – только Сын, – гнул своё Питири́м,

– поэтому и призывал быть детьми, никакой Он не всемогущий, а страдал, как ребёнок.

– Вольнодумствуете? – шурился батюшка, в голо-
се которого появилось снисхождение. – Только мудрее
церкви всё равно ничего не придумаете.

Ефим осиротел ещё до смерти родителей. Он не мог простить им разочарования, которое испытал, осознав, что они не всемогущи и не способны на бесконечную любовь.

«Однажды Бог слепил человека, и с тех пор каждый лепит своего бога», – записал он в телефонную книжку на букву «я».

Но, дозваниваясь, каждый раз слышал короткие гудки.

Когда-то и у Питирима была жена, которая знала, что от ненужных вещей избавляются, а хорошего помаленьку. И потому ушла к бакалейщику. От неё у Питирима остался перевязанный бантиком венчик и привычка засыпать, отвернувшись к стене.

Теперь он ложился в постель с собственной тенью, ощущая себя изнутри беспокойными глазами, выбирая в мыслях кратчайший маршрут к забвению, и скатывался по нему, как по желобу.

В его матрасе завелись клопы, по углам вместе с бутылками гнездились черти, и судьба стала обходить стороной.

День был как миска остывшего супа, и мёртвые, высунув нос на улицу, не жалели, что умерли. Ефим глядел за ворота и в праздной сосредоточенности выскользил из мыслей, как обмылок из рук.

«Время течёт по ржавым трубам, а кран – в чужих руках», – думал он, кусая ручку. И действительно, стоило ему надеть на острие колпачок, как время в двадцатом веке останавливалось, – больше не гибли солдаты в Галиции, из часов не выскакивала кукушка, дождевые капли повисали в воздухе, а Питирим Молостых замирал на полуслове с открытым ртом. Но люди там не замечали остановок, ведь кнопка, превращавшая их фильм в фотографию, была у человека живущего столетие спустя.

«Времена, как зеркала, тиражируют друг друга, – продолжал размышлять Ефим. – Если в одном кто-то пишет свою биографию, то в другом выходят по его образу и подобию».

Всё шло своим чередом: в окопах кормили вшей, в углу блестела паутина, а время, перетекая из яви в сон, терялось, как река за поворотом. Питирим по-прежнему жил на даче, но в городе стал посещать модные салоны. Обшарив цепкими глазами компании литераторов, он садился верхом на стул и, растрепав волосы, делался похожим на шамана.

«Неповторимое всегда что-то напоминает, – бредил он в приступе сентенций, – в чужом зеркале не узнаёт себя только безликое».

Вокруг пили шампанское, шурша туалетами, по зале фланировали дамы, которые, признав его безнадёжным, быстро оставили в покое – размышлять обрывками чужих фраз, пожелтевших, как зубы Бабы-Яги.

А по России жгли усадьбы, нарушали заповеди и умирали от тифа.

И повсюду молчали колокола, злые от обид.

За окном чернел ноябрь, дни густо липли друг к другу, делаясь неразличимыми, как мухи. В тот вечер Ефим гадал на Библии. Столетник на подоконнике крошил луну, и бледные пятна превращали обои в тигровую шкуру. «Не наблюдай царств, рушащихся вокруг тебя», – глухо шелестели страницы. Из форточки тянуло свежестью, и сквозняк шевелил занавески.

– У каждого своя ляпка, – вздохнуло пятно на стене. – Человек везде сбоку припёку..

Ефим захлопнул книгу, будто дверь в погреб.

– Чего пялишься, как атеист на икону, – задрожало пятно. – Не узнаёшь?

Ефим до крови закусил губы.

– Себя можно увидеть и в комке пыли – всё зависит от остроты глаз, – удивился он своей прозорливости.

– Однако есть разница, – качнулось пятно, – меня гвоздями не прибить...

И, пока Ефим вострил уши, поведало

ИСТОРИЮ О РАСПЯТОМ ПОЭТЕ

Жил на свете человек, и писал он стихи. Ещё с десятков напишут не хуже, остальные – лучше. Ожидая вдохновение, поэт грыз заусенцы и лохматил пятернёй волосы, а в остальное время плакал на груди у первого встречного. Муза издали махала ему платком, но с годами он всё же наскрёб стихов на тощую рукопись и стал носить её с собой, как с писаной торбой. Где-то ему указывали на дверь, а где-то спускали с лестницы. «Человек и время как ноги при ходьбе, – подбадривал он себя, получая пинок, – если одна вырывается вперёд, другая отстаёт».

И тут его осенило издать книгу за свой счёт. Счёт

у него был. Только денег на нём не было. И тогда он решил занять у уважаемого человека.

– Так ты собираешься продать слова? – урюмо переспросил тот, пряча под колючей щетиной шрамы такие глубокие, что в них можно было провалиться. – Дело рискованное: за одни слова ангелов слышат, за другие – сковородки лижут...

Уважаемый человек был неграмотным. «Что школа? – ворчал он. – Учит прикрывать невежество, а на свете один закон – отсутствие закона». На своём веку он повидал множество интеллигентов, про которых говорил, что они собственной слюны брезгуют, а плевки с лица утирают...

Теперь он тёр подбородок ладонью с птичьими когтями, принимаясь к молчанию.

– Долг платежом красен, – выдавил из себя поэт.

– Слово не слюна – назад не слизнёшь, – подтвердил уважаемый человек.

А когда истёк срок, прислал подручных. «Плати! – ухмыльнулись те. – Либо “зелёными”, либо красным». Но у поэта была только бледность. Гости были неграмотными, однако умели читать по лицу и не стали канителиваться. Завалив на бок письменный стол, расцепили ножки и зажали в них поэта запястья, всучив в одну руку бумагу, в другую – ручку. И между делом пригвоздили ножом. От ужаса поэт лишился речи. Он лишь неуклюже ворочался, глядя на торчавшую в боку рукоять, шевеля ртом, как выброшенная на сушу рыба.

«Слова на ветер – тупун на язык», – услышал он свой приговор. И увидел в зеркале гигантскую извивающуюся гусеницу. Его губы уже синели, как вдруг – о, чудо! – с них полились слова, которых он ждал всю

жизнь, обгрызая до крови заусенцы и тупя вечные перья. Эти строки обессмертили бы его имя, но бумага и ручка были разделены, как берега реки. Он попробовал свести руки, он умолял палачей записать его последние слова, но те смотрели на него с мрачным равнодушием. И тут поэт понял, что утешение лежит на дне отчаяния, а истина, как цветок, распускается на краю бездны.

И прежде, чем умереть, воскрес.

«Без греха нет святости, – согласился Ефим, – не будь отчаяния – зачем вера?» Он хотел было соскоблить пятно в карман, но тут будильник пустил петуха.

Ефим ёрзал на кровати, собрав простыню между лопаток, и спросонья плевал в потолок.

Наши жесты, как палка, рисуют на песке чужой памяти, умирая, мы продолжаем жить в чьих-то снах. У кого-то жизнь в этих снах длиннее реальной, у кого-то короче, но у всех значительнее. Дольше других у Питирима жил во сне мужчина с покатыми плечами и потухшим взглядом. Он уже не помнил, когда увидел его впервые, иногда ему казалось, что этот мужчина старше его самого, что он вечен, как ночная тьма. Он представлялся ему таким же затравленным и бесконечно уставшим.

«История сводится к тому, что одни хватают жирные куски со стола, другие – бреются перед расстрелом», – выводил Ефим на полях шляпы, вешая её на гвоздь.

«На свете есть право, да только человек вне закона», – читал во сне Питирим на ободке чёрного котелка.

Им обоим жизнь шла, как стригущий лишай.

С годами мир делался простым, как табуретка. Для Ефима в нём оставалась только одна тайна, почему всех интересует чужая жизнь, и никого – собственная смерть. Он чувствовал своё время, как надетый не на ту ногу сапог, и гадал, есть ли в нём сокровенное, которое нельзя доверить словам.

Стояла поздняя осень, и вечера были длинными, как борода Черномора. Ефим сидел спиной к свету, перебирая мысли, как горох, когда на него упала тень. «Ты столько писал обо мне, – тронули его за плечо, – пора бы и познакомиться». Ефим хотел обернуться, но тысячи жал вонзились в сердце, и он, теряя пол, медленно сполз со стула.

Утром его нашли мёртвым, со скрещенными на столе руками, посреди вороха бумаг. От сквозняка страницы разлетелись, точно в воду бросили камень.

Этим камнем была его голова.

В городе появилось здание с чёрной дверью, которая отворялась в одну сторону – через неё входили без возврата. Поползли слухи, что это судилище, из которого открывается дорога в ад или в рай. За дверью уже исчезли крикливые поэты, купцы, дававшие Питириму работу, бакалейщик, к которому ушла жена, и добродушный батюшка.

«Жизнь течёт из рая в ад, – нацарапал он в последнем слове, – чтобы попасть наверх, нужно работать вёслами, чтобы упасть вниз – достаточно их опустить».

В восемнадцатом году дров было не достать, и Питирим топил печь мебелью. Греть воду было

роскошью, и за зиму он оброс щетиной, которая от голода никак не превращалась в бороду. Когда осенью за ним пришли, он, смахнув пыль, предложил вошедшим единственный стул. «Возьми с собой», – на ходу бросили ему.

Петли проржавели, и дверь со скрежетом открыла щель, в которую протиснулись конвойные. А потом был подвал, откуда на рассвете отправляли в рай или ад. «Надо бы побриться», – проведя ладонью по щеке, думал Питирим. Чадила свеча, он сидел на своём стуле посреди тёмной камеры, как пятак в кармане, и ловил на потолке собственную тень. На рассвете он попросил чернил. «А есть что завещать?» – швырнули ему обрывок газеты. «И некому», – опомнился он, вцепившись, как бульдог, в окончание слова «революция». И опять прочитал там день вчерашний и день завтрашний, надежды, которым не суждено сбыться, и слова, которые леут.

«Мы все заточены в языке, – вывел он на полях, – но каждый – за свою решётку». Потом прислонился виском к засиженному слизняками кирпичу и, закрыв глаза, в последний раз увидел Ефима – тот сидел на стопе книг, а другая служила ему столом.

Через час Питирим Молостых умер во дворе, сражённый пулями комендантского взвода, – в тот момент, когда Ефим Холостых с тысячью иголками в сердце медленно сползал со стула.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЭЛЕН

Напрасно я так рано выпроводил Катю с её чуть капризным, чуть колким «когда же ты, наконец, с ней разведёшься?» вместо прощания, с привычной горечью и механическим поворотом на высоких каблуках. Всюду «шпильки» – и в словах, и в обуви, усмехнулся я и тут же отвернулся – она бы приняла улыбку за ответ. Хотя, может, это было бы к лучшему, откуда мне знать «когда», вот же выставляю её, значит, страх уже в крови, как и алкоголь, и я опять примеряю на себя «трус и пьяница», да-да, трус и пьяница, здесь можно ставить точку, но я всё тяну, подыскиваю оправдания, чтобы потом махнуть рукой. Лишь бы она скорее ушла, не дай бог им столкнуться, устроив сцену в тесной прихожей – бр-р! – надо ещё выпить. Когда же прибывает этот чёртов поезд? Элен говорила в двенадцать – ночи или дня? – надо же, за столько лет не выучить привычек жены! Наверно, всё-таки в ночь, мне назло, чтобы рано не лёг, значит, уже скоро. А всё же напрасно так рано ушла Катя. Эх, Катя, Катя, молодая, наивная Катя с её безнадёжным «когда же ты с ней разведёшься?» Отчего у всех женщин на уме одно? А, лучше ещё выпить! Но когда же ты наконец явишься? Или это – очередной ход в нашей битве? Томись, вспоминай историю нашей любви, перебирай её чётки, от слепых

восторгов до «передай, пожалуйста, соль», – зачем? чтобы посыпать раны? – до утреннего «как спалось, милый?» – уже из ванной, когда за душем не разобрать ответ, вот так, шаг за шагом, вспоминай её всю до текущего момента. О, утончённый садизм! Или всё вышло случайно, опоздал поезд, а ты без вины виноватая? Как же я ненавижу тебя – прямо до любви, привязался, как к собственной лысине. Пересохло горло, надо бы разбавить, но нет сил встать, да и какая разница, сейчас придёшь ты и, едва освободившись от саквояжа и мокрого пальто, – отчего в твой приезд всегда идёт дождь? – сразу: «Как работалось, милый, вижу: расслабляешься». Упрёк зарыт глубоко, торчит лишь ядовитый кончик! «Ничего, дорогая, как здоровье мамы?» – глухим, чуть заискивающим голосом, а внутри: «Спрячь жало!» – вопль, который душит, душит. Господи, меня уже мутит от дурного спектакля, алкоголя, садомазохизма, мокрого пальто, тошнит от собственной слабости! Надо взять себя в руки, надо подготовиться: сейчас ключ, карябая замок, ударит по нервам – раз, два, три, кто не спрятался, я не виноват. Подожди, отвращение не спряталось – поздно, идёт искать! А ведь раньше потащился бы на вокзал, нервно вышагивая по перрону, раскрывая объятия: «Ах, Элен! Как я ждал тебя!» Теперь другое. Ну чего ты возишься в прихожей, опять, верно, оторвалась вешалка у пальто, конечно, мокрого, конечно, оторвалась вешалка, и пришить её было негде, значит, лишний повод к раздражению, значит, сейчас выльешь на меня всё сразу: дождь, вешалку, опоздавший автобус. Вон поворачивается ручка – сейчас, сейчас! Но – к чёрту, успел ещё промочить горло, пока бесконечно медленно, словно поддетая ножом створка устрицы, распахивается дверь и отвратительно бесшумно

обнажается комната, где я сижу беззащитный и голый, как стакан, оставленный на столе, зато внутри приятно жжёт и на всё наплевать: давай, давай, входи, я готов! Наглухо драпированное платье на мгновенье заслоняет свет из прихожей, и ты поглощаешь сразу половину комнаты, половину моего устричного дома: обещал ведь делить хлеб и постель, верность и скуку, всё – пополам. Длинные, худые руки, белеющие на тёмном драпе, переплетены в кольцо, словно удавка, но ещё ничего не сказано, пока лишь мокрые крашенные волосы, которые раздражают меня так же, как тебя мой мятый галстук, пока мы осторожно принюхиваемся, присматриваемся, как бойцы на ринге, однако уже пора интересоваться здоровьем мамы, пора улыбаться, вспоминая тещу, требующую визитов непременно с цветами, лучше с гвоздиками, «знаете ли, в их букете есть строгий шарм», выскакивающую, как кукушка из часов: «Доченька, целуй же скорее мамочку!», – и уж совсем приторно, в расчёте на соседей: «А вы, дорогуша, заносите чемоданы». Впрочем, это было давно, на заре любви, которая могла ещё капризничать капризами твоей матери. «Сварить кофе?» – «Конечно, буду рад...» Иди, займи себя, насыпь нашу жизнь в турку, разгреби мелкой ложкой, может, мы перестанем тогда, как страусы, зарываться в её песок, может, когда закипит кофе и ты разольёшь его по чашкам, мы утопим в них злого демона-переводчика, искажающего наши слова. Так было раньше, но вряд ли случится теперь, ты пьёшь большими глотками, отставив в сторону мизинец, пьёшь молча, если не считать ту чепуху, которую умудряется при этом извлекать из нёба твой язык, отскакивая и обжигаясь, пьёшь до горечи, что за годы скопилась на дне, а потом аккуратно ставишь чашку на блюдец, жмурясь, как кошка, но

не от удовольствия, а от того – и я думаю об этом каждый раз, когда вижу твой прищур, – чтобы, не дай бог, заглянуть внутрь и увидеть в кофейной гуще разгадку нашего бытия, – вон она притаилась! – но не бойся, я сделаю вид, что её там нет, а потом, ах, вот оно уже и наступило это «потом», ты скажешь, нет, уже говоришь, деланно зевая: «Боже, как я устала!» И я почувствую вину за твою усталость, не пришитую вешалку, за то, что ещё не притронулся к кофе, нарушая ритуал, и от смущения предложу тебе выкурить на ночь – что-то вроде трубки мира, – чиркнув спичкой и поднеся серный факел к твоему лицу, нет, лицам, и ты даже не будешь подозревать, как я хочу, чтобы они вспыхнули все сразу. Или всё же подозреваешь, любовь моя? Вон как вздрогнули твои руки, расплескав по столу чёрную жидкость, о, как я хочу, рыдая, тушить слезами этот пожар, но поздно – огня уже нет, есть только сизый дым, который напрасно ест глаза, и ты права – уже действительно поздно, но я ещё посижу, покурю.

Огромная кровать, на которой недавно была Катя, – и от этого мне немного стыдно и злорадно, – наше осквернённое ложе, на котором ты с детской отрешённостью раскинула руки поверх простыни, точно сдаваясь, точно выбросив этот белый флаг, и слова, такие же бессмысленные, как и наяву, слетают с твоих уст. Кажется, я вижу сны, скользящие по ту сторону век, ты покорна, и я могу прикоснуться к тебе, но между нами лежит меч, выкованный из упрёков, недомолвок, обид, всего того, что входит в состав лжи. Но главное – ты вернулась, и теперь всё пойдет по-прежнему: повернётся скрипучее колесо, качнётся маятник, продолжится наша жизнь. «Ты вернулась», – ворочаю я ватным языком, прежде чем погрузиться в отдельную кабину сна, и

мне любопытно, что ты видишь в своей. Но это навсегда останется тайной, ведь тебя больше не разбудить. Твой кофе отдавал снотворным, лошадиная доза под занавес любовной истории, вот я и дождался: спи, Элен!

Он проснулся, когда солнце яичным желтком размазало по стенам. Он был один.

Элен! Ты не могла уйти, не разбудив меня. Это не в твоих правилах, да и слишком рано, ты же любишь поспать, особенно с дороги. Или ночью тебя увезли, чтобы промыть желудок? О, Господи, да заверните этот проклятый кран! Нет-нет, безумие, этого не могло произойти! Ночью ты раскинула руки – что я ещё тогда подумал о них? – поверх простыни, а я, раздавив на кухне окурок, словно его пеплом собирался посыпать голову, пришёл подглядеть твои сны. А до этого была Катя, оторванная вешалка, разговор ни о чём. Ну, конечно, ты ушла под утро, я блуждал в похмельных грёзах, и немудрено, что пропустил. Но давай же, возвращайся: из магазина, от парикмахера, шляпника. Видишь, мне плохо! И прости, я каюсь, каюсь, кап-кап-кап, не своди меня с ума! Довольно того, что валяюсь, как неотправленное письмо. Вернись в наше уютное гнёздышко, я брошу пить, не мучай же меня! Но вот повернулся ключ, сейчас ты войдёшь, и я рывком отброшу одеяло, растерянность, вздор минувшего, и брошусь к тебе как прежде: «Элен!»

Она стояла в прихожей, сосредоточенно прилаживая пальто на табурет, потом потрянула блестящими волосами («На улице солнечно, – подумал он, – как она ухитрилась принести дождь?») и произнесла вместо приветствия: «Оторвалась вешалка». И, задвигая ногой саквояж, скороговоркой: «Лучше приезжать в ночь – а то день разбит».

Полдень, полночь... Не может быть, тебя выдаёт притворное спокойствие – ты всё подстроила, моё нежное чудовище, и мне хочется крикнуть: не лги, не лги! – я не психопат, ты уже побывала здесь ночью, приходила с дождём и оторванной вешалкой. Прекрати жестокий розыгрыш – меня не довести до сумасшествия, хотя я знаю – ты будешь отпираться, на нашей войне пленных не берут. Я представляю, как, торжествуя, ты позвонишь матери: «План сработал, он на грани помешательства». «Это не белая горячка! – мысленно кричу я, – все детали сходятся, как в мозаике, но одной всё же не хватает!» Однако вопль застрял внутри. Я вообразил, как невротат в пижаме, размахивая руками, объявляет жене, что хотел её убить. Я представил, с каким артистическим недоумением ты вскинешь бровь и произнесёшь тем елейно проникновенным тоном, от которого стынет кровь – его ты бережёшь специально для меня: «Ты слишком много работаешь, милый, надо отдохнуть». И уже через минуту, всё с тем же участливым выражением: «Как насчёт психиатра?» Нет, Элен, тебе не одержать победы, ты не будешь торжествовать, уж лучше безумие!

Медленно, словно крадучись, она прошла на кухню, поправляя на ходу наглухо задрапированное платье, и, равнодушно скользнув по смятым окуркам, зелёной бутылке, пускающей «зайчика», остановилась на чёрном, сохнувшем на столе пятне: «С каких это пор, дорогой, ты пьёшь кофе из двух чашек?»

БИБЛИЯ УВЯДШИХ МАРГАРИТОК

В кафе сидели у окна.
– Ненавижу это!

Лысоватый мужчина отодвинул бумажную тарелку, обвёл взглядом лакированный интерьер.

Сидевший напротив усмехнулся:

– Щи дома вку-уснее?

Он слегка заикался, рыжие волосы забивала седина.

– Ну, если их лаптем! – оскалился третий, такой толстый, что занимал половину стола.

Лысый, махнув рукой, отвернулся.

Было душно, собиралась гроза. В углу, на высокой треноге, громоздился телевизор. Показывали «Преступление и наказание».

– Такое только по молодости и можно, – опять встрепенулся лысый, указывая на экран. – Убить, а потом каяться... – Достав платок, он громко высморкался. – Я с юности ниже травы был, всем дорогу уступал: «Ах, тысяча извинений, вы мне, кажется, на ногу наступили!» А теперь бы раздавил гадину – и радовался!

Он сжал кулак, из которого «фигой» торчал кончик платка.

– В на-ашем возрасте крыша у всех е-едет, – не поднимая головы, хмыкнул рыжий.

– Но в разные стороны, – фыркнул толстяк.

Однако лысый гнул своё.

– Помню, в школе били, налетят кодлой, издеваются... А мать: «Будь умнее, не связывайся!» И в институте лучшим был. А толку? Место получил самое гадкое, нищенское. Ишачил за всех, а меня ещё жизни учили...

Откинувшись, он стал раскачиваться на стуле.

– Зарплату прибавляли редко и всё с идиотской при сказкой: птица по зёрнышку клюёт!

Он надулся, как кот, и, наклонившись, стал собирать в горку хлебные крошки. Соседи продолжали сосредоточенно есть, время от времени вытирая коркой сальные губы.

– Что-о это вдруг тебя разо-обрало? – уткнувшись в тарелку, буркнул рыжий.

– Не вдруг! – вспыхнул лысый. – Давно чувствую, попользовали, да бросили!

– На том свете зачтётся, – вставил толстяк.

Лысый пропустил мимо.

– И где справедливость? – стучал он по столу ногтем. – Я и мухи в жизни не обидел, а в итоге... – Расставив пятерню, стал загибать пальцы. – Денег не нажил, жену увели, дети отвернулись. – Его лицо залила краска. – И правильно, чего с меня взять...

– Так ты, значит, из-за жены? – оживился толстяк, поправляя очки с выпуклыми линзами, которые делали его глаза, как у рыбы.

– Да не в жене дело! Хотя и она, уходя, бросила: «Сам виноват!» Что не воровал, как её новый? – Он повысил голос. – Что никого пальцем не тронул?

На них стали оборачиваться. Склонив набок головы, в пластмассовом стакане блекли маргаритки. За соседним столиком расположилась молодая пара.

– А я не наелась, – засмеялась девушка.

– Ну ты даёшь! – восхищённо улыбнулся парень. – Уплетаешь, будто на собственных поминках!

За столиком у окна поморщились.

– А у ме-еня всё было, – надкусил гамбургер рыжий. – Своими руками сча-астье сколачивал! – Он покосился на лысого. – Только дураки по кру-упице собирают. Жену, когда по магазинам ездила, шофёр ка-араулил. А сбежала с моим приятелем. Эстрадный пе-евец, известности захотела...

– Обычная история, – вынес приговор толстяк.

Кафе гудело, как уличный перекрёсток. Входящие тащили за собой тени, которые, казалось, жирели на глазах, плющась под низко висевшими люстрами. «Что же ты наделал? – плакала Соня Мармеладова на плече у Раскольниковова. – Как же теперь жить будешь?»

– Туфта какая-то! – не удержался лысый.

Разговор не клеился. Долго ковыряли зубочистками, разглядывали зал.

– Готовят здесь на скорую руку, а нам спешить некуда, – ухмыльнулся толстяк, расстёгивая воротник. – Повторим? Когда ещё случай подвернётся?

Его соседям сделалось не по себе. Они вдруг припомнили всю свою жизнь, ощутив её время, как воду в бассейне, где потрогали каждую каплю.

– А я свои годы в семье провёл, – с неожиданной серьёзностью признался толстяк. – Как в тюрьме. После свадьбы в жене всё раздражать стало. Сразу сбежать не решился, а потом дети пошли. Так она ещё упрекала! Ты, говорит, плохой отец! А почему я должен быть хорошим? Меня что, готовили? Или от природы? Когда в гости уходила, поверите ли, радовался, как мальчишка, оставшийся дома один.

Он приподнял очки и, не снимая, протёр стёкла двумя пальцами.

– Так и прожил, что не жил.

За окном сгустились сумерки. Полетели первые капли.

– У вас хоть де-ети остались, – тихо произнёс рыжий. – За-авидую...

Толстяк скомкал салфетку.

– Нашёл чему! Выросли зубастые, думают в деньгах счастье – такие не пропадут. Но и счастливы не будут.

– Теперь даже нищие на деньгах помешаны, – подержал разговор лысый. – А всё из-за таких!

Выставив палец, он едва не проткнул рыжего.

– Да я-то где-есть причём? – передёрнул тот плечами.
– Разве человека сде-елаешь хуже, чем он есть?

– Нечего на людей пенять! На себя посмотри! Скольких пустил по миру?

– Да у-уймите же его! – взвизгнул рыжий. – Прицепился, как репей!

Толстяк затрясся от смеха:

– Ну что вы, честное слово! Как дети!

Он снял очки, но глаза под ними оказались такими же рыбьими.

– А помнишь, – бесстрастно обратился он к рыжему, – как привёл домой любовницу и устроил перед ней спектакль? С жиру бесился, а решил показать, как тебе плохо, и жене сцену закатил?

Рыжий покраснел до корней волос:

– Но я не хотел, та-ак получилось!

Толстяк посмотрел рыбьими глазами.

– Скольких вожу, – вздохнул он, – все безвинные.

Рыжий опустил глаза.

– Он и через нас, доведись, перешагнёт, – добивал

лысый. – Меня бы совесть замучила!

– Ле-ечиться на-адо, – вяло огрызнулся рыжий.

– Поздновато, однако, лечиться, – всплеснул руками толстяк, точно судья, разводящий боксеров.

И оба тотчас осеклись, ощутив своё время заключённым в могильных датах.

Грянул гром. Телевизор сделали громче – стало слышно, как сознаётся в убийстве Раскольников.

– А это он зря, – указав на экран подбородком, перекрикивал раскаты толстяк. – Господь и так видит, а люди всё равно не оценят.

– Вот и я о том же, – покрылся пятнами лысый, – такое разве по молодости можно... Только прописи нам читать не надо – не дети!

– Помилуйте, какие прописи? У вас теперь свой букварь... – Толстяк накрыл ладонью пластмассовый стакан. – Пока маргаритки не увяли, его прочитать надо...

И опять его спутникам сделалось неловко, точно они занимались пустыми делами. Шёл девятый день их кончины, когда показывают грехи и отпускают расчитаться с земными долгами.

– А ведь детьми вы были славными, – задумчиво продолжил толстяк. – Таких нельзя не любить...

– Дети все славные, – вздохнул лысый, у которого навернулись слёзы. – Это потом жизнь под свою испорченную гребёнку загоняет..

Дождь бил в стекло, стекавшие ручьи кривили деревья, фонари и одиноких пешеходов.

– А ты сентиментальный, – тихо заметил толстяк. – Как же ты стал убийцей? Да ещё за деньги?

Лысый взмок. Стало слышно, как стучит его сердце.

– Обозлился на весь мир, когда жена ушла. Нестерпимо, когда такие вот обирают!

Согнув пальцы «пистолетом», прицелился в рыжего. Тот съёжился.

– Не горячись! – накрыл «пистолет» толстяк. – Один раз ты его уже убил, и что – легче стало?

Рыжий подскочил, как ошпаренный, его глаза превратились в щели:

– Та-ак э-это о-он?

– Стрелял он, – с грустью подтвердил толстяк. – А к вечеру самого лишили земной прописки – сердце...

Рыжий начал отчаянно заикаться, морщась от напряжения:

– А кто-о же-е...

И не в силах закончить, замычал.

– Заказал кто? Да певец, твой приятель. Из-за наследства – ты же ещё не развёлся...

Кафе опустело, задрал рукав, толстяк посмотрел на часы.

– А его простишь? – кивнул он на лысого, который грыз заусенцы.

Рыжий стиснул зубы.

– Добро неотделимо от зла, – отрешённо произнёс толстяк, почесав нос кривым ногтем. – Потому что нет ни того, ни другого... – Так, простишь его?

Рыжий покачал головой.

– Значит, надеешься счёты свести? Будешь стучать себя в грудь? А ведь вы по-своему родственники, он за тебя даже денег не взял – жена-то у вас одна была...

Рыжий онемел. Казалось, он ждёт переводчика, который объяснит ему всё на понятном языке.

– Роковая женщина, – зевнул толстяк.

Долго молчали, уткнувшись в стену, оглохшие, точно цветы меж страницами забытой книги.

– А не всё-ё ли ра-авно, – растягивая слова, подвёл

черту рыжий, – раз мы теперь вро-оде женщин – без
возра-аста?

И протянул через стол руку.

– И ты извини, – пожал её лысый.

Поднялись ровно в полночь, когда кончилась гроза,
задвинув стулья, которые высокими спинками окру-
жили блекнувшие на столе маргаритки.

СТИХИ

Михаил Михолап шагал по набережной канала и не мог понять, что же такое жизнь. Был вечер, его тень крутилась под фонарями, как стрелка часов, а ветер щекотал ноздри.

«Жизнь, – думал Михолап, – жизнь, жизнь...»

Михолап видел прошлое всего на шаг, зато будущее – на два, и боялся прожить свои годы, не разгадав их тайны. А оттого топтался на месте. Его жизнь уже перевалила за середину, и, будто возвращаясь из скучных гостей, он прикидывал выброшенные на ветер слова, из которых не складывалось ни одного предложения, и думал, что прошлое, как отрезанный ломоть, – с кем его съел, неведомо.

Когда-то Михолап закончил факультет ненужных профессий и с тех пор мучился: зачем было столько изучать, чтобы потом старательно забывать. Его начальник – Михолап работал в бюро по продаже лотерейных билетов – гордился книгами, которые не прочитал. «Кто умён – тот дурак!» – приговаривал он, расцветая подсолнухом среди льстивых улыбок, и Михолап, качаясь, как водоросль, согласно кивал.

От воды несло сыростью, Михолап плотнее запахнул пальто и вдруг обнаружил, что стоит посреди двух фонарей, не зная, куда идти. В этой точке его тень

раздвоилась, одна потянулась к реке, другая, через улицу, к аптеке, и Михолап громко чихнул. Потом достал сигарету, чиркнул спичкой и, ладонью загораживая огонь от ветра, прикурил.

Борис Барабаш мёртвой хваткой вцепился в чернильную ручку, проскакивая в мыслях нужные повороты, и не мог понять, что же такое смерть. Буквы плясали на неровностях, как телега на ухабах, а ветер трепал бумагу, которую он, прижав пальцами к граниту, то и дело разглаживал ладонью.

«Смерть, – думал Барабаш, – смерть, смерть...»

Он боялся умереть, не успев понять, что это такое.

У Михолапа были свои привычки: он держал грелку в постели, а тапочки под кроватью, на завтрак съедал яйцо всмятку и будням предпочитал воскресенье. Когда у человека на мосту выпал клочок бумаги, оттого что он неловко карабкался на парапет, Михолап бросился вперёд, успев схватить его за волосы, на которых тот повис над ледяной рябью, как Авессалом, запутавшийся кудрями в ветвях. Руки Михолапа слабели, но, прежде чем разжались, волосы треснули, и человек сорвался во тьму, оставив в кулаке Михолапа седую прядь.

Вокруг было ни души, развернув записку, Михолап прочитал стихи, под ними адрес, показавшийся ему до странности знакомым, и поэтому не удивился, когда ноги привели его к двери, ключ от которой лежал у него в кармане. За ней его встретила женщина, как две капли похожая на его жену, и подросток – вылитый его сын. Он открыл было рот, чтобы рассказать им о случившемся, но не решился. Вместо этого он надел

тапочки, положил в постель грелку и с открытым ртом уставился в телевизор.

Так Михаил Михолап стал Борисом Барабашем.

Один человек решил познать мир. Он обложился энциклопедиями, из которых выписывал истины, казавшиеся ему важными, бродил по свету, складывая слова, услышанные во всех его частях, записывал сны, пророчества, молитвы, крики птиц, язык ветра и шёпот воды. Он вставлял в свой кроссворд названия рек, городов и пустынь, отделяя их, как запятыми, речами немых и тишиной глухих, следами птиц в воздухе и змей на камнях.

Шли годы, письма множились, заполняя клетки, оставляя пустым лишь место для разгадки. Временами на человека находило озарение, и тогда он выбрасывал лишнее, оставляя от вороха слов по букве.

А время между тем заполняло его лицо морщинами. Его руки дрожали, а ноги с трудом держали дряблое тело. Он был один во Вселенной, всюду лишний. Но в кроссворде недоставало лишь буквы. Перед смертью он открыл и её.

На месте, где должна быть разгадка мировой тайны, человек прочитал всего лишь одно имя – своё.

Жить на два дома никого не хватит, и постепенно Михолап прижился в новом месте. Он смотрел чужие сны, а когда получал письма, отвечал так, чтобы не заподозрили, будто Борис Барабаш умер. О своей прежней семье он вспоминал лишь изредка, когда вдруг замечал, что у жены исчезла с плеча родинка или видел в зеркале поседевшие виски. Были и другие отличия: его жена слышала, только когда говорила, а барабашевская

говорила, только когда слушала. Но Михолап, как и раньше, убеждался, что зубы лучше пересчитывать языком, чем на ладони.

За бывших домашних он не волновался – годами не замечая, его не хватятся.

Каждый бездельничает по-своему, все работы похожи друг на друга. Михолап служил теперь в рекламном бюро, где продавал лотерейные билеты. «Ума палата – божье наказание!» – отпускал шутки начальник, про которого шептались, что он без выгоды даже не плюнет, и, качаясь, как водоросль, Михолап согласно кивал.

На затылке у него не хватало клока волос, и он уже не знал, кто из двоих живёт, а кто прыгнул с моста.

Но постепенно плешь перебралась на макушку, слившись с залысинами, сделалась незаметной, и Михолап понял, что люди, как змеи, множество раз становятся другими, входя в одну воду и дважды, и трижды – каждый день.

Прежняя жизнь слезала, как ушибленный ноготь, а под ней всё больше проступала чужая судьба. И Михолап всё чаще видел перед собой бесконечный тупик. «Чтобы думать о смерти, – успокаивал он себя, – надо твёрдо стоять на ногах, чтобы размышлять о жизни, нужно быть при смерти». Борис Барабаш стирал себе сам, и Михолап, вынимая бельё из стиральной машины, пришивал оторванные «с мясом» пуговицы и развешивал на верёвке разнопарные носки.

Время металось по клетке, как попугай, бормоча расхожие истины. В новом воплощении действовали старые законы, Бориса Барабаша не замечали так же, как Михаила Михолапа. По утрам он варил себе кашу, а

с женой вёл себя, как сапёр на минном поле. И всё равно нарывался. Слушая их тихое переругивание, сын упрекал в безденежье, тесной квартирке, мелких, как сыпь, ссорах. Как было объяснить, что виноват не быт, а бытие, как гренка бульоном, пропитанное злом. Каждый говорит с миром на «ры», пока не наденут смирительную рубашку. Михолапу вспоминались окрики матери, за столом бившей его по немытым рукам длинной суповой ложкой, мучительное вычёсывание непослушных, с колтунами, волос и бесконечная, до стука в висках, зубрёжка стихов, которых не понимал. «Ночь. Улица. Фонарь. Аптека. Бессмысленный и тусклый свет. Живи ещё хоть четверть века, всё будет так, исхода нет...» Школа навязала в зубах, институт засел в печёнках. Впрочем, теперь кто-то забирал его воспоминания, как и он сам присваивал память Бориса Барабаша.

Порой ему казалось, что он родился в сорочке, но повитухи её украли, и счастье, дразня, бежит впереди него с высунутым языком. Оно переставляет местами его будущее, сбивая с пути, и он бредёт не по той дороге. У него воровали завтра, подсовывая заплесневевшее вчера, он переживал заново давно изжитое, словно ребёнок ел пережёванную кем-то тюрю. Его сегодня было вчера для Бориса Барабаша, за которым он шёл след в след. Но он больше не роптал, что стал им, ведь это будущее ничем не отличается от другого. Михолап чувствовал, что всё могущее с ним случиться уже произошло, и события будут лишь повторяться, как в дурном сне.

И Михолап всё больше ощущал себя чужим. «Возлюбить ближнего, как себя, – значит и себя возлюбить, как ближнего, – рассуждал он, горбясь на стуле, – а любить в себе постороннего – значит отречься от “я”».

Был вечер, оконная рама билась на ветру, и он смотрел, как в потемневшем небе переворачивались стаи ласточек, будто кто-то выжимал сырую простынь.

Жена старела, у сына ямочка двоила подбородок, ему нужно было точить зубы, и Михолап, глядя на их перебранку, опять вспоминал детство.

«Женщины дают жизнь, – криво усмехался он, – и они же её губят».

На него обращали внимание не больше, чем на мушиные следы.

Вспоминал Михолап и стихи, заученные когда-то. Они понимались только теперь, их смысл доходил с опозданием, как свет от исчезнувших звёзд. Тогда он поворачивал обратно, собираясь пройти назад расстояние длиною в жизнь, и тут чувствовал, что его ноги начинают расти с головокружительной быстротой, что, глядя на них с высоты, он вот-вот коснётся неба, не в силах сделать гигантского шага.

Казалось, он вспомнил то, что другие забыли, и не понимал того, что знали все.

Была ночь. Михаил Михолап, сплюнув, загасил окурок о подошву. «Ночь, – подумал он, – ночь, ночь...» Пожившись, он крепче запахнул пальто. От холода его мысли стали космически ясными и, потеряв привязанность к его маленькой жизни, стали сами по себе. Он думал: «Окружающий мир – это разница между нами и остальным миром. Мы видим только разницу, только то, что не есть мы. И когда мы умрём, то не перестанем быть, и мир тоже не исчезнет, просто сотрётся разница, и мы станем невидимы друг для друга».

Он уже шёл по мосту. «Смерть, – думал он, – смерть, смерть...» Прислонив бумагу к граниту, он попытался

записать свои мысли, но буквы скакали на неровностях, как телега на ухабах, а ветер трепал листок. Отшвырнув записку, Михолап сосредоточенно вскарабкался на парапет, застыв над бездной.

Себя за волосы не вытащишь, а спасителя в мире нет. Михаил Михолап умер, не успев понять, что такое смерть. Его несла река, а ветер, развернув записку, гнал по булыжной мостовой криво начертанные стихи: «Умрёшь, начнётся всё сначала, и повторится всё, как встарь: ночь, ледяная рябь канала, аптека, улица, фонарь...»

КОАН ДЛЯ ТРОИХ

Ч то такое дзэн?
Он улыбнулся.

– Вспомните, чему учили в школе, вспомните премудрости логики, теоремы и аксиомы, так вот дзэн – это всё наоборот.

Его зовут Елизар. Он милый, хотя и старый. «Уже сорок», – пожал он плечами, когда я брала интервью. Елизар – местная знаменитость, и сокурсницы-журналистки предупреждали, чтобы я называла его учителем. Вот ещё! Да и он смущается. Но интервью получится интересное, наверно, лучшее на факультете.

– А про чайную церемонию расскажете?

– Лучше показать, – потянулся он за чайником.

На шее у Елизара родинка, а на щеках, когда смеётся, – ямочки. Только смеётся он редко. Чай заварен по-тибетски: холодный, с бараньим жиром. Делаю над собой усилие, чтобы не морщиться.

– А «Будда» происходит от слова «будить»? – наивно распахиваю ресницы. – Называют же его – Пробудившийся...

Ну вот, опять ямочки запрыгали! И смутился. Боже, какой смешной!

Прощаясь, кокетливо надула губы:

– Возьмёте в ученицы?

Целый день думаю о приходившей студентке. Елизавета красива. Даже слишком. Мастер Хакуо отверг одну ученицу из-за красоты – и та обезобразила лицо раскалённым утюгом. Да и какой я учитель! Мне до просветления, как до неба. Разве лекцию прочитать. И то, когда она, достав блокнот, спросила про Будду, растерялся. Смешно, конечно. И всё же нашёлся: «А Елизар происходит от Елизаветы...»

И подумал, что это, возможно, не простая игра букв.

Всю неделю хожу к Елизару, в его тесную квартиру с видом на глухую стену. Мы разговариваем, смотрим японские гравюры с иероглифами, листаем пожелтевшие, в кожаном переплёте книги. Елизар – большой ребёнок, иногда мне кажется, что я его старше. И говорит он по-особенному, всё больше про сутры да шастры. А в житейских делах совершенно не разбирается. Учитель, одно слово! Но мне с ним интересно, мои ухажёры-мальчишки кажутся теперь скучными. Раз прихватила к Елизару одного, так не мог вставить и слова, пыхтел, тужился. А потом, выпятив подбородок, козырнул:

– Мне вас жаль – потерянное поколение.

– Мы-то потерянное? – вспыхнул Елизар. – А вас в капусте нашли!

Ого, да мы умеем кусаться!

Мне сделалось стыдно, и я стала приходиться одна.

Февраль выдался сухим и ясным. Ковыряя на окне изморозь, вспоминаю старинную метафору о том, что жизнь бесконечна, как таяние снежинки в чистом небе.

И мне делается необыкновенно легко.

Надолго ли?

Все истории про учеников дзэн кончаются их просветлением. А вдруг потом снова наступает тьма? Вдруг беспокойные мысли снова застилают сознание, как пыль – зеркало?

С Елизаром легко. С ним можно молчать, а можно откровенничать.

– Замечали, всё бывает не так, как думаешь? – шурится он. – Ожидаешь горя – приходит радость, кричишь от счастья, глядь, накликнул беду..

– Это оттого, что всё непостоянно, – быстро киваю я. И тут же шепчу: – А мне, Елизар, порой кажется, что моё счастье маячит на горизонте синим облаком... Только вот как его найти?

– Это всё равно, что с зажжённым фонарем искать огонь.

У него на всё ответ! Вот уж кто свою Вселенную строит из слов!

Классический дзэнский коан: что такое хлопок одной ладони? А теперь у меня появилась другая тема для медитации: «Почему встреч ровно столько, сколько и расставаний?» Я размышляю об этом, когда в одиночестве считаю часы до возвращения Лизы. У нас уже вошло в привычку проводить вечера вместе. И что она во мне нашла? Вчера за чаем бегло рассказала о своём детстве: родители развелись, выросла с матерью.

Может, она видит во мне отца?

Сегодня это случилось! Сидя в кресле, Елизар по обыкновению что-то рассказывал, то и дело ероша пятакней волосы, как вдруг я почувствовала неустойчивое

влечение. Пересев к нему на колени, обняла, поцеловала. Он отстранился, но я крепко прижалась к нему всем телом...

В постели Елизар оказался не на высоте, но мне почему-то это совершенно безразлично. Главное, я поняла, что люблю его! Он признался, что после развода у него не было женщины. Бедный! Но в глубине мне приятно, не хочу его ни с кем делить, даже с прошлым...

Пробовал медитировать – напрасно! В голове крутиться какая-то ерунда: «Елизар, Елизавета – ели за “р”, ели за вето!»

Похоже, мой дзэн летит к чёрту.

Приходил Елисей. Не удержавшись, я рассказал про Лизу. Он стал выспрашивать и хохотать: «Значит вас уже трое – ты, она и любовь?» А глаза серьёзные. Елисей не верит ни в Бога, ни в чёрта. Но любит библейские изречения. «Один человек на свете, – гладит он щетину на подбородке, – и нет у него ни отца, ни матери...» А потом ржёт: «И друзей нет, и врагов – одни интересы...» Он с детства такой, и чего я его терплю? «Ну что, горе-буддист, – толкает меня в бок, – кто жизни не знает, тому других учить?» Я завожусь, и мы до хрипоты спорим. Елисей при деньгах, но не трудоголик и ещё не утратил вкуса к жизни.

– На сайте знакомств, – рассматривая холёные ноги, деланно зевает он, – нашёл фотографию одной молоденькой – ищет секса по телефону. Я подумал, зачем фото, если по телефону? И точно – оказалась старухой.

– Ты это к чему?

– А к тому, что все кругом врут.

Я хотел промолчать, но не удержался.

– Завидуешь?

– Безумию? – вскинулся он, и я понял, что угодил в десятку. – Эх, Елизарчик, жизнь всё равно своё возьмёт, это вначале весело, а после женщина скажет: «На в лоб, болван!» А ты прочитаешь наоборот – тоже самое получается... Так стоит ли начинать?

– Не философствуй – не тянешь, – огрызнулся я.

Елисей оскалился.

– Да пойми, чудак-человек, сначала встреч больше, чем расставаний, потом – наоборот... В конце концов, кто из нас буддист? А молодым сегодня переспать, что воды пригубить, – гнул он своё. – Поверь, я лысину протёр на чужих подушках, и тебя заклинаю: «Трахать – трахай, а любить – не люби!»

– Не знал, что у меня появился опекун.

Елисей похлопал по плечу.

– Ну, зачем так, я же школу на год раньше закончил, так что на правах старшего брата...

А потом сказал гадость. И мы чуть не подрались.

Показала матери фото Елизара. Она съехидничала:

– Не могла найти моложе?

– А ты нашла, да не удержала, – огрызнулась я.

И на глазах поцеловала фотографию. С тех пор мать шипит по каждому поводу. Ну и пусть, главное, Елизар – мо-о-о-й!..

Ничего не могу делать. Постоянно думаю о Лизе, о её бывших поклонниках, и не могу преодолеть мальчишеского желания быть лучшим. Опять был Елисей. С порога протянул письмо. Вот, говорит, почитай на досуге, полюбуйся на себя со стороны.

«Елизар со школы не от мира сего. Идеалист, мечтатель. А теперь ещё и влюбился! “Женщина

окрыляет”, – подтруниваю я. А он принимает всё за чистую монету! Начинаю по-дружески увещевать. Какой там! Слеп, как крот, глух, как тетерев. Ладно, думаю, зайду с другого конца. И посоветовал: “А чтобы в грязь не ударить, прими виагру.” Думал, он меня убьёт! Вот и верь, что буддисты мухи не обидят.

Взлетать приятно – падать больно. А Елизар, как все влюбленные, этого не понимает. Эх, дурья башка, кто тебя защитит? Кто уберезёт от женского коварства? Елизавета, иду на вы! Может, мне, как Цезарю и Наполеону, писать о себе в третьем лице?»

Сложив листок вчетверо, я позвонил Елисею:

– Извинения принимаются.

– Значит, прочитал, – вздохнул он. – Ладно, Елизарчик, мир... Люби себе на здоровье, только учти, современные девушки прилипчивы – потом ложкой не отскребёшь. Их учат за своё счастье драться... – Он заржал. – С нами.

И повесил трубку.

Во сне я читаю вслух о дзэне Будды: «Положение царей и правителей считаю я пылью. Сокровища из золота и драгоценностей вижу я грудями кирпича и булыжника. На тонкие шёлковые одежды смотрю я, как на рваные лохмотья. Мириады миров вижу я крошечными плодовыми семечками, а величайшее озеро Индии – капелькой масла у себя на ноге. Мировые учения воспринимаю я, как магические иллюзии, нирвану – как страшный сон среди дня. На суждения о зле и добре я смотрю, как на змеиный танец дракона, а на подъём и падение вероучений – как на смену времён года».

Подняв голову, я замечаю, что вокруг собралась толпа.

«А разве сам дзэн не иллюзия? – слышится мне насмешливый голос Елисея. – Выделить одну из иллюзий, назвать её отсутствием иллюзий – вот и всё твоё просветление... Нет, брат, всё – ложь!»

И, просыпаясь, понимаю, что Елисей больше буддист, чем я.

Вчера произошло странное знакомство. По дороге в университет меня обогнал чёрный мерседес. «Знакомиться на улице неприлично, – мягко улыбнулся вышедший из него мужчина, – не ставьте меня в глупое положение, скажите, где вас искать?» Было холодно, у меня мёрзли уши, а изо рта шёл пар. Я прошла мимо, но спиной чувствовала, как мерседес медленно едет за мной. У дверей университета не выдержала, обернулась и покрутила у виска. А после занятий мужчина встретил меня с охапкой свежих роз. Я опять прошла мимо. Он бросил цветы в снег. И тогда мне стало жаль. Не знаю, кого больше: его или себя – хочу одного, а делаю другое.

В суши, куда мы пошли, было пусто. Елисей, так он представился, заказал острые блюда с непроизносимыми японскими названиями, и коньяк, который я выпила залпом. У Елисея нос, как заснувший на козлах извозчик, и большие печальные глаза.

– Вы – еврей?

Он неопределённо махнул:

– К старости все делаютя немного евреями.

Кокетничает, он не старше Елизара. Сколько ему? Впрочем, какая разница, нам детей не крестить. А всё же интересно.

К выходу опять подкатил мерседес с шофёром. Выскочил, открыл дверцу. От коньяка я слегка опьянела,

Елисей подставил руку, и, разгорячённые, мы опустились на заднее сиденье.

Елисей вызывающе богат, когда я намекнула на это, отмахнулся:

– Разве с голоду не пухну.

– Нет, вы прямо королевич Елисей из сказки, можно я вас так буду называть?

– Вы любую сказку превратите в быль, – откланялся он. – А быль – в сказку.

Лиза не приходит второй день. Звонит, говорит, экзамены. У меня тяжело на душе. Валяясь в постели, перечитываю буддистскую притчу: «Прячась от тигра, человек ухватился за корни дикой виноградной лозы, растущей над пропастью. Дрожа от страха, глянул вниз, а там его поджидает крокодил. А тут ещё две мыши, чёрная и белая, потихоньку подгрызают лозу. И вдруг висящий над бездной человек заметил рядом спелую, сочную землянику. Протянув руку, сорвал её. Как же вкусна она была!»

Прекрасно, только где найти такого человека?

Елисей – холостяк.

– Сколько женился – столько же разводился, – бесшабашно подвёл он черту под историей своей семейной жизни.

И погладил небритый подбородок, заставляя вспомнить о семи жёнах Синей Бороды.

– Значит, серебряная свадьба не для вас?

В глазах у него заплясали чёртики.

– Знаете, как говорят про такие пары? – наклонился он. И, округляя ладонь у рта, прошептал с деланной серьёзностью: – «Их обитель в тихом вое:

любовь ушла – остались двое...»

Всю неделю Елисей водит меня по ночным клубам, и я потом целый день разбитая. Да и в клубах – скука смертная, шум, гам, везде одно и то же. Если бы ни Елисей, умерла бы с тоски. Правда, и он иногда перегибает.

– Люди, девочка моя, ужасны, – закинув ногу на ногу, вещает густым басом, – упал – затопчут..

Будто сама не знаю!

– Надо больше «зажигать», – отворачиваюсь я к танцующим. И чувствую спиной, как его передёргивает. У Елисея такая культура речи, что, по-моему, с соотечественниками его скоро будет разделять языковой барьер.

Зима на исходе, на прогалинах чернеет земля, уныло торчат деревья.

Лиза стала бывать реже. Подозреваю, тут не обошлось без Елисея. Но что делать? В конце концов, искушений много, от всех не убережёшь. К тому же они – внутри, так что пускай всё идёт своим чередом.

Хожу по комнате и, сцепив руки, твержу: «Не желай, чего не имеешь, а не имеешь ты ничего...»

Сегодня Елисей, подарив букет, который не уместился у меня в руках, сделал предложение. Я сказала, что люблю другого. Он остался невозмутим. Точно ждал отказа. Только и сказал: «Отчего, Лиза, всё бывает не так, как думаешь?» Неужели все взрослые выражаются одинаково? Но Елисей упрямый, чувствую, ещё не раз вернётся к разговору.

А с Елизаром мы стали ссориться. По пустякам. Думемся, обижаемся. Что это? Борьба характеров? Вчера

он, угрюмо насупившись, залепил: «Тебя надо содержать и терпеть. А я не могу ни того, ни другого...» Глупый, думает, мы расстанемся. Нет, Елизарушка, я тебя не брошу! У меня такого ни с кем не было. Прямо африканские страсти! Елизар говорит, что в постели я – генерал...

Наш роман длится уже вечность. Мы едим, разговариваем, занимаемся любовью, но Лиза далека от меня, будто в первый день.

«Не желай окружающего мира – он тебе не принадлежит», – учат мастера дзэна.

«Не старайся понять и ближнего», – всё чаще думаю я.

За окном серо, всё утро валит снег. Настроение не из лучших. На носу диплом, а что дальше? Бегать с высунутым языком? Елизар говорит, лёгкого хлеба не бывает. Но я ещё так молода! Собралась переехать к нему. К тому же мать пилит. Но как работать? Елизар старомодный, у него ни компьютера, ни интернета. Да и квартирка – с ноготь, а дома у меня своя комната.

Лиза от меня всё дальше. Не удержался, позвонил Елисею. Он выслушал с холодным равнодушием.

– Что ты хочешь, это жизнь...

– А ты, случайно, не вмешиваешься? – затаил я дыхание.

Он промолчал.

– Пойми, я её люблю...

Он опять промолчал. Тогда я вышел из себя.

– К чему столько слов? – перебил он. – Ты сказал – я поверил, ты повторил – я засомневался, ты стал настаивать – я понял, что ты лжёшь. Себе, Елизарчик, себе.

В его словах была какая-то правда, и я сменил тон.

– А помнишь, как ты был влюблен в одноклассницу, как рассказывал, что провёл с ней ночь за разговором, будто в постели вас разделял меч?

– Это с какой? – хмыкнул он. – Женщин в юности много, а комплексов – ещё больше...

И положил трубку.

Апрель повис на плече, как плачущая женщина. Я брожу по улицам, плюю в бегущие ручьи и наблюдаю, как вода уносит плевки под лёд. Весной одиночество ощущается особенно остро. Это Елисей может стиснуть зубы: «Я волк-одиночка, и – точка!» А я – нет. Лиза капризна, как у всех молодых, у неё в голове ветер. Но без неё я схожу с ума!

«Вот и весь твой дзэн, – прыгая на проталинах, чирикают воробьи, – вот и весь дзэн...»

Боже, какая я дура! Мало того, я просто грязная, продажная девка! Вчера Елисей пригласил к себе. У него дорогие апартаменты, множество комнат, в которых можно заблудиться. Он был обаятелен, много шутил, и я хохотала, как безумная. Прежде чем выпить, мы согрели коньяк в ладонях и медленно кружили под какую-то мелодию в стиле ретро. Впервые со дня знакомства Елисей был чисто выбрит, его глаза жарко блестели, и я чувствовала, как бьётся его сердце. Он болтал о пустяках и вдруг, приподняв мне подбородок кончиками пальцев, привлёк к себе. «Дорогая моя, – горячо зашептал он, – я сгораю от любви, вспомни Клеопатру, египетские ночи... Я дам сколько хочешь... Сто тысяч, двести... Только одну ночь, детка, только одну... И всё останется в тайне...»

Не знаю, как это случилось...

После этого сидела, как каменная, ничего не чувствовала. Елисей устало закурил, потом молча выдвинул ящик стола. Когда до меня дошло, я закричала: «Не надо мне никаких денег!» Он пожал плечами и больше не произнёс ни слова. Я стала одеваться, с холодным безразличием он подал пальто.

По телефону выплакалась подружкам. «Ничего себе, – удивились те, – ты ещё долго держалась...»

Простит ли Елизар?

Подруги советуют не рассказывать, но разве я смогу?

Всё кончено. Позвонила Лиза, рыдала: «Нам надо расстаться...» По телефону ничего не объяснила, а при встрече выложила всё. Я дал пощёчину. «Вот он, хлопок одной ладони», – глядел я на удалявшуюся узкую спину, на худые, мелко сотрясавшиеся плечи...

Месяцы кружат свой хоровод, уже лето. Я оставил дзэн-до и, затворившись в четырёх стенах, перебираю случившееся.

Иногда заходит Елисей, издевается: «Ну что, Елизарчик, их осталось двое? Только вот кто ушёл – он, она или любовь?»

МИТРОФАНОВО СЧАСТЬЕ

Митрофан был настойчив и любил повторять: «Я не боюсь ошибок, потому что ошибки – это судьба, а судьба, как женщина, любит тех, кто любит её». Первую половину он бежал по жизни, сломя голову, перепрыгивая через собственную тень, но с годами сделался мизантропом. Однако не упускал случая продолжить человеческий род, полагая, что красивый и умный не тот, кто не похож на остальных, а тот, кто здоров и похож на всех.

При этом здоровья Митрофану хватало всего на несколько сигарет в день.

Хмурым ноябрьским утром он проснулся с горечью во рту и, опрокидывая пустые бутылки, потянулся за обгоревшим чайником, носик которого упирался в подушку. Тело плохо слушалось, Митрофан горбился, как манекен, и, пройдя с деревянным лицом мимо раскиданной одежды, сказал себе, что старость стучится по ночам. Он увидел в зеркале синяки и испугался: он помнил себя до вчерашнего вечера, а потом – нет. Он подозревал, что дальше начинались сюрпризы, и боялся, что однажды сюрпризы перестанут быть вчерашними, и с ними придётся встретиться лицом к лицу.

Митрофан хотел быть сытым и не хотел есть, поэтому пил крепкий чай и вспоминал, где нужно сегодня быть.

Однако давно смирился с тем, что не выходит из дома.

Ему было одиннадцать, ранней весной он гулял в парке, задирая голову к верхушкам деревьев, считая на пальцах разорённые за зиму птичьи гнёзда, когда его клюнула ворона. Два дня он провалялся в постели, слушая оханье няnek, уставившись на дверь, ведущую в чулан. А на третий перебил из рогатки всех ворон в округе. Они падали с деревьев, как яблоки, махали перебитыми крыльями, беспомощно раскрыв клюв, каркали на сбежавшихся из подворотен кошек. Митрофан хотел было отогнать мелких хищниц, но тут его схватил за ухо сутулый бородач с длинными плоскими ногтями и потащил по улице, ругаясь на языке, который Митрофан слышал только во сне. Он привёл его к старому кирпичному дому, толкая по крутой, засиженной слизняками лестнице, спустил в подвал, где на высоком стуле медлительный человек чинил сапог невиданных размеров.

«Посмотри, что делает твой сын!» – крикнул бородач, бросив к ногам сапожника мёртвую ворону. Человек отставил сапог в сторону, взял ворону за сломанное крыло, а Митрофана за руку. Потом, всё также неторопливо, отвёл его в чулан, где сушился лук, и закрыл вместе с мёртвой птицей.

Митрофан прислушивался в темноте, густевшей от запаха лука. Он ждал, что дух вороны явится мстить, но слышал только гул крови в собственных жилах.

Акогда проснулся, дверь чулана была открыта, и нянка, согнувшись над веником, выметала птичьи перья.

«Всяка тварь ест другую», – понял в тот день Митрофан, почесав затылок.

У него прорезался зуб мудрости, а звали его Фома Криворуль.

Митрофан менял имена, как змея кожу, полагая, что каждому возрасту соответствует новый человек, и неоднократно крестился, перемерив на себя уже все святцы. Но была в этом и месть. «Несправедливо, – рассуждал он, – что имя остаётся вечным – оно и старше, и переживает нас».

Среди его имён были женские, когда женское начало брало в нём верх над мужским, и такие, по которым невозможно определить пол.

Так было в юности, когда ему попадались женщины с лицом в кулачок и подошвой на сердце.

«Вон сколько их! – бормотал он, косясь по сторонам. – Нужна одна, а нет ни одной».

Он сплёвывал на тротуар, приподняв шляпу, знакомился, подбирая банальности к улыбке, прилипал, как банный лист. Отделаться от него было невозможно, но он быстро высыхал: залезая под одеяло, проводил долгую ночь, а потом едва коротал день.

«Женщин портят мужчины», – пыхнула ему в лицо сигаретным дымом дама с поплывшей на ресницах тушью.

«А мужчин – женщины», – про себя возразил он, чувствуя, как внутри сцепились, словно борцы в стойке, мужское и женское начала.

Но постепенно монологи с женщинами превращались в диалоги с собой.

И он взял имя Саша Звенигрош.

Сцена из фильма: полицейский и бандит, переговариваясь, целят друг в друга с трёх шагов. А потом

стреляют. Бандит – чтобы спастись, полицейский – исполняя долг. Промахнуться невозможно, и, погибая, полицейский даже не знает, попал ли он. Митрофан видел в этом символ. Ему чудилось, что и он, словно под чьим-то дулом, проживает так, а не иначе, всецело подчиняясь чужой воле, и однажды умрёт, не узнав, справился ли с ролью. О счастье он думал не чаще, чем поливал кактус на подоконнике, а остальное время искал под лавкой чертей. В неудачах он обвинял родителей, Бога, судьбу, хлопнув на лбу муху, клял время, отпускал колкости в адрес каждого из своих имён и всё чаще задумывался о поступках, которых не совершал. «Лучшее произведение – ненаписанное, лучший человек – не рождённый, лучший поступок – мысленный, – приходил он к выводу, ковыряя на стене лупившуюся краску. – Шатаясь по свету, много наслушаешься, ещё больше найдёшь, а себя потеряешь».

От людей исходил пугающий оптимизм, и Митрофан бежал домой, пряча своё «я» за семью замками.

Любовь пришла к Митрофану поздней осенью. Она стояла в крепдешиновом пальто у канала, когда он шёл менять имя. «Проводите меня до метро», – просто сказала она. И Митрофан повёл женщину старыми перекошенными дворами, молча поглядывая на её тень. Ему хотелось быстрее от неё отвязаться, и поэтому он вёл её не к метро, а к себе домой. Память у него была так устроена, что в ней оставалось только то, что Митрофан не стал делать, а содеянное без остатка забирала старость, когда стучалась к нему по ночам. Он вглядывался в силуэт спутницы и, улыбаясь, думал, что не будет помнить его очертания после того, как разглядит без одежды.

Но ночью, когда проснулся, спутнув старость, и пошёл в ванную по раскиданному на полу женскому белью, Митрофан увидел в зеркало человека, которым был вчера. Он осознал, что помнит все ошибки за несколько лет, которые привели его к этому зеркалу, но не помнит ни своего старого имени, ни нового.

Поэтому утром, когда его позвали на новый лад, он послушно откликнулся.

Его любовь звали Капитолина Перехлёт.

И это стало очередным именем Митрофана.

Его сны пропускали время, как дырявый плащ сырость. Вот он снова был ребёнком: лето выдалось дождливым, его велосипед чертил по лужам «восьмёрки», а босые ноги, то и дело соскакивающие с педалей, черпали воду. Чертыхаясь, он дёргал руль, наклоняясь то вправо, то влево, считал Митрофанов, отражавшихся на мокром асфальте. Они появлялись и исчезали вместе с поворотами, но он успевал заглянуть им в глаза.

И прежде чем проснуться, понял: это были глаза будущих ошибок.

Когда они были вместе, его любовь громко смеялась, а когда расстались, недолго плакала. Она намазала маслом булку и, взяв обеими руками, словно ребёнка за уши, стала считать маковинки.

«Мужчина, как трамвай, – откусив бутерброд, подумала она, – один ушёл – придёт следующий».

А Митрофан по-прежнему заливался соловьём и, увиваясь за женщинами, был назойлив, как комар. Но если раньше за беседой скрывалось желание заняться любовью, то теперь постель стала поводом поговорить. И в этом Митрофан преуспел гораздо меньше,

добиваясь лишь междометий и вскинутых бровей. Его избранницы не хотели слушать, потому что знали всё наперёд, а когда открывали рот, вяли уши. Но Митрофан не сдавался. Он влюблялся до беспамятства, раз за разом уверяя себя, что ему отвечают взаимностью. Ему казалось, будто зимой распускаются розы и по ночам светит солнце.

Однако, что у мужчин на уме – у женщин на языке.

«Хорош, ухажёр, – слышал он каждый раз, – можно под ручку пройтись, а можно и ноги вытереть».

С годами Митрофан стал молчалив, зато много разговаривал во сне.

– У власти два лица, – объяснял он невидимому собеседнику, – тирания – когда правит один негодяй, и демократия – когда множество мелких.

– А ты умён, как туз бубён, – ухмылялись ему. – И угрозило тебя родиться не в своё время! Остаётся затаиться и ждать, когда мир поумнеет.

Митрофан вздыхал, думая, что для таких, как он, праздник всегда на чужой улице – их время никогда не придёт, заблудившись за семью морями.

– У порядочного человека день всегда не его, – вяло огрызнулся он. – Однако не забывай, что на счастье, как на червяка, ловит дьявол...

– Кому ты нужен! – расхохотались в ответ. – Чихать я на тебя хотел!

В глубине Митрофан был согласен, однако горячился всё сильнее, размахивал руками, готовый вцепиться в горло, отстаивая свою правду, единственную на свете.

Но ему больше не возражали. И он опять просыпался в кричащей, опостылевшей тишине.

Тогда как другие плыли по течению, Митрофан, словно камень в реке, покрывался мхом. Ему казалось, что, когда родился, он обладал полнотой знания и мог без запинки ответить на все вопросы, но, чем дольше жил, тем больше сбивался. Он всё чаще смеялся посторонним смехом, а плакал чужими слезами. Кончилось тем, что стал сомневаться, жив он или мёртв, потому что так не живут и так не умирают.

Человек набит прошлым, как чучело соломой. «Горы моё луковое! – приговаривала на даче нянька, утирая Митрофану лицо. – И где только тебя угораздило?» Он отвечал чумазой улыбкой, скалил зубы, и его беды оставались вместе с сажей на полотенце. Бились о лампу ночные мотыльки, в углу дымился чайник, и на душе было покойно и тепло.

А теперь Митрофаново счастье катило за горизонт, обманчивое и смехотворное, как Федорино горе.

Прошлое живёт в родителях, будущее – в детях, но у Митрофана не было ни тех, ни других. Его окружали мужчины с подбородком, раздвоенным, как копыто, и женщины с языками, как у змеи. Порой ему чудилось, что его не существует, а мир находится за стеклянной дверью, до которой рукой подать, но за которую его не пускают. И потому в этом удивительном и прекрасном мире его дни скучны и однообразны, а ночи пресны, как вода. А порой мир распадался на сумму фрагментов, и Митрофан, обхватив голову руками, представлял себя на его картине – крохотным пятном в углу.

Каждый заражается близким, подхватывая, как на-сморг, его привычки и перенимая жесты. Митрофан заимствовал имя. Перед его взором проходила длинная вереница: Фома Криворуль, дворник, тащивший его

в детстве к отцу, выдохнувшая в лицо вместе с дымом упрёк Саша Звенигрош, его любовь Капитолина Перехлёт...

Имена кружились, как осенние листья, слетевшие с деревьев и покорные случайному ветру.

Это были имена его ошибок.

Некоторые носят жизнь в кармане. Митрофан носил свою наизнанку, его планы рушились, не успевая созреть. И всё выходило задом наперёд: хотел свернуть направо – шёл налево, мечтал перешагнуть через себя – перешагивал через ближнего. Он стал задумываться, почему ему приходят те, а не другие слова, и стал замечать, что они натирают мозоль на мыслях, как надетый не на ту ногу сапог. Иногда ему чудилось, что он умнее своих мыслей, выше самого себя, иногда – что слова, которые он произносит, не его.

«Это не мир перевернут, – слышал он как-то, – а глаза перепутаны: вместо правого – левый!»

Митрофан высморкался, переставив от напряжения глаза, и на секунду увидел мир в истинном свете.

Мысли посторонних парили в нём свободно, а его падали, как вороны со сломанными крыльями. Он вспомнил чулан, пропахший луком, отца, мастеровившего невиданных размеров ботинок, который продать можно только в стране великанов, и его воспоминания показались ему подложными, точно это происходило не с ним, точно воспоминания были о том, чего не было. Его прошлое казалось мифом, настоящее – сценарием, а будущее – легендой. У него всё валялось из рук, но виноват в этом был кто-то другой, неумелый и близорукий. И он понял, что его жизнь, смерть и ошибки были чужими, оттого после каждой из них ему присваивали новое

имя, отводили роль, которую ему суждено было играть, пока не надоест тому, кто его включал и выключал.

Митрофан часто думал о себе в третьем лице, считая себя меньше ручного зверька, комнатной собачки, заведённой для увеселения, но оказался ничтожнее. Он был виртуальным образом, с программой вместо сердца и неподвластными ему мыслями. Из года в год он говорил не своим голосом, из года в год он помнил себя лишь до вечера, потому что жил и умирал на столе – в компьютере, светящийся экран которого составлял его призрачный мир.

Игра с ним называется: МИТРОФАНОВО СЧАСТЬЕ.

МЕЩЕРСКИЕ ХРОНИКИ

Их нашли в медвежьем углу, где ангелы на дорогах встречаются чаще, чем зайцы, но реже, чем черти. Их мочили дожди и слёзы, они пове­ствуют о подгулявших затворниках, немых златоустах и прѳклятых святых.

Их составила Анна Горелич, которая не думала о читателях, как, целиком отдавшись танцу, не думает о будущих кавалерах гимназистка на балу. Она застала ещё царя Гороха, а церковнославянский – разговорным, и, хотя в её рукописи нет «ижиц» и «ятей», она пестрит оборотами, вышедшими из употребления задолго до своего появления.

ЕВСТАФИЙ

Говорили, что он родился на Параскеву Пятницу, седым, как лунь, и был старше своей матери. Многие считали его сатаной, насолившим миру столько, что-бы спокойно созерцать, как он катится под откос. Ходили слухи, что на каждого младенца, появлявшегося окрест, он надевал очки, которые меняли цвета: розо-вый, как заря, – на чёрный, как кофе. Поначалу мир ка-зался в них прекрасным, но постепенно обретал черты безобразного, вероломного старика, который глядел из

зеркала линз. Присмотревшись, в нём с ужасом узнавали себя. Евстафий как-то проговорился, что очки – защитные. Какой-то юноша сорвал их и увидел мир, каким есть. Он тут же ослеп, а к вечеру наложил на себя руки. Говорили, будто перед смертью он поведал, каков истинный цвет мира, спорили, серый ли он, как скука, или зелёный, как тоска, но позже сошлись, что мир меняет окраску, как хамелеон.

«Домыслы слепых!» – шурился Евстафий, чтобы скрыть игравших в глазах чёртиков.

Раз заезжий врач рассказал ему про психоанализ.

– Это тебе не по ручке гадать, – причмокивал он жирными, будто в селёдке, губами. – Наши методы любого на чистую воду выведут.

– Брось, – устало отмахнулся Евстафий, – давай лучше поговорим про чёрное лицо.

– Какое ещё чёрное лицо? – растерялся гость.

– Которое снится тебе каждую ночь со вторника на среду и в котором ты узнаёшь смерть...

Когда его звали отцом Евстафием, он обижался: «Не я сотворил таких уродцев, я только принял».

Однако к нему ходили исповедоваться.

– Надо мной смеются боги, – жаловался школьный учитель, – что ни задумаю, не сбывается!

– Да богам наплевать на тебя, – зевнул Евстафий. – А ты только думаешь, что думаешь...

Если с ним спорили, Евстафий вынимал из-за пазухи философский камень, которым бил, приговаривая: «Вот тебе главный аргумент!»

Раз к нему явился юноша, который жаловался, что его преследует чувство давно виденного. «Ещё бы, – оскалился Евстафий, крутя сальный ус, – ты живёшь уже в пятый раз, и в третий я сообщаю тебе об этом!»

– Время как песок, – учил он, раскуривая длинную, словно труба архангела, трубку, через которую в него входил бес. – Если прошлое дыряво, время просачивается, не прибавляясь.

Евстафий умел кусать локти, чесать пятки, не нагибаясь, и зашивать прошлое так, чтобы в него не проваливалось будущее.

– Дни как вода в сите, – возражал ему Никанор, – латай, не латай – всё равно не удержишь.

НИКАНОР

Молва приписывала ему дружбу с упырями и сватовство к ведьмам, да и самого его принимали за лешего. Выпав из прошлого, как из гнезда, он жил отшельником, но был в курсе всех новостей, читая происходящее, как утреннюю газету. «Наши ночи давят нас неподвижностью пирамид, а дни, как тараканы, разбегаются с восходом солнца», – полемизировал он с Евстафием. Никанор постоянно менялся, так что фотографии не могли схватить его возраста: вчера он выходил стариком, сегодня – младенцем, точно кто-то перепутал очерёдность его дней и теперь вынимал их наугад из колоды. Дни зачастую повторялись, и оттого его не покидало чувство давно виденного. Однако Никанор не мог продеть время в три знаменательных дня, его нить, как верблюд, не пролезала в их угольное ушко.

Это были дни его смерти, рождения и день, когда он встретил Анну Горелич.

В первую грозу Никанор собирал разрыв-траву, из которой варил эликсир молодости и зелье для постарения. И то, и другое находило спрос: мужчины мечтают помолодеть, юноши – возмужать.

Как и все, он справлял нужду, отвернувшись к дереву, но мыл руки прежде, считая это дело святым, как обед. Избегая косых взглядов, Никанор поселился на границе мещерских болот, где рождаются святым, живут нищим, а умирают колдуном. «Какая глушь!» – дивились забредшие на огонёк. Он не спорил, а разливал своё одиночество по бутылкам и распивал с непрошеными гостями – те возвращались одинокими в свои города.

АННА ГОРЕЛИЧ

Сегодня я открыла кормилице, что по утрам нравлюсь себе больше, чем к вечеру.

– Это зеркало устаёт от тебя за день, вот и кривится! – фыркнула она.

Отчего люди так злы? Неужели прав Евстафий, и мы добреем благодаря склерозу, а наши лбы высятся за счёт выпавших волос?

– Я совсем из ума выжила, – расплакалась кормилица, прочитав мои мысли, – только не говорю об этом...

– Зато думаешь, – отрезала я, – да ещё как громко...

ПРОПОВЕДЬ ЕВСТАФИЯ

Если я имею усадьбу с тысячей душ, а воображения не имею – грош цена моему имению. Что толку в резвом скакуне, если всадник не в силах вообразить свист ветра? Какая польза от борзых, если невозможно представить травлю зайца? И если даже я лечу в космос, а фантазия моя спит, то нет мне в том никакого удовольствия.

Фантазия не ропщет, не возноится, не тяготит. Она не скрипит зубами, не выпирает горбом, не виснет

камнем за пазухой. Воображение долготерпит, а если и мудрствует, то лукаво. Без него мир видится как бы сквозь тусклое стекло: вместо света – полсвета, вместо двух сторон – одна. Воображение хлеба не просит, и если предложат тебе: вот всё золото мира, а вот – воображение, – выбирай воображение.

НИКАНОР

Исполняя обязанности лесничего, Никанор часто обходил окрестные болота. Отдыхая на пеньке, снимал сапоги, а когда снова заправлял в них портянки, приговаривал: «Народ как помойка, что ни выброси – проглотит. Но у него два лица – одно рукоплещет, другое освистывает...»

Никанор много читал, не сомневаясь, что стоит ему захотеть – и он напишет шедевр.

– Какой вульгарный язык! – листал он модные журналы. – Подлинный русский сегодня мертвее латыни.

– Современники всегда пищут на жаргоне, – возражал Евстафий. – Это классика мертва.

Долгими зимними вечерами, когда время на мещерский болотах, как в раю, останавливалось, Никанор включал телевизор. Но только затем, чтобы плюнуть в экран. А когда удивлялись, рассказывал

СЛУЧАЙ С ПРАВОЗАЩИТНИКОМ

«Мой предшественник по лесному хозяйству был добрейшей души человек. К тому же скромник – про таких говорят: “Этот будет стесняться даже на собственных похоронах!” К старости он стал буддистом, и ему взбрело в голову выступить в защиту насекомых.

Его матраc стал рассадником клопов, которым он, ворочаясь ночами, исправно служил донором, а за печкой он устроил блошинный питомник, так что в его избе танцевали от неё подальше. Со временем его друзьями стали гусеницы, тля и вши, а сырыми вечерами он подставлял голую шею комарам, предлагая: “Нате, ешьте!” Вскоре по округе поползли слухи, что тараканы из щелей залезли к нему в голову, но у правозащитника появились раздражители, обретшие смысл в спасении наших булавочных собратьев. Они пышно хоронили раздавленных козявок, боролись против привычки щёлкать мух и воротили носы от женщин, визжащих при виде пауков. Движение ширилось, а вместе с ним росла и слава его основателя. Дело дошло до того, что его пригласили на телевидение с речью об энтомологическом геноциде. Он отказался. Понадеявшись на свою известность, он думал обойтись без прессы. “Вы сами, как подкованные блохи, – съязвил он телевизионщикам, – у вас на каждый язык приготовлен ярлык!” В отместку те заявили к нему, принеся на подошвах сотню затоптанных букашек. Старика тут же хватил удар. А когда он пошёл на поправку, его, как муху, прихлопнула услышанная в больнице

ПРИТЧА О ПЕВЦАХ

В лесной глуши жили два певца. Когда они выводили трели, то птицы с позором смолкали, а весенние ручьи переставали журчать. Опережая эхо, их бас поочерёдно оглашал лесные окраины, и боги толкались тогда на галёрке, чтобы их услышать. И вот однажды в лесу заблудился столичный репортёр, ищущий сенсации, точно свинья жёлуди. Тропинка привела к хижине

одного из певцов, и он, недолго думая, толкнул дверь.

Фамилия хозяина оказалась Шалапин.

Имени другого певца так никто и не узнал...»

Никанор трагически кривился.

«... как и фамилию моего предшественника. Однако он остался до конца верным своему делу и перед смертью заставил соорудить себе могилу из муравейника возле пасеки, чтобы над ним кружились мохнатые шмели».

В провинциальном захолустье убивают время до тех пор, пока не уйдёт оно само, а память не отзвенит убегающим колокольчиком.

АННА ГОРЕЛИЧ

Мне порой чудится, будто я живу с прошлым, как с чужим любовником. Оно приходит украдкой и наваливается, как сон. В этом кошмаре меня преследует женщина с фиолетовыми глазами и бровями, как лес, там я овдовела, не выходя замуж, и родила, не зачав. Я ношу это прошлое, как поддельный паспорт. Я не радовалась, удлинив в нём фамилию до Горелич-Розановой. И не печалилась, когда, овдовев, укоротила её обратно.

НИКАНОР

Чудеса он носил в решете: мог заснуть мужчиной, а проснуться женщиной, мог сидеть стоя и говорить молча. Он видел тех, кем бы мог стать, но не стал. Но никогда не видел себя. У него был ученик, которого он учил всему, чем владел: ложиться с мужчиной, а просыпаться с женщиной, и плести слова, как лапти, вставляя лыко в строку. Однако ученик преуспел, и Никанор часами слушал его откровения, надутый ими, как дирижабль,

вита в облаках, а потом стремительно падал, ударяясь о землю. Кончилось тем, что он отправил ученика за разрыв-травой, и того на болоте убила молния. С тех пор Никанор, как волк, скулил от одиночества.

Лечил он и бородавки, и недержание мочи, прописывая желчным лягушачий суп, а веснушчатым – совокупляться на заре. И всем советовал держаться подальше от стариков, считая, что старость заразна, а поздние дети стареют ещё в утробе. «Мужа назад привадить – легче нового завести!» – как суповую накипь, снимал он порчу. Жадный уходил от него щедрым, проглотивший язык – болтливым, он выгонял дурь, как паршивую овцу, заменяя чувства, как колёса авто. Но случалось, вместе с ненавистью пропадала любовь, с гордыней – гордость, со страданьем – состраданье. Тогда его покидали опустошёнными, как желудок после промывания.

Никанор лечил и снами. Однако за ними, как за грибами, повадился ученик. «Не пускай козла в огород!» – ухмылялся он, сгребая за шиворот очередной сон. А бывало и так: Никанор выгуляет сон, как овцу, выпестует, как нянька, а его утащат, как каштаны из огня. «Это моя собственность!» – чертыхался Никанор, у которого с третьими петухами уводили пророческий сон, а вместо него подсовывали дребедень из будущего, которое не сбудется, или прошлого, которого не было. Но ученик был молод и хотел доказать, что не лаптем щи хлебает. Кончилось тем, что Никанора покинули все порядочные сны, а вокруг столпились одни заблудшие. Тогда он и послал ученика за разрыв-травой. Говорили, впрочем, будто ученика утащила болотная кикимора, и Никанор с тех пор стал слышать из-под земли голос: «Все доживают до предательства...»

ЕВСТАФИЙ

«Образование как костёр, – отирал Евстафий пыль мещерских библиотек. – Его необходимо поддерживать». И, как на иголку, наткнулся на

ПРЕДАНИЕ О СЛОВЕ НА ВЕТРУ

«Бог не бросает слов на ветер, – учили страницы, втиснутые в кожаный переплёт. – Чтобы с нами не случилось – наперёд занесено в книгу. У каждого она своя, а встретить её можно раз в жизни. Это большая удача и ещё большее несчастье. Ибо как тянуть годы, прочитав свою летопись? Что лучше – жить или читать – каждый решает сам».

Евстафий заметил сальный след, который тянулся между строк, словно там водили изувеченные ревматизмом пальцы.

«Пока человек не встретил книгу, слово о нём носится по ветру: его судьба что кобыла в поле, а сам он что лист кружащий. Прочтённая же книга приколачивает к судьбе, как распятого к кресту, а её строки торчат наружу гвоздями дней. Время тогда переворачивается, будущее становится прошлым, и человек живёт с тех пор в перевёрнутом времени, в которое его поселила книга. Впрочем, жизнь объездит каждого, как кобылу, и, накинув упряжь, пристегнёт к своей скрипучей телеге. Был, например, такой мещерец Евстафий, которого принимали за сатану, а он этим гордился и примерял сдуру одежды лукавого...»

Евстафий нетерпеливо заёрзал, но дальнейшие страницы были с «мясом» вырваны, будто кто-то жадно засовывал за пазуху его судьбу, лишая искушения

узнать её наперёд. Этот кто-то помимо его воли распорядился его свободой, и это разбойное вмешательство, должно быть, тоже нашло отражение на изъятых страницах. Вместо них лежал исписанный корявым почерком, свёрнутый вчетверо листок, где прописные буквы чередовались с печатными: *«толку нет читать что бумагу переводить и переливать из пуста в порожне не забивай себе голову жалей её маненько а то сума быстро сойдёшь...»*

Когда Евстафий уходил, его тень оставалась до тех пор, пока её не заметал дворник или пока не являлся кто-то другой – тогда тень прилеплялась, как банный лист, и уже не отлипала. Так он и сходил в гроб – с чужой тенью.

«А есть ли у тени тень? – философствовала Анна Горелич. – Или на том свете тени перемешиваются?» Но за философией стояла ревность. Евстафий жил с девушками, матери которых годились ему в дочери. Благодаря умению латать прошлое, он, как растение, рос сразу в двух направлениях – и корнем, и стеблем. Таким образом, на совершеннолетие он повидал и восемнадцать лет, предыдущих рождению. Он был в два раза старше ровесников и окунулся в старость, когда те были в полном расцвете. Сам он считал, что люди на земле, как заключённые, а его жизнь особенно горька, и потому ему вместо года в зачёт идёт два, а вместо века – три.

Замирая в кресле, Евстафий шевелил тенью, как собака хвостом, и рассказывал о старине, которую представлял легко, как и будущее. Видя, как развесили уши, он журчал весенним ручьём, и прошлое поворачивалось к нему, как подсолнух. Он рассказывал, как один мещерский помещик пускал ветры так громко, что было слышно за версту. На соседнем хуторе

ему откликались пасшиеся коровы, так что в округе начиналось светопреставление. Казалось, он был непревзойдённым артистом. И всё же его перещеголял другой мастер, умевший, говорят, выпёрдывать «Боже, царя храни!». «Народ, как помойка...» – соглашался с Никанором Евстафий, видя вокруг разинутые рты. А когда кругом недоверчиво кивали, вспоминал, что рассказывает правду, недавно дожив в прошлом до тех вывернутых наизнанку лет.

Небо полосовали рёбра облаков, и солнце проглядывало сквозь них, как на рентгеновском снимке. Евстафий проходил мимо коляски с грудным младенцем. Улица была пустынной, и, вытряхивая трубку, он взглянул на пухлое личико.

«Чего раззявился, мать твою! – выплюнул соску младенец. – Доставай титьку – кормить пора!» Поняв, что не он один стареет быстрее положенного, Евстафий прибавил шаг.

НАБЛЮДЕНИЯ АННЫ ГОРЕЛИЧ

Одни живут по круговому распорядку, втиснувшись в узкие рамки настоящего, другие, нетерпимые к второренью, – по графику линейному. Круговое и линейное времена различаются, как «ясли» и «если». Один старик, живший по круглому, как циферблат, времени, проспал как-то на час дольше обычного, а на следующий день ещё на час дольше. Наконец, когда он проспал сутки, его время сомкнулось, и он больше не просыпался. «Время – это кукушка в часах», – считают такие и в погоне за стрелкой мечутся, как белки в колесе. Для запертых в круглые времена не существует ни «до», ни «после». Оберегая себя, они живут в своих временах-

кружочках, запертые в их раковины, точно жемчужины. Их жизнь состоит из одного длинного-предлинного дня, а завтра слито со вчера.

Подвластные же линейному времени парят, как чайки, не в состоянии задержаться даже на миг, иначе впадут в отчаяние или умрут от скуки. Они стремятся заглянуть в завтра и увидеть вчера, по их мнению, разительно отличающиеся от сегодня, которое они презирают. Они считают, что линейное время слагают мириады круговых времён, что это общее для всех время, и беда, если оно, как река, распадается на множество водоворотов.

В одном поколении преобладают поклонники линейного времени, в другом – кругового. Первые чувствуют себя в мире, как дома, вторые – как в гостинице, и когда у одних сыплет дождь, у других вёдро.

Жить среди своих противоположностей хуже, чем кошке в собачьем царстве. Ведь охота на белых ворон длится круглый год.

НИКАНОР

«Русские долго запрягают, да быстро распрягают», – обронил Никанор в цирюльне, где его брили так медленно, что он заново оброс. С Евстафием они различались, как домовая и водяной, исповедуя разное время. Евстафий принадлежал к «линейщикам», Никанор – к «круговикам». Евстафий рос в двух стрелах времени, стремясь охватить его, как крылья птицы – небо. Опровергая бег времени, Никанор жил на топи, прекращающей всякое движение, которое мешало бы созерцать себя, вершину, разрезающую облака. Евстафий обобщал – Никанор вглядывался в детали, Евстафий открывал – Никанор

творил, Евстафий пытался возвыситься над эпохой, Никанор – встать над собой.

Когда Анна Горелич изложила Никанору свою версию времени, назвав их руками одного тела, он вскинул брови:

– Это напоминает мне историю человека-зеркала.

– Кто это? – спросила Анна Горелич.

И он привёл

РАССКАЗ О ЧЕЛОВЕКЕ-ЗЕРКАЛЕ

Жил некогда в Мещере человек, отражавший собеседника, как зеркало. С бойкими был боек, с заиками заикался, с косноязычными и двух слов не мог связать. Самого его не существовало, он рождался лишь в разговоре, как тень рождается от вещи. И, как солнце, уничтожающее в зените тень, его убивало молчание. Возраст невероятно развил его талант: имитируя слова и жесты, он научился схватывать внутренний образ человека, как фотография ловит внешний. С глухими он был глух, с немymi – нем, с торговцем побрякушками становился торговцем побрякушками. «Каждому в удовольствие послушать себя», – оправдывался он, впитывая собеседника, как губка. Он мгновенно переваривал и выдавал портрет, в котором штрихами учитывались все присказки, паузы, междометья, интонации, его метаморфозы были столь же поразительны, сколь и чудовищны. Его дар перевоплощаться открылся рано, когда у отличавшихся занудством учителей он делался тугодумом, а у быстро мыслящих схватывал на лету. Как-то раз учитель заболел, и он с успехом заменил его, а вскоре и весь школьный коллектив. Он переходил из класса в класс и становился то

Петром Ивановичем, географом, то Иваном Петровичем, историком, он был гением лицедейства, и все актёры казались перед ним ряжеными. Когда он заболел, то привычно стал своим лечащим врачом, когда умирал – причащавшим его священником, так что со стороны казалось, будто он исповедовал себя сам. И все мучительно гадали, кем он станет на Страшном Суде. Ведь если он попадёт в ад, будет второй сатана, а если в рай, опровергнет единобожие. Этот вопрос наделал много шума, и церковники, в конце концов, решили, что он избежит судилища: прожив никем, разменяв свою жизнь на десятки чужих, он растворился в них водой в воде. А значит судить его, что бумагу, терпеливо несущую каракули. «Его грехи – это пятна от солевых пальцев, – говорили священники, – его раскаянье – это молитва о прощении чужих пороков».

Но Синод ошибся. Этот человек всё же предстал перед Судом. Чтобы не сделаться участниками комедии, его судили заочно, и в наказание за пренебрежение свободой воли он получил место младшего писаря небесной канцелярии, где исполняет всю черновую работу: ведёт протоколы, подчищает кляксы и повторяет за архангелом приговор.

В подражание небесной братии у него выросли крылья.

АННА ГОРЕЛИЧ

У реальности концы с концами не сходятся, а из-за спины торчат уши. Оседлав гиперболу, она пользуется её и в хвост, и в гриву. Почему же мы решили, будто мир устроен так, чтобы спать спокойно?

– Ты боишься привидений? – спросила меня кормилица.

– Страшат не призраки, – ответила я, – а их отсутствие.

И тут увидела в зеркале женщину с фиолетовыми глазами и бровями, как лес.

Когда я впервые пришла к Никанору, ему выпало три дня быть младенцем, и я пронянчилась с ним, стирая мокрые пелёнки. Но нет худа без добра, как петли без повешенного. Возясь с Никанором, я соединила материнскую любовь со страстью супруги, испытал эти чувства одновременно, точно лесные ароматы в одном флаконе. На четвёртый день я догадалась вместо молока напоить Никанора зельем для постарения.

Никанор жил в тюрьме своего кружочка-времени, и я от него заразилась – теперь в моём дне, как в капле, отражалась вся жизнь, которую я успевала проживать, как мотылёк, от рассвета до заката. Я ложилась уставшей, а вставала свежей, как роза, вертелась перед зеркалом, до тех пор, пока оно не трескалось, и в утренней молодости нравилась себе больше, чем в вечерней старости.

ЕВСТАФИЙ

В ту зиму кривые улочки Мещеры завалил снег, который падал и падал, неотвратимо, как топор. Мещерцы не казали носы из дома, пристыв к оконному стеклу, пилились на гулявшую в подворотнях метель. Евстафий пережидал непогоду у Платона Аристова, звездочёта, гордившегося, что ни разу не взглянул себе под ноги, и летавшего со ступенек всех мещерских лестниц. Евстафий сидел за пасьянсом, который сходился у него раз за разом.

– Когда же, наконец, восторжествует любовь? –

меланхолично пробормотал он, выкладывая на стол пиковую даму.

– Ну, этого придётся ждать до второго пришествия!
– рассмеялся Платон, ощупывая шишку, полученную при очередном падении.

– Второе пришествие – явление частое, – серьёзно ответил Евстафий, смешивая карты и откидываясь на стуле. – В последний раз оно состоялось век назад.

И расширив зрачки, поведал

ЛЕГЕНДУ ОБ ОТВЕРЖЕННОМ АПОСТОЛЕ

Раз заявился в Мещеру проповедник. Он был сыном деревенского башмачника, и многие помнили его ребёнком. В церковно-приходской школе он слыл смышлёмным. «Цитировать – значит корчевать пни, не рубя леса», – как-то заметил он. А после исчез. «Проматывать деньги покойного батюшки», – судачили злые языки. И вот он вновь объявился, помыкавшись по свету, нахватавшись потасканных истин. С воспалёнными от бессонницы глазницами он бродил по городу, стучал посохом в дома, уверяя, что проникает в души их владельцев всевидящим оком. «Спасителя распяли на кресте времени, – озадачивал он обывателей. – И Он попрад его!» «Да-да, – учил он, – символ креста – это перекладина, перечёркивающая столб времени». Но мещерцы не опускались до полемики, крутя ему пальцем у виска. «Мир висит на нитке, а думает о прибытке!» – опрокидывая мясные лавки и расталкивая покупателей, пугал он баб на базаре. Но те лишь широко зевали, едва не сворачивая скулы, да крестили перекошенные рты. Власти терпели безобразные выходы, не желая связываться. «Едва от одного избавились, а

тут...» – шептались по углам, вспоминая пророка из скита. Тот сидел в яме и каркал на весь свет, что не выходит наружу из страха ослепить мещерцев своим божественным ликом. «Вы увидите в нём, как в зеркале, свои грехи, которые застыт вам глаза!» – грозил он, требуя женщин и вина. Его слушали, как раскаты грома, которые грохочут вдалеке. «Ваши мерзкие глаза не в силах увидеть моего дивного сияния!» – истошно вопил старец, когда его за уши вытаскивали из ямы. В разоблачённом мошеннике все узнали скотника с конюшен местного помещика. Тот по жалости заступился за старика, сунул кому надо, и дело замяли. И вот теперь ни полицмейстер, ни городской голова не хотели опять сесть в лужу.

А в это же самое время в Мещере объявился и антихрист.

– Людвиг Циммерманович Фер, – представился он хозяину гостиницы, заняв скромные апартаменты купцов средней руки.

– Вы, что же, из немцев? – спросил его тот, недоверчиво косясь на раздвоенный, как копыто, подбородок.

– Из немцев, из немцев, – рассеянно кивнул падший ангел, доставая из нагрудного кармана визитку. – Из поволжских...

На клочке бумаге чёрным по белому значилось: «Лю. Ци. Фер». Сатана, надув щёки, ходил по городу, как по музею, ко всему присматривался, но ничего не трогал. «Будущее зыбко, прошлое размыто, – бормотал он, подавая на паперти пустой кошелёк, в котором вдруг оказывалось куриное яйцо. – Один затевает игру, где оказывается пешкой, другой ставит спектакль в театре теней». Когда один нищий, безногий и горбатый, попытался разбить яйцо, оттуда

внезапно вылупилась карлица с огромным, перевешивающим тело, бюстом и стала похотливо тарачиться. «Встань и иди!» – проворковала она, маня калеку ручкой, но тот лишь пялился на неё, как баран на новые ворота. «Рабы привычек, – сокрушённо вздохнула карлица, и улыбка её сделалась пресной, как маца, – привык глазами совокupляться». Увечный застыл, как пришибленный. Карлица приблизилась на локоть и заорала, как иерихонская труба: «Хватит дармоедничать, работать пора!» Ног у нищего так и не выросло, зато, когда его от испугахватила кондрашка, у души выросли крылья.

«Человек рождён для счастья, как птица для полёта», – услышал раз Людвиг Циммерманович в окне меццерской школы. И, не удержавшись, вошёл. «Сравнение пришито к языку, как пуговица к штанам, – глупокомысленно изрёк он. – Что звучит на одном языке – нелепо в другом. “Птица рождена для счастья, как человек для ходьбы”, – переводит ваши слова чайка, надрываясь в вышине от хохота. – Сатана сделался печальным. – Поэтому диалог между небом и землёй – как разговор женщин: предписанное сверху опускается невнятицей, а молвленное внизу поднимается болтовнёй...»

Между тем апостол продолжал смущать умы.

– Смерть связывает концы с концами, – разглагольствовал он, готовый лопнуть от переполнявшей его правды. – Она связывает всё со всем...

– И панихиду со свадьбой? – выкрикнули из толпы.

Апостол воткнул в небо указательный палец.

– Свадьба – это панихида смерти, – было видно, что его не раз ловили в сеть слов, – а панихида – свадьба смерти.

Кончилось тем, что апостола отвели в участок.

– Какая на нём вина? – спросил околоточный. – Я не вижу...

Но земские, которых апостол уже замучил своими откровениями, кричали:

– Упеки его, упеки!

И апостола, смиренно сидевшего в каталажке, говорили к гражданской казни: раздели донага и, привязав на площади к столбу, били плетьюми.

– Ну что, чувствуешь на спине занозы? – мстительно скалились мясники на кровавые рубцы. – Это и есть столб времени, как ты учил!

А портные уже перебирали на свет его одежды, в которых дыр было больше, чем материи.

– Все доживают до предательства, – беззвучно шевелил апостол растрескавшимися губами.

А между тем с краю толпы незаметно пристроился Людвиг Циммерманович. Он сморкался в цветастый платок и безразлично смотрел на происходящее. Ливня ливший дождь умывал ему руки, он брезгливо морщился и шептал, сворачивая трубочкой губы, будто пил из чайника: «Опять без меня управились». И его прошиб пот такой крепкий, что вокруг все расступились, а стоявшая рядом лошадь понесла с места, закусив удила.

А апостола сослали в Сибирь и сразу забыли. Только пучеглазый мальчишка провожал его из казённого дома по этапу.

– А откуда ты знаешь? – грызя заусенцы, пытал он, забегая вперёд арестантской колонны. – Про время и крест...

– Я был там, – стряхнув капли с ресниц, солгал апостол, потому что мальчишек нельзя обманывать.

Евстафий глядел в окно, где ему мерещилась увязшая в сугробе лошадь, и думал, что история разворачивается метафорой, которая пришита ко времени, как пуговица к штанам.

Он прожигал время – добивался своего, пугая женщин рассказами о старине, сверля колоду рыбьими глазами, раздевал в карты заезжих шулеров и подтрунивал над Никанором. Шатаясь по городу, Евстафий бросал свою тень где попало. «Человек в толпе, что селёдка в косяке!» – издевался над ним Никанор. Они заворачивали колкости, как ежа в одеяло, и передавали через Анну Горелич. Как-то, находясь в подпитии, Евстафий предсказал ей, что она станет мачехой своему ребёнку.

Мелькал календарь, не пробуждавший Мещеру ото сна. Евстафий погрузнел и уже без прежнего рвения приударял за молодницами. А однажды в своём прошлом наткнулся на день смерти, который предшествовал там дню рождения. Он умер на Пасху, когда в деревне красили яйца и святили кулички. Но в будущем, нарушая симметрию, ещё продолжал жить. С его высоты он видел козлобородого дьячка, отпевавшего его в сельской часовенке, слышал притворные вздохи родни, шёпот дворни и грызню наследников, видел стоящую в стороне, мелко крестящуюся вдову, похороны на убогом погосте в дождливый, слякотный день, видел сырые комья, летевшие с лопаты могильщика. И он прочитал надпись на гробовой плите: «Отставной поручик Евстафий Розанов».

Под этим именем он жил в прошлом, когда был мужем Анны Горелич.

НИКАНОР

Никанор ревниво относился к снам, потому что в них пряталось непрожитое прошлое, то, которое могло бы реализоваться, но умерло не востребованным. Просматривая его кадр за кадром, он надеялся увидеть в одной из боковых штолен своё истинное предназначение, судьбу, затёртую, как монета, действительностью. Он мечтал встретить того иного, кем он должен был стать, но не стал, того, кем его хотел видеть Бог.

Но прошлое, мелькавшее в снах, было таким же убогим, как и мещерские будни.

Искал Никанор себя и в искусстве.

«Творчество нельзя отнять», – вздыхал он, рассказывая

ИСТОРИЮ О ВЕЛИКОЙ ТЯГЕ К ИСКУССТВУ

В незапамятные времена жил придворный художник. У его правителя были глаза-бусинки и нос, как спелая слива. И, как большинство земных владык, он был тщеславен. Как-то раз он заказал художнику портрет, попросив не приукрашивать. И тот изобразил царя как есть, уродцем – и с его бусинками, и со сливой. За это его навсегда отлучили от кисти, заточив в башню с семью замками, к которым подходил ключ, хранящийся в бороде правителя, и с семью сторожами, к сердцу которых ключа не было. «Лишать художника красок, что коту – случки», – жалобил их заключенный. Только напрасно.

Шли годы, и художник стал требовать себе то постную пищу, то скоромную. Его начали мучить запоры, он страдал кровавым поносом, и, казалось, не

слезал со стульчака, так что дрогнули даже каменные сердца тюремщиков. Он стойко переносил страшную, удушливую вонь, стоявшую в камере. Подумали, что он искупает вину добровольным мученичеством. Предполагали также, что, дав обет, он готовится стать великим молитвенником. «Как трудно спастись!» – шептались тогда по углам и, мелко крестясь, шли за его здоровье.

Брадобрей, скобливший лицо мёртвому царю, наткнулся на ключ, и сразу вспомнил про художника. Бросились его освободить, чтобы в отместку он запечатлел своего обидчика в гробу. Когда дверь отворили, увидели посреди камеры бездыханное тело – художник задохнулся в спёртом воздухе, как ложка в сметане, – а стены и потолок были расписаны испражнениями. И тут, наконец, поняли его чудовищный замысел: жертвуя испорченным желудком, преодолевая стыд и снося насмешки, он получил замену краскам.

Его последнюю мастерскую, где его посетило вдохновение, и откуда муза увела его в запретную для правителей зону, тщательно проветрив, превратили в музей несломленного духа, а его картины баснословно подскочили в цене.

ПЛАТОН АРИСТОВ

В университете Платона отличало рвение. Он готов был приделать хвост ветру и ноги луне, пока не понял, что мир принадлежит «троечникам». Платон был золотушным – с прозрачными ресницами, под которыми весной слезились красные, опухшие глаза. Болезнь сделала его философом. Когда в голову забредала мысль, она умирала от одиночества, зато он мог часами толочь

воду в ступе. «В раю не было смерти, а значит, и любви, – учил он. – Любовь – это одежда, которую Адам и Ева надели после изгнания, увидев себя нагими под равнодушным взглядом смерти. – Промокнув лоб, Платон смотрел на стену, будто видел там библейские события. – Изгнание предшествовало грехопадению, змей торговал яблоками за райскими воротами...»

В ответ на «Легенду об отверженном апостоле» он рассказал Евстафию

БАЛЛАДУ О ВЕЛИКОЙ ЛЮБВИ

В тесной квартирке жили старик со старухой. Детей у них не было, и решили они завести кошек. Набрали во дворе серых беспризорников, сводивших с ума мартовским мявом, и стали кормить их так, что из тощих и проворных они превратились в жирных и ленивых. А старики души в них не чаяли. «Случись катастрофа, кошечки-то станут круглыми сиротами, – говорила старуха в аэропорту, – кто тогда о них позаботится?» Старик соглашался и брал билет на другой рейс. Денег у стариков было кот наплакал, но их преданность была беспредельна. Пенсия уходила на питомцев, которые плодились, гадили и хищно урчали. А старики таяли от голода, как льдинки на солнце. И в один час благополучно преставились. «Поди, налей молока в миску», – умирая, прошептала старуха. Старик пошёл к холодильнику, а самого уже ветром качало.

Жили старики замкнуто, и прошло время, прежде чем выломали дверь. А по беспорядочно разбросанным костям догадались, что мертвецов сожрали голодные твари.

Так смерть превратилась в акт жертвенной любви.

Евстафий хотел было возразить, но вовремя спохватился: Платон ненавидел, когда его перебивали.

«Какая ещё логика? – беленился он, вспоминая университетские мучения. – Истории, как бусы, – их связывает рассказчик, а носит слушатель!» И загадывал

ЗАГАДКУ №1

*Купила раз баба на базаре верёвку сушёных грибов.
Вдруг один гриб сорвался со своей виселицы и убежал.
Куда?*

Не услышав ответа, Платон предлагал

ЗАГАДКУ №2

Купе в поезде. Дама с собачкой сидела напротив мужчины с тростью. Вагон резко тормозил, и трость мужчины перелетала на колени женщине. Та выбросила её в окно. А мужчина отправил туда же собачку. Каково же было их удивление, когда на станции их встретила выброшенная с поезда собачка, а в зубах она держала... Трость? А вот и нет, – гриб из первой загадки!

«Быть свободным, – подводил черту Платон, – значит освободиться от логики».

Среди мещерцев он слыл балаболом.

– Поднялась квашня – поехала башня! – кричали ему вслед мальчишки.

– У семилетнего и семидесятилетнего ничего общего, – ворчал он. – Старики и дети – разные виды гомо сапиенс.

– Гомо шляпиенс, – ехидничал Евстафий.

У Платона елозил кадык, и со слюной он глотал обиду.

Аристов стал также известен изречением: «В прошлом нас ждут превращения не менее удивительные, чем в будущем». Он даже открыл в Мещере школу, двери которой встречали запальчивым «Вперёд, в прошлое!». Но однажды услышал, как за спиной перешёптывались.

– Из прошлого шубу не сошьёшь, – мямлил один.

– Мы варим щи, которые едят другие, – вздыхал другой.

И Платон навесил на рот замок.

Однако с Евстафием его снимал, часами бубня, как пономарь. Его трепотня называлась

ЛЕКЦИЯ

Яркий свет ослепляет так же, как и тьма, пролить свет – всё равно что подпустить тумана. Наши глаза привыкли к тусклой полуправде и серой, невыразительной лжи. Слова обволакивают, как клей, и человек плавает в них, как яйцо в бульоне. Взять мифы, в них оживает прошлое, однако в них же рождается и прошлое, которого не было. Мифы превращают в персонажей, запечатлевают героев, прилепляют чужое прошлое, которое волочится за ними тенью, пока миф бродит по земле. Плоть в них становится словом, чтобы снова обрести плотью.

Платон был склонен и к пророчествам.

– Человек, – спросит Бог, – где твоё прошлое?

– Не сторож я прошлому своему, – ответит человек.

И это будет ложь. Ибо прошлое следует за нами, как нитка за иголкой. На протяжении жизни его

тянут, как шлейф, при этом капля из одного прошлого отличается от капли из другого.

РОЗАНОВ

В том времени, когда Евстафий был Розановым, мастером извлекать музыку из зада, заменявшим в походе полковой оркестр, царили нравы куда более грубые. Мужчины были вояками и пахарями, полжизни взиравшими под хвост лошадям, а женщины – роженицами. Умение на скаку снести саблей голову не располагает к размышлению, общение с повитухами – к утонченности. Мочились тогда в огородах, а по большой нужде, обнимаясь с ветром, шли в поле. Биваки и вши были привычнее бань, а сквозняки косили, как пулемёт. Но, будучи рубакой Розановым, ходившим в Маньчжурские степи, Евстафий понимал, что человек соткан из предков, как жизнь из дней, и презирать минувшее – значит отрицать себя. И всё же сын отрицает отца, чтобы повторить его путь, чтобы, вобрав его ошибки, набить своих шишек. А ещё Евстафий понял, что две половинки – его и Розанова – связывала любовь к Анне Горелич. «Любовь, как верёвка, связывает человеческий род, – рассуждал Евстафий. – Стало быть, можно перешагнуть смерть Розанова, глубже вращая корнями».

Розанов возвращался из японского плена, где, сразив победителей своим искусством, получил свободу из рук самого микадо. Он ехал поездом до Москвы, а оттуда добирался на перекладных в Мещеру по разбитым, ухабистым дорогам, напомнившим ему степное бездорожье. Он осунулся, на щеках клочьями болталась щетина, от недостатка соков не желавшая превращаться

в бороду. В небе торчал занозой молодой месяц, лошади тащили Розанова к Анне Горелич, а его страсть рисовала ему железных птиц, на которых он смог бы к ней прилететь. Ибо Розанов был наделён воображением и представлял будущее так же легко, как Евстафий – прошлое. В этом нет ничего удивительного, вчера отстоит от нас не дальше завтра. Так на пути в Мещеру родился Евстафий Розанов, который стоял одной ногой в прошлом, а другой – в будущем.

А ещё Розанов подумал о наследнике и, расстегнув штаны, как ушат воды, выплеснул семя в канаву.

На каждой версте он пил за здоровье государя, подкрепляя слова оригинально исполненным гимном, так что изумлённые кабатчики следующую чарку наливали за счёт заведения. Спьяну он хвастал, что перевищет соловья-разбойника, и опоздал домой на три месяца. На пороге его встречала располневшая жена, выделявшаяся среди женщин, как воскресенье среди будней. Анна Горелич божилась, что понесла от радости, будто бы увидев Розанова во сне, целого и невредимого, спускавшего семя в канаву. Позор – мастер на выдумки, но в непорочное зачатие никто не поверил. Измена жены быстро свела Розанова в могилу, он так и не смог примириться с рогами, которые, как ни пилят, уносят в гроб. В доме покойника завесили зеркала и остановили часы. Вместе с ними остановилось время Анны Горелич. С тех пор она жила вне времени, скрывая его отсутствие под чёрной вуалью.

ЕВСТАФИЙ

Возвращаясь от Платона, Евстафий опять наткнулся на детскую коляску. Вперемешку с окурками оттуда

летели чёрствые крошки в сновавших под колёсами голубей. Увидев Евстафия, младенец расплакался:

– Подай кусочек своего прошлого, тебе оно уже не понадобится, а мне ещё жить да жить...

Евстафий прибавил шагу.

– Куда же ты, дядя, – раздалось вслед, – поделись прошлым. Или жаба душит?

Евстафий обомлел.

– Счастье всего человечества не стоит моей слезинки, – скорчил рожу младенец, повышая голос. – И не спорь – моими устами глаголет истина!

Евстафий почувствовал, что его приварили к асфальту.

– А не сделать ли тебе «козу»? – погрозил он пальцем, доставая кистет. – Со мной «горло» не пройдёт!

Из коляски раздался кашель.

– С тобой точно не выздоровеешь, – засипел младенец, – как сквозняк, дуешь и дуешь...

Голуби испуганно вспорхнули, едва не задев Евстафия крыльями.

– Ну, ладно, – пошла на попятную коляска, – кинь махры, и услышишь

СКАЗАНИЕ О ЦЫГАНСКОМ БАРОНЕ

Давным-давно, когда меня ещё и на свете не было (это, правда, трудно представить), жил в окрестностях Мещеры цыганский барон. Цыган, как цыган: черняв, кучеряв и горбонос. Он играл на гитаре, промышлял лошадьми, которых прежде чем продать надувал через камыш, за пятиалтынный предсказывал недород, а за рубль – урожай. Возраста он был неопределённого. «Мужчина исчисляет годы

женщинами», – говорил он, густо намазывая на уши свои любовные подвиги, так что слушавшим потом казалось, будто они и близко не подходили к женщинам. А бывало, что после удачной кражи он умасливал обворованных рассказами из прошлого. Там он был то графом, то князем, то первой красавицей. «У кого богаче воображение, – хвастал он, теребя серьгу в ухе, – у того и прошлое богаче». Время – река с двумя берегами, и прошлое равноправно будущему. Оно живёт в памяти, как ребёнок во чреве, от него иногда пахнет розами, а иногда – как от трупа. Если будущее можно выбирать, как тропинку в лесу, то и прошлое можно заказывать. Поэтому цыган не врал, каждый раз предлагая новый цветок из его букета. И так наострился, что однажды открыл лавку по обмену прошлого на будущее. Тем, кому до зарезу нужно было будущее, он давал в рост, вычитая проценты из их прошлого, а кому требовалось прошлое, отвешивал за счёт их будущего. А бывало, путал, возвращая чужое будущее, или, как собаке узду, прилеплял прошлое, оставленное в залог другим. В его прихожей постоянно спорили, кто примерил чьё прошлое, выясняя, в каком из них женился, а в каком развёлся. Прошлое, что кукушкино гнездо, но может и аукнуться.

Барон работал и как сводня: его обычными клиентами были богатые на воспоминания старухи и дрожащие от грёз юнцы. Первые уходили от него окрылёнными, глядя вперёд, вторые мужали, взвалив груз чужого опыта. Цыган себя не обижал, хитрил, как мог, а векселем ему служила душа, которую ставили на кон, продымив прежде в тусклой коптилке дней. Торговля шла бойко, и цыган процветал. В будущем, по крохам выкроенном для себя, он купил дом, обзавёлся

прислугой и уже не был цыганом, открестившись от своего прошлого.

Так бы всё и продолжалось, если бы сатана не усмотрел в этом покушение на свой хлеб. И он устранил конкурента, заперев его в клетку цыганского прошлого, запретив скакать воробьём по лестнице времени. Сатана явился завёрнутым в чёрный плащ и, пользуясь безграничным кредитом своего прошлого и будущего, скупил все имеющиеся векселя, расовав их обратно по ящикам судеб. Не успел барон и трижды прочитать «Отче наш», как оказался снова в таборе среди разинувших рты цыганят.

Глядя на небо, откуда цыганом подмигивала луна, Евстафий думал, что будущее заносится в книгу, а прошлое, как кошка, гуляет само по себе, и одному богу известно, кем можно оказаться в настоящем, когда оно станет далёким прошлым.

– Ну, давай меняться, – вернул его на землю младенец, – у тебя прошлого в избытке, а у меня – будущего. Пойми, человек без прошлого – пол человека!

Евстафий показал кукиш и повернулся спиной.

– Ну и чёрт с тобою! – захлебнулась коляска. – У настоящего всегда слюни текут, а будущее приносит фигу с маслом.

ПЛАЧ АННЫ ГОРЕЛИЧ

Во временах можно заблудиться, как в английском парке. В каждом из них поджидает ловушка, от которой откупаются потерей, оставляя частицу своего «я», так что к смерти приходят худыми, как обмылок.

Мне ли, утратившей сына, не знать об этом?

– Все теряют детей, – успокаивала меня кормилица, – рано или поздно дочь становится падчерицей, а сын – пасынком.

– Все теряют родителей, – эхом откликнулась я, – рано или поздно мать становится мачехой, а отец – отчимом.

РОЗАНОВ

– Смолоду как думаешь, – разглагольствовал Розанов в дорожном трактире, – затащил женщину в постель – и она твоя. А потом понимаешь, это она тобой овладела!

Расплачиваясь с кабатчиком, он провёл прежде монетой по усам – чтобы денежки не переводились.

– Вы у графа Толстого «Крейцерову сонату» читали? – обратился он к обедавшему телятиной гусару.

Тот спешил в Петербург и потому поглощал еду быстрее, чем мысли собеседника.

– Занимательная вещь, разорви меня граната, – зашептал Розанов, перегнувшись через стол, – мужчинам перед венцом рекомендуется...

Ему подали полотенце, но рюмку не убрали, ожидая продолжения. Розанов ковырял зубочисткой, перескакивая с зуба на зуб, и молол языком, перепрыгивая с темы на тему.

– Расея-матушка, ничего страна, жить можно. Нам бы только любить друг друга, да поменьше шапки перед чужаками ломать. И то правда, чему завидовать, я во многих землях побывал, довелось с ихней мелюзгой драться...

– То-то вам мелюзга и всыпала по первое число! – не выдержал гусар. – В штаны-то, небось, наложили...

– Да, признаться, слабы оказались в коленках, – сразу согласился Розанов. – А вам, простите, смерть приходилось за усы дёргать?

Гусар не ответил, налегая на отбивную. Над тарелкой жужжала муха. Розанов горстью схватил её.

– Вот так и человек всю жизнь мается! – развернул он ладонь с мятым насекомым. И тут же опять перескочил, как сойка на другую ветку. – Блуд, я вам доложу, изобретён для нищих, знай себе, кувыркайся, как воробей, – дёшево и сердито...

– Ну, не скажите, – охотно поддержал гусар. Он уже расправился с котлетой и теперь, блаженно откинувшись, крутил ус. – Встречаются иногда экземпляры. Вот здешняя помещица Анна Горелич, слышал, экстравагантна...

Кровь бросилась Розанову в лицо, ему хотелось вызвать на дуэль весь свет, но вместо этого он надрался в тот день больше обычного. Наутро он не стал опохмеляться и начал чахнуть, как оплывающая лучина.

Таким видел Розанова Евстафий. Но Розанов глазами Евстафия отличался от Розанова в представлении Никанора, внуки смотрят на дедов совсем не как отцы. Те и другие рисуют по глазу, уху и брови, которые слагают лицо. Никанор не мог припомнить себя Розановым, а потому смотрел на него издалека, спрессовывая события, отстоящие во времени, точно дворник, сметающий мусор в кучу. Дни Розанова он дёргал произвольно, как собственные, отождествляя их со своим неразборчивым временем, ставил на полку так, чтобы удобнее взять. Он не удержался от искушения лепить из них памятник, бесцеремонно перемешивая их глину. Вот бравый солдат, разгромивший японцев, шагает под звуки оркестра – на штыках блестит солнце, а

трубач выдувает медь, вот танцует кадрили с верной невестой, вот жертвует деньги, выкупая томящегося в скиту ослепшего старика, вот поднимает хозяйство после военной разрухи и, наконец, героически погибает от клинка вражеского гусара.

Настоящий Розанов был скучнее и нуднее, он му-солил в кармане медяк до тех пор, пока орёл на гербе не выпускал скипетра, и жевал мысли, как гурьевскую кашу. Он был угреват и страдал метеоризмом.

Но прошлое без пафоса – что пирог без яблок.

ПЛАТОН АРИСТОВ

Проводив Евстафия, Платон тщательно замёл его тень. Нелегко избавиться от прошлого, думал он, у него, как у ящерицы, вместо оторванного хвоста вырастет другой. Аристов потёр седеющие виски и вспомнил случай, описанный в одной из кавказских саг:

УЛЫБКИ РЕЗАК-БЕЯ

Ночами в горах шёл дождь, и аул окутывал сизый туман. В саклю хмуρο плыл рассвет, и маленький Резак просыпался угрюмым, уткнувшись в колыбель. Его губы были плотно сомкнуты, как ворота во дворе, когда по улице скакали чужие всадники, а вокруг свистели пули. Он сосредоточенно смотрел, как мать взбивает тесто, скатывая хлеб в пахучий мякши, смотрел так пристально, что увидел себя его частью, а потом отвернулся в угол, где было слюдяное окно. Но постепенно тусклый свет делался ярче, тучи расходились, поползло солнце, и вместе с ним на лице Резака заиграла утренняя улыбка.

Как и все горцы, Резак вырос пастухом, став попутно конокрадом и разбойником. Его бурку узнавали издали, его ружьё не ведало промаха. Он грабил караваны, совершал набеги и от таких же, собравшихся в узком ущелье сорвиголов, получил титул бея. Но путь отчаянных короток, и однажды Резак-бей попал к врагу. Пленные ютились на клочке ненавистной равнины, отгороженные частоколом с торчащими головами товарищей, а крышей им служили звёзды. Раз пьяный охранник вошёл с перекошенным лицом к пленным и стал резать их, как баранов, огромным кухонным ножом. «Как верёвочка не вейся, а кончик будет!» – приговаривал он сквозь стиснутые зубы, разрезая горла от уха до уха. Пленные лежали вповалку и, забыв былую дерзость, скулили, пока не замолкали. Когда подошла очередь Резак-бея, он встал в полный рост, встречая смерть улыбкой, которая повисла в уголках губ, точно платье на вешалке.

И смерть не посмела перешагнуть через его дневную улыбку.

Став отцом бесчисленного семейства, Резак-бей умирал. Его лицо стало морщинистым, как изрезанный лиманами морской берег, оно хранило отпечатки всех болезней, всех грехов и искушений. Оно было таким же урюмым, как в детстве, когда шёл дождь. «Я страдаю бессонницей, – говорил он толпившимся у постели нукерам, – никак не могу умереть». И скупая слеза смывала на лице соль, оставленную предыдущей слезой.

Но небо упрямо не принимало его. Перечисляя в молитвах разбойные подвиги, Резак-бей мучился до тех пор, пока не вспомнил всех погубленных, пока не терпел их страдания и не умер их смертями. А когда

он сомкнул глаза, на его лице проступила вечерняя улыбка, приплаканная им в своём покаянном сне.

НИКАНОР

Между тем Никанору удалось вытащить джокера, которого судьба прятала в рукаве. До этого он вынимал дни, как лотерейные билеты, и отсутствие в них очерёдности не позволяло ему вычислить свой возраст. Теперь он понял, что стар, как библейские пророки. Он проснулся в день своего рождения в комнате с завешенными зеркалами и кукушкой, навсегда притаившейся в гнезде настенных часов. Мир встретил его в штыки – глухой, враждебной тишиной, обрушившейся на перепонки, готовые лопнуть – миг, решивший его судьбу: он замкнулся в створку своего кругового времени. В комнату плыли сумерки, день только начинался, и этот день совпал с другим знаменательным днём, когда он впервые встретил Анну Горелич. Никанор был сыном Евстафия Розанова, зачатым им мысленно по дороге из японского плена и родившимся после его смерти. Как незаконному, ему присудили фамилию матери. Таким образом, Никанор Горелич-Розанов, осквернив лоно матери, убил отца, которого продолжал отрицать в Евстафии, и, сойдясь с его женой, разделил судьбу Эдипа.

– Все мы кровосмесители, – оправдывался он, – у нас одна мать, согрешившая в раю.

– Все мы сироты, – подыгрывала ему Анна Горелич, – а сирота себе отец и мать.

Она вспоминала ошибочное прорицание Евстафия и облегчённо вздыхала. Прехопадение, за которое будут судить, не плотское, а мысленное. А в мыслях она

занималась любовью с законным мужем, перед которым осталась чиста.

А ещё в тот день Никанор понял, что вместе с Розановым, шагавшим по мещерскому тракту и наступавшему на свою тень, брела и его жизнь, потому что каждое мгновение содержит клубок будущего точно так же, как нити прошлого.

СЕМЬЯ

Тяжело пережив свою смерть, Евстафий опустил-ся. Он вспоминал вырванные страницы с концовкой своей истории, и она рисовалась ему ужасной. Евстафий чесал затылок, ощущая собственные мысли, как чужой пот, и однажды, хлопнув себя по лбу, догадался, что страницы его книги унёс с собой в могилу Розанов, оберегая его от правды, которая хуже лжи. У него будто кусок в горле застрял. Он вспомнил неуклюжее предостережение и поразился самонадеянности тех, кто берёт на себя грехи других.

«Пиявки, сосущие чужое время», – думал он. И опять степной ковыль Маньчжурских сопок щекотал ему икры, как одуванчики в знойный июль его детства, и опять, засыпая под шёпот дождя, он вскакивал ночами, услышав тревожный голос есаула: «Приказано выступать, ваше благородие!»

Евстафий тряс перхотью, вскакивая с кровати, хромал на кухню и, наливая в стакан эликсир молодости, осознавал, что впереди ему предстоит вереница тусклых, безрадостных дней, как у всех переживших смерть, что для него наступает момент, когда жизнь объезжает его, как кобылу, пристёгивая к своей скрипучей телеге.

И тогда он пошёл к Никанору.

Коренья, точно червяки, хватали за щиколотки, а по пятам гналось прошлое. Евстафий застал в срубе Анну Горелич. Никанор сопел волосатыми ноздрями и гадал ей на ромашке: «Три сосёнки, три сестрёнки, провожали всех в Москву, счастье, горе и разлуку раздавали, как плотву!» Перед ним стояла кадка с водой, в которой плавали оторванные лепестки.

Мир кажется загадочным, потому что причины, объясняющие его, остаются в боковых ответвлениях прошлого, а проявленное – верхняя часть айсберга, погружённого в сны. В них слышится отголосок несбывшегося, совершается несовершенное и воскресаёт умершее, в них расцветает всё несостоявшееся, подавленное, сокрушённое бытиём. Настоящее проявляет только один из вариантов прошлого, действительность – только один из снов.

Они сидели втроём, но каждый – в норе своего времени, и разыгрывали давным-давно написанную пьесу. Всовывая между «ты» и «Вы» своё «я», они превращали диалоги в один длинный-предлинный монолог. В дрожании свечи их тени качались на брёвнах, как тощие клячи на ветру.

СНЫ

Свернувший налево, не повернёт направо. Однако сны содержат обе возможности, не теряя и крупицы прошлого. Иногда в одном из отсеков прошлого случается убийство, мотивы которого лежат в другом. Так и взаимная неприязнь Никанора с Евстафием объясняется временами, когда последний был Розановым. Это прошлое сохранилось в снах, и Никанор поэтому столь

тщательно перебирал их, копаясь, как скряга в сундуках. Он дул на воду, и в ней мелькали сцены из различных рукавов прошлого. То он оказывался гусаром, встреченным Розановым в трактире, то юношей, снявшим розовые очки, то своим учеником, убитым молнией на болоте, куда его отправил превратившийся в него Евстафий. Прошлое менялось мозаикой в калейдоскопе, точно цыганский барон не закрывал свою лавку, продолжая, как шулер, сдавать краплёные карты. История повторялась, и в разных её вариантах, в разветвлениях прошлого каждому находилось место. Так Евстафий вызывал гусара на дуэль и бывал им хладнокровно застрелен. Не снеся пощёчин, отверженный апостол протыкал посохом своего палача, а тиран, заточивший художника, умирал, сражённый его стойкостью. Иногда рассказчик становился героем своего повествования: младенец из коляски – цыганским бароном, запертым сатаной в своём детстве, а люцифер – самозванцем из скита. Но везде Никанор убивал Евстафия, сын убивал отца. Вот, оказывается, о чём предупреждал Розанов! «В книгу заносится не кем ты будешь, а каким, – понял Евстафий, – это и есть свобода внутри судьбы».

Анна Горелич опять увидела сон, в котором зачала Никанора. Но это был сон во сне, который не мог помешать ей после родов с каждым днём спать всё дольше, как тот старик, попавший в западню кругового времени, и, проспав сутки, уже не мог проснуться. Напрасно кормилица хлестала её по щекам и, кудахча, как курица, совала нашатырь. Анна Горелич блуждала во снах, не в силах вырваться, и в одном из них, ей казалось, опять встретила Никанора.

Прошлое поделено на участки, которые граничат между собой. Точно брошенные псы, Евстафий,

Никанор и Анна бродили по его территории, залезая к соседям, проваливались в вырытые ямы, становясь частью чужого прошлого.

«Чему быть, того не миновать, – подумал Евстафий, – если мне суждено в этом прошлом быть убитым Никанором, значит, я уже убит им, значит, нужно перечеркнуть прошлое, исчерпать его до дна, тогда, возможно, и откроется иное будущее». Он больше не сердился на Розанова, прошлое всегда предупреждает, но всегда – напрасно.

– Кровью выbledка и клопы брезгают! – глядя в упор, сплюнул Евстафий.

Никанор поблелел. Он понял, что прошлое вылезает занозой, что Евстафий в отличие от Розанова готов драться. Слова не задела Никанора, но, подчиняясь прошлому, он замахнулся и, точно заведённая кукла, вlepил пощёчину.

– Вызываю! – выпалил Евстафий. Он тоже не чувствовал оскорбления, но в него точно вселился бес: – И не стоит откладывать, завтра ты изменишь возраст, а я не убиваю стариков и мальчишек.

– Мы не будем полагаться на меткость, – пропустил колкость Никанор, доставая револьвер, из которого высыпал пули, кроме одной. – Предлагаю рулетку.

Прислонив дуло к виску, он крутанул барабан и спустил курок. Евстафий ответил сухим щелчком и, как ядовитую змею, вернул револьвер. Так они, не моргая, глядели в глаза смерти, но пуля упорно не шла в ствол.

– Это становится фарсом, – заметил Евстафий.

И это были его последние слова.

Он свалился с раздробленным черепом, повторив судьбу Розанова, погибшего из-за измены жены.

АННА ГОРЕЛИЧ

Главный атрибут прошлого – зыбкость, знание убивает его, как игла мотылька. После гибели Евстафия я решила раз и навсегда покончить с преследовавшим меня прошлым, разобрав записи церковного прихода, существовавшего когда-то при часовенке, в которой отпевали Розанова. Теперь в бывшем имении открыли крохотную библиотеку.

Первое, что я увидела там, были «Мещерские хроники» Анны Горелич. На обложке, догадалась я, значится имя женщины с фиолетовыми глазами и бровями, как лес, которой я была на одной из тропинок своего прошлого. Извлечённая с полки книга была толще моих разрозненных листков и гораздо древнее. И тогда я поняла, что это и есть та книга, о которой предупреждало «Предание о слове на ветру». Добравшись в ней до места, где я толкнула дверь библиотеки (с таким же успехом я могла бы перечитать свои собственные записи), я не рискнула продолжать, побоявшись узнать будущее, которое в книге было уже прошлым.

Возможно, в тот момент жизнь впрягла в свою скрипучую телегу ещё одну необъезженную кобылу. Запутавшись в том, кто же был настоящим автором моего труда, я поняла, что затеяла партию, в которой оказалась пешкой.

НИКАНОР

Через неделю после дуэли Никанор вытащил из колоды дней свою смерть. Этот день оказался коротким и дрожал, точно кадры выбитой из рук кинокамеры. Он напоминал Никанору уже виденное, ибо совпадал с днём его рождения: Никанор умер недоношенным,

вывалившись кровавым сгустком на холодный каменный пол в комнате с завешенными зеркалами и навсегда умолкнувшей кукушкой. Ахнула кормилица, точно разбила дорогую вазу, и в глазах Никанора померк свет. Он не успел испугаться, но в мгновение между рождением и смертью втиснулась вереница бестолково выдернутых дней – жизнь, кое-как составленная из перепутанных событий и нелепых надежд.

Приложение

СТЕНОГРАММА БЕСЕДЫ В ДОМЕ ПЛАТОНА АРИСТОВА

Платон Аристов: Кажется, настоящее «молнией» соединяет прошлое и будущее, оставляя ровный шов. Но это не так, прошлое шевелится в памяти, как младенец в утробе. Иногда от него пахнет розами, иногда – как от трупа.

Евстафий: Прошлое, как кубики – составляй, не хочу. Меняя его, мы много раз рождаемся и столько же умираем. На земле проживало больше людей, чем числилось. А сколько, знает книга, со всеми историями, которые могли случиться, но не случились.

Платон Аристов: Да, Евстафий, жизнь – короткая главка в истории Времени, и на её перепутанных страницах каждый может оказаться Анной Горелич, писавшей «Мещерские хроники». Одно смущает меня, это

СПРАВКА О ПОРУЧИКЕ РОЗАНОВЕ

Поручик лейб-гвардии пехотного полка Евстафий Розанов пал смертью храбрых на дальневосточном фронте.

Его вдова, получив извещение об этом, выкинула.

ИВАНОВ, ПЕТРОВ, СИДОРОВ

Они жили в новостройке на одном этаже, поначалу одалживаясь солью и спичками, а когда узнали фамилии, сдружились. «Неспроста это, – качали они головами. Но с годами привыкли. И звали друг друга: Иваныч, Петрович, Сидорыч. Дни коротали порознь, а вечерами собирались у Иванова, который был в разводе и жил один. Петров и Сидоров тоже разошлись, но делили площадь с бывшими жёнами, квартирки маленькие – не разменять. Жизнь не сложилась у всех троих, а её на пятом десятке не поправишь. Одна радость – есть куда пойти.

Зиму встретили у Иванова – пили третьи сутки, спали вповалку на огромной двуспальной кровати, кидали на пальцах, кому бежать в «24 часа».

«Мы, как машины, – скалились вдогон посыльному, – без горючего глохнем!»

От холода мёрзли подмышки, и гонец не заставлял себя ждать.

Застолье было в разгаре: консервы прикрывали на скатерти жирные пятна, под столом звякали пустые бутылки.

– А всё же здорово, что так сложилось! – в который раз говорил Иванов, поднимая стакан за мужскую дружбу.

– Перст судьбы, – откликнулся Петров.

– На чудесах Русь держится, – подводил черту Сидоров.

Он носил короткий пиджак и, когда измерял стакан мелкими глотками, у него задирался рукав, обнажая на запястье наколку. В молодости он отбывал срок, говорил, по глупости, и теперь часто заводил разговор про лагерь. Петров был инженером, Иванов – учителем. В юности у каждого свой круг, который к старости сужается до лестничной клетки. Да и работа осталась в прошлом, перебивались, чем попало.

– Такие времена, – вздыхал один.

– Кончилась Россия... – кивали остальные.

И снова ругали жизнь, которую донашивали, как старую рубашку.

Когда живёшь бок о бок, жена не становится бывшей, Петрову и Сидорову дома закатывали истерики.

– Завидуют, – с мстительной интонацией замечал Петров.

– А твоя мою ненавидит, – добавлял Сидоров.

– Бабы всех ненавидят, – вспоминал свою Иванов.

Злой декабрьский ветер налегал на стёкла, бросая из темноты горсти липкого снега. Заменяя тосты, каждые полчаса били часы. Прикончив спиртное, уже вывернули карманы, но наскребли всего на поллитровку.

– Эх, продать бы что... – почесал затылок Петров.

– Можно телевизор, – не раздумывая, предложил Сидоров. – Только моя не даст.

Осторожно покосились на хозяина:

– Может, твой, Иваныч, всё равно смотреть нечего?

Иванов замахал руками:

– А футбол?

От обиды у него покраснело лицо.

– Ладно, не кипятись, – похлопали его по плечу, – забыли, что болельщик.

И снова решили выпить. Заскрежетав вилками в прямом рассоле, зацепили по кильке. Хозяин разлил последнюю бутылку, за горлышко опустил под стол. Но распрямиться не смог – схватившись за сердце, повалился с выпученными глазами. «Иваныч!» – бросился Петров, задирая спиной бахрому у скатерти. Изо рта у Иванова шла пена, он лежал без движения посреди поваленных бутылок.

Сидоров вызвал «скорую».

От укола щеки у Иванова порозовели, и когда увозили в больницу, он пришёл в себя. «Ты на нас рассчитывай, – семенил рядом с носилками Петров. – Передачи там, ну и если кровь понадобится...» У него тряслись губы, он то и дело промокал рукавом залысины.

А Сидоров метался по кухне, как челнок, и всё пытался угостить водкой санитара.

Спустившись к подъезду, растерянно топтали ледяное месиво, провожая взглядом отъезжавшую «скорую». Возвращаться было некуда, и решили поехать в больницу. Донимая заспанных сиделок, долго ждали врача.

– Ну как? – бросился ему навстречу Петров, у которого за спиной маячил Сидоров.

– А вы кем ему приходитесь? – прикрывшись ладонью, зевнул врач.

– Братья, – не моргнув, соврал Сидоров.

Врач уставился в стену:

– У него обширный инфаркт. Делаем всё возможное...

Вышли, подняв воротники. Слепил мокрый снег, редкие машины обдавали грязью. Пока брели домой,

молчали, и только в подъезде обнаружили, что промёрзли до костей.

– Приличные люди умирают летом, – ляпнул вдруг Петров.

Но Сидоров не удивился:

– Выпить бы...

И опять вспомнили, что нет денег.

Была глухая ночь, но расходиться не хотелось.

– Жаль, он ключ не оставил, – щёлкнув зажигалкой, тихо сказал Петров.

Сидоров отмахнулся:

– Да его замок можно ногтем колупнуть.

На мгновенье обоим стало неудобно, точно их застали за ограблением могилы.

– Мы же только своё допить, – опустил глаза Петров.

– Иваныч бы простил, – выбросил окурок Сидоров.

С замком провозились целый час.

– Прикрой дверь-то, – прошептал Сидоров, вешая в прихожей мокрое пальто. – Подумают, вору...

– Да кому думать-то? – огрызнулся Петров. – Кругом свои.

В комнате было темно, но свет включать не стали, ограничились ночником.

– За Иваныча, – поднял стакан Петров, держа вилку с килькой. – Даст бог, выкарабкается...

– Земля ему пухом, – не чокаясь, выпил Сидоров.

Передёрнув плечами, покосились на полный стакан.

– Давай уж и его... – хрипло предложил Петров.

Звякнув о зубы вилкой, Сидоров разлил поровну. Но пить повременили. Вынув сигареты, долго молчали, наблюдая, как в зеркале плывёт дым.

– Эх, жизнь! – едва не расплескав стаканы, стукнул

вдруг кулаком Сидоров. – Я, когда сидел, всё ждал: вот выйду, заживу, как человек... А что вышло? Нет, без любви – хоть в могилу!

Петров закашлялся и, прочистив горло, стал тереть покрасневший нос:

– Не скажи, Сидорыч, раньше мы покойней жили, никуда не спешили, будто два века намерили... – он опять закашлялся. – Это теперь все рвут...

– А куда рвут? – гнул своё Сидоров. – Вон, Иваныч свалился, и ничего ему больше не надо...

Он всё больше мрачнел и, опрокинув стакан, ждал, пока в горло стечёт последняя капля.

– Для него и футбол кончился, – не отставал от соседа Петров, уставившись сквозь гранёное стекло, которое, моноклем, увеличивало глаз.

И тут обоим пришла одна мысль.

– В конце концов, за него же пьём, – покосился на телевизор Сидоров.

– Иваныч бы понял... – эхом отозвался Петров, не отрывая от щеки пустой стакан.

Обхватив телевизор с боков, осторожно спустились по лестнице, отдыхая после каждого пролёта. Толкнув спиной парадную дверь, протиснулись в щель. На улице по-прежнему хлестал ветер, над вывеской «24 часа» со скрипом качался фонарь. Продавец втрое сбил цену, но торговаться не стали.

– А всё же хороший мужик был Иваныч, – пригубив из горлышка, передал бутылку Петров.

– Светлая ему память! – взболтнул её Сидоров.

Где-то загромыхал трамвай, в подъезд бездомным котом вползал рассвет, поднимаясь по ступенькам, лизал грязные половики. Снег перестал, и казалось, что погода разгуляется.

– А ведь и правда страшно, когда человеку некуда пойти, –ковыряя краску на батарее, пробормотал Петров.

– Ты про что?

Петров провёл пальцами по железным рёбрам, батарея глухо застонала:

– Это я так, разговор поддержать...

Как ни тянули, а под утро в бутылке показалось дно.

– Надо бы его навестить... – едва шевелил языком Петров.

– Кого? – хватаясь за перила, вытаращился Сидоров.

На пороге ивановской квартиры громко выругались и, обернувшись, погрозили кулаком припавшим к «глазкам» жёнам. Шатаясь, побросали в прихожей одежду, наполняя комнату перегаром, рухнули на кровать. Первым уснул Сидоров, и за его храпом Петров не услышал звонка. Подмяв подушку, он ещё успел всплакнуть, вспомнив Иваныча, прежде чем провалиться в сон.

Спали они с детской безмятежностью, так что милиции, которую вызвала жена Петрова, было жаль их будить.

РАЗБИРАТЕЛЬСТВО

Внизу колыхалось тёмное небо, по которому сеть из облаков тянула багровую луну. Оседлав стул, мужчина без возраста скрестил на спинке худые руки.

– Отметьте, что я добровольно, – кашлянул он в кулак, – я к нашей встрече давно готовился.

– Ну-ну, – захихикали слева. – А кто за врача цеплялся? Пришлось придушить. И потом всю дорогу дулся: «О чём говорить с палачом...»

– Он поэт? – донеслось справа.

– Писатель.

Мужчина заёрзал.

– Ну да, палачом... А как же к вам обращаться?

– Зови меня Кривоед, – прозвучало слева. – А моего коллегу, – он замялся, словно указывая рукой, – Правосуд...

Мужчина упёрся подбородком в ладони. Его лунная тень вытянулась на потолке в острый угол.

– Всё вышло так неожиданно, я будто со сна...

– Надо же, – передразнили слева, – давно готовился, а теперь – неожиданно!

– И все так, – поддержали справа, – уже умерли, а всё думают, как выглядят.

Растерянно моргая, мужчина уставился в

прозрачный пол, сквозь который обратной стороной щерилась луна.

– Ну, чего воды в рот набрал? – промурлыкали справа. – Расскажи, как провёл годы. И не торопись – у нас нет времени...

– У нас – вечность, – откликнулись слева.

Вздвогнув, мужчина развёл руками:

– Даже не знаю, с чего начать...

– Да хоть с последней минуты! Ты подумал: «Когда Пушкину было столько лет, сколько мне, он уже тридцать три года, как умер...» А тут появился Кривоед...

У мужчины заблестел пот, достав платок, он медленно промокнул шею.

– Так всё и было. Я подумал про Пушкина. И у меня возникло чувство, будто всё что я делал в жизни – делал без понятия, а всё что понял – к делу не относится...

Он смолк.

– Ну, продолжай, продолжай! – раздалось справа. – Не заставляй клещами тянуть! Что до этого было? Раньше?

– Я перенёс инфаркт..

– Это несущественно.

Слева захохотали.

– Умирать – дело житейское! Давай лучше про любовь. Расскажи, как ты стал мизантропом...

– Мизантропом?

– Ну да.

Мужчина прикрыл рот ладонью.

– Ах, это...

И стал грызть ногти.

– Мне тогда сорок стукнуло... Возраст для мужчины критический...

– А для женщины?

Мужчина поморщился.

– ...и я стал всё чаще спрашивать себя: любил ли меня кто-нибудь? А я? Нет, не все эти страстные романчики, пронафталиненное супружество и дети, которые смотрят тебе в рот, думаешь – слушают, а они куски считают. Я спрашивал, была ли в моей жизни бескорыстная, светлая любовь? Может, родители? Так ведь тоже своё тянули...

Он устало махнул.

– Странно, – шелестя бумагой, перебил Правосуд, – помнится, мать твоя всё убивалась: «Как теперь сыночек без меня останется, он же такой неприспособленный!»

Мужчина пожал плечами.

– А ты, значит, думал, она любила только своё иссохшее, дряблое тело и, как все старухи, говорила лишь о болезнях?

– Да так оно и есть! – вскочил мужчина. – Точнее, было...

– Ладно, оставим это... А жена?

– Что, жена?

– Разве ты не жалил её через десять лет брака: «Как можно спать с родственницей?» Не радовался, когда завела любовника? Ещё бы – такой козырь! Чему удивляться, что её на похоронах не было...

Мужчина опустил глаза.

– Какой скромный! А раньше другим был: «Невозможно противиться тому, что действительность всегда права...» Твои дневники?

Мужчина кивнул.

– «Есть, спать, размножаться... Быть выше этой программы – трагедия! Лучше, как звери, не рассуждать, проживая в природной кровожадности...»

У мужчины задёргалась шея.

– Себя-то к зверям не причислял. Пусть другие гнёзда выют, мёд собирают... А теперь отмалчиваешься – боишься, как бы в тёмный чулан не заперли!

Мужчина вскинул голову.

– Ладно, чёрт с вами, делайте, что хотите... Да, я мизантроп! Эта жизнь – не жизнь, а сплошное враньё! И людей она делает хуже животных. Только притворяются людьми, а у самих ни чести, ни совести, ни любви, ни жалости. Одна только злоба и зависть...

– Вот разошёлся! – снова захихикали слева. – Обидели мальчика-с-пальчика, записали в неудачники...

– Да причём здесь неудачник! Подумаешь, не получил признания... Ну, пусть меня Бог талантом обделил, из-за чего злобствовать? Мелко это, глупо... Я в искусстве не новичок, думаете, не знаю, как оно делается? Гениев-то больше, чем кажется, только, кто их помнит? Сто миллиардов по земле прошло, а сколько известно? Ну Гомер, ну Шекспир... Остальные, выходит, бездарности? А классики? Сегодня одни, завтра другие!

Он вытянул ладонь, которая легла на колено, как кленовый лист.

– А как я начинал! Думал, мысль сама по себе пуста, её нужно оречевить, оглаголить... Писатели для меня были пророки, я перед словом преклонялся, а вышло вон что...

– А что вышло?

– Будто сами не знаете – гадость вышла, мерзость...

– Это ты про заказные статейки?

– И про них тоже... А куда деваться – тело-то само по себе живёт...

Он посмотрел перед собой, точно в зеркало.

– А что, остальные шедевры создавали? Из их книг

можно сложить вавилонскую башню! Пока живы, превозносят, а умрут – забудут всех до единого...

– С этого момента, пожалуйста, подробнее.

– Можно и подробнее...

Он уже успокоился, потёр руки, будто мыл под струей воды.

– Но что такое подробность? Бывает, слово опережает действие, бывает, наоборот. Как повествовать – у одних годы умещаются в строчку, у других обед растягивается на страницы...

Он встал, сделал несколько шагов, опять сел.

– А главное, мир с годами отступает всё дальше, оставляя наедине с воспоминаниями... Только можно ли им верить? Память подводит, воображение разыгрывается... Я вот в детстве застенчивый был. И решил у зеркала тренироваться – таращился до тех пор, пока отражение не отводило глаза. Так вот теперь мне кажется, что самого себя мне удалось переглядеть, а других – нет...

– Так оно и было.

– А первый поцелуй? Как под её окнами до утра бродил...

– Выдумка! Она тогда рассмеялась: «Дырку в окне проглядишь!» И у тебя разболелся живот. А дома тебя выпороли, чтобы не шлялся по ночам...

– Вот значит как... А я по-другому в книги вставлял...

Он хмыкнул.

– Ну да бог с ним! Вы, верно, знаете, что такое литература? Собрались сказочники, один говорит: «Рассказать про воров?» «Расскажи». Он начал: «Собрались воры, один говорит: «Рассказать про царей?» «Расскажи». Он начал: «Собрались цари, один говорит:

“Рассказать про сказочников?” “Расскажи”. Так всё и тянется – кивают друг на друга, обещают... А истории-то и нет! Кажется, вот-вот начнётся, ждётся её, ждётся, а получается одна бесконечная отсрочка...

Он почесал затылок.

– И вы мне допрос устроили, разоблачаете... А что я могу рассказать, если сам про себя ничего не знаю?

Он повернулся спиной.

– Я, когда писать начинал, думал, жить кого научу. А с годами дошло, что книги учат только тех, кто их не понимает. Таких же простаков, как и я... У остальных-то от взгляда зеркало трескается!

Зацепив ножки ботинками, он стал раскачиваться на стуле.

– Нет, что ни говори, а мир – это пустыня с кактусами. Поначалу вырубашь в надежде расчистить себе место, но они лезут, кусают, жалят, пока не раздерут в кровь. И тогда приходится, скорчившись, ползать на коленях... Только шипы с иголками всё равно доконают, так что каждый на свете примерит терновый венок...

– Да он философ, – заметили справа.

– И давно, – прогнусавили слева. – Вот что писал в школьном сочинении: «Просыпаясь утром безнадежно дождливого дня, мы силимся сдвинуть глухую плиту, придавившую нас. Но тщетно. У каждого свой день, у каждого свой дождь. Нам только кажется, что мы одинаковые, что исполняем один танец, сочиняя мелодию, которая у всех одна. Твоё тело – не моё тело, и твоя музыка – не моя музыка. И, сплетённые общими движениями, которые у каждого свои, объединённые текущими по окну каплями, которые тоже у каждого свои, мы лишь потому и можем двигаться вместе, что никого не видим, кроме себя, и никого не слышим, кроме себя.

Так, медленно выгорая в одиноком танце, мы корчимся от чудовищного расхождения наших движений...» Ты, может, и сейчас под этим подпишешься?

Мужчина курил, забывая стряхнуть пепел, и тот полз к жёлтым от никотина пальцам.

– Порой глядишь на всё будто из космоса – и куда катимся? Раньше хоть от церкви отлучали, теперь – от телевизора...

Он сплюнул.

В тишине заскрипели кресла.

– Неплохо держится, – прошептали справа.

– Вот и забирай себе...

– Так он же по твоей части.

– Да что ему у меня делать? Он везде лишний...

Стало слышно, как падают звёзды.

Мужчина не выдержал.

– И куда меня теперь?

– А назад не хочешь? Снова станешь ребёнком, будешь смотреть на дождь?

Мужчина покачал головой.

– Может, подскажешь, как всё это улучшить?

Мужчина смял сигарету и стал пристально всматриваться под ноги. Внизу колыхалось тёмное небо, и багровая луна, словно гигантская раненая рыба, билась в сети из облаков...

УТРО ПОД ВЕЧЕР

▣ С бываются только заветные желания, которыми лет десять.

– Значит, за жизнь одно-два и сбудется?

– Хорошо, если одно, часто и одного нет..

За окном валит снег, на тумбочке тикает будильник с утопленной кнопкой, и пока я пишу эти строки, ты сидишь в интернете. Ночью мы занимались любовью, и при воспоминании об этом кровь бежит у меня в жилах, как новый жилец, осматривающий дом. На веранде под дверь намело сугробы, а это значит, что мы проведём ещё один день в крохотном домике, отрезанном от мира, в заброшенной деревне на три избы. Ты садишься ко мне на колени, обняв, гладишь седеющие волосы, а я вспоминаю, как ещё год назад бродил по московским улицам, и прохожие казались мне инопланетянами. Хотя инопланетянином был я. «Меня никто не любит, – повторял я, как сумасшедший, вглядываясь в чужие лица, и, перебирая знакомых, добавлял: – И я никого не люблю...» Я жил с другой женщиной, но страстно искал тебя, теряя надежду, называл той, которой нет. Сейчас я не могу представить, что мы не встретились, а тогда, в Москве, воя от одиночества, удивлялся, почему не знаю, как прожил отец, не ведаю, чем живёт сын, не понимаю, как живу сам. «И все так», – вздыхали вокруг.

Но разве от этого легче? Кто будет за меня радоваться? Кто оплакивать? Облаками плыли годы, и на старых фотографиях меня всё теснее обступали мертвецы. Накануне поздравлял однокашника с пятидесятилетием. «С чем поздравлять? – окрысился он. – Ни успехов, ни достижений, всю жизнь один». «Пригласишь на юбилей?» «Нет, уеду на дачу». А потом целую неделю, будто карканье ворон, слушал гудки, звоня на тот свет – его нашли в постели рядом с бесполезно работающим обогревателем, труп сильно разложился, вскрывать не стали, но мне легче думать, что умер во сне.

– Детка, что у нас на завтрак?

– Как всегда – яичница.

Хлеб насыщенный дай нам днесь, а большее – от лукавого.

Ты капризно надуваешься:

– Дорогой, не приготовишь?

– Феминистка! – разбиваю я яйца о край сковородки. – Впрочем, мне не привыкать, в Москве давно матриархат, только раньше женщины на кухнях правили, теперь – в офисах. А мужья всегда были подкаблучники.

Ты вскидываешь головку, заливаясь смехом.

– Секс в нашем купеческом городе вроде разменной монеты, – высоко подняв, чтобы не обжечься, трясу я солонку над брызжащим маслом. – Матери спокон веку учили дочерей, как дороже себя продать, вдалбливая, что главный в постели – хозяин в семье. Женское образование у нас сводится к ста способам окрутить мужчину.. – Я лукаво шурюсь: – Москвичка без выгоды в постель не ляжет, не то, что некоторые...

– Противный! – получаю я щелчок по носу. – Ой, маленький, тебе больно!

Ты годишься мне в дочери, а считаешь своим ребёнком. Я давно осиротел при матери, у которой шкафы, вместе с грудой просроченных лекарств, забиты скелетами. Иногда мне кажется, что меня родила другая женщина, но младенца подменили, и меня воспитала мачеха. Всю жизнь ею движет какой-то наивный, животный эгоизм, смешанный с мудростью московских поговорок.

– Прописка выписки не стоит!

– Это как?

– А так, что прописать – раз плюнуть, а выписывать замучаешься!

– Что же, и жену не прописывать?

– Сегодня – жена, завтра – подселенка...

А последние лет тридцать её постоянные гости, топчущиеся в прихожей врачи, – как публика на танце умирающего лебедя.

Но кто дрожит над здоровьем – пропускает жизнь.

– Злой мальчик, не любишь мамочку?

– Тебя люблю!

Ты встаешь на цыпочки, запрокидывая голову для поцелуя:

– Любимый, ты для меня три в одном – отец, муж и сын!

Мы познакомились в интернете, проживая в разных столицах, сделали домом пассажирский «Москва-Петербург», потом мыкались по съёмным углам. «Связался с молоденькой, – кривились ровесницы, – сведёт тебя в могилу!» Я кивал, а про себя думал, что умирать лучше со старыми, жить – с молодыми. Из Москвы мы сбежали поздней весной, густела трава, а в ржавой, брошенной на огороде лейке гудел заблудившийся шмель. Мы ушли в никуда, захлопнули дверь в прошлое

и выбросили ключ. На птичьих правах поселились в чужом доме, без гроша за душой – на мне весь гардероб, у тебя ничего кроме сумочки на плече. Перепаханные сажей, топили печь под органичные фуги, гоняли прорвавшихся сквозь дыры в заборе соседских коз и с улыбкой шире проселочной улицы отбивались прутиком от шипевших гусей. «Чтобы мириться с реальностью, надо выдумывать», – лгу я себе, сочиняя рассказы. Нет, достаточно любить! Вот я люблю тебя, и мне плевать, что у тебя пригорает сковородка, убегает молоко, что деньги, как стрижи, улетают у тебя из кармана, и ты не можешь уследить даже за месячными. Вечерами мы слушали, как под верандой, перебивая свистом мышиную возню, щуршат ёжики, смотрели на ранние, высыпавшие возле луны звёзды, а когда уставали от робинзонады и кровожадных, ненасытных комаров, ужинали в многодетной семье, куда проникла цивилизация. Ели картошку, кислую капусту и смотрели по телевизору, как рекламируют роскошные магазины, как расхваливают дорогие авто. Однако москвичи экономят на всём, даже на улыбках. А в рекламных паузах сулили райскую жизнь. «Да им наша жизнь – как рванный презерватив!» – не выдержав, сплюнул хозяин. А я вспомнил ярко светившиеся окна большого города, каменные башни с уютными гнёздышками, которые с потрясающим упорством вьют всю жизнь, но в каждом – палата номер шесть! Плеснув в стаканы, я похлопал хозяина по плечу: «В Москве есть всё, кроме счастья...»

Первое время мне ещё звонили, недоумённо спрашивали, когда вернусь, втайне раздражаясь, точно я нарушил сложившуюся схему, опроверг незыблемые правила, а потом привыкли, посчитав ненормальным.

Я выпал из памяти, как птенец из гнезда, звонки раздавались всё реже, пока, наконец, не прекратились, и я выбросил «мобильный». Но я не винил знакомых – в Москве каждому до себя, на сострадание не хватает сил. И что нам до них? Я спрятался в тебе, как в ракушке, и мы сплелись, как сиамские близнецы.

Пролетело лето, и птица-осень накрыла листву жёлтой тенью. Дождь моросит едва ли не каждый день, а когда через кулак прислоняешься лбом к стеклу, оно запотеваает. Жизнь коварна, когда ей, как увядающей женщине, больше нечего показать, она насылает болезни. Ещё один день, отвоёванный у вечности, думаю я, мучаясь бессонницей, глядя на серый, брезжащий рассвет. Возраст – это судьба, которую не обмануть, и мой насрал жало в плоть. Я перестал бриться, больше не походил на своё отражение в зеркале и всё чаще думал о смерти. «Старость», – отмахиваюсь я, ловя твои встревоженные взгляды. Я знаю, ты злишься, когда я так говорю, но, пересилив себя, только крепче прижимаешься ко мне.

А меня словно подмывает:

– В старости радуешься, что новая болячка не смертельная, но каждая болезнь – репетиция смерти...

– Хочешь, вернёмся в Москву? – грустно говоришь ты, и мне кажется, что я читаю в твоих глазах мысли о разводе.

– Куда? – жалю я. – На врачей нет денег...

Бедная! Старость кусает, как осенняя муха, и ради тёплого гальяона стерпит всё. Я методично подбиваю тебя к разрыву, провоцируя, жду, когда ты хлопнешь дверью, но ты держишься геройски. И мне делается стыдно. «Прости, расхандрился, – украдкой смахиваю я слезу. – Знаешь, давай обвенчаемся?» У тебя вспыхивают

глаза, ты порывисто вскакиваешь и вот уже занимаешься приготовлением – покупаешь дешёвые серебряные колечки, иконки, крестики, перешиваешь рушники в венчалные полотенца. На евангелиста Луку в храме было пусто, батюшка, мой ровесник, немного смущаясь, читал Писание, обводил нас вокруг амвона, накрыв руки епатрихилью. А на меня накатила волна горячей радости, я вдруг крепко пожал его жёсткую ладонь. Он вздрогнул, но я только улыбнулся. А потом нас подвели к алтарю – куда доступ лишь священникам. «Сегодня ваш день, просите, и Бог услышит!» – сказал батюшка, деликатно отворачиваясь. Не сговариваясь, мы пожелали умереть в один день... А потом сидели в кафе, батюшка в рясе, на столе – цветы, гранёные стаканы, фантики шоколадных конфет. Вино развязало язык, и я спросил:

– А вы не сомневаетесь?

– Вот ни на столько, – отметил он ногтем кончик пальца. – Да разве бы тогда служил?

Но меня понесло, я признался, что душа моя бродит в потёмках, что порой обуревают тяжёлая, невыносимая скорбь, а под конец стал жаловаться на недуг, лоя твои недоумённые, протестующие взгляды.

– Неужели это мне за прошлое?

– А что, совесть не чиста?

– Совесть чиста только у негодяев.

Он усмехнулся:

– Да, все грешим...

А в машине по дороге домой я думал, что ты – награда за мою никудышную, бестолковую жизнь, запоздалый урок того, как она могла пройти. Отвернувшись к окну, я смотрел на пробежавшие леса и до боли кусал кулак.

Ко врачу я всё же пошёл. В приёмной стоял резкий кислый запах, на двери, как надорванный погон, обвисла табличка, по стенам лупилась масляная краска. Вытерпев бумажную волокиту, я сидел в очереди, вглядываясь в угрюмые, разочарованные лица. «Врачи – на больного дрочи!» – выйдя из кабинета, мотнул головой сгорбленный старик.

Я поднялся и зашагал по лестнице.

Заволоченным тучами днём сосед не досчитался курицы, грешил на собаку из дома напротив, долго выяснял отношения с его хозяином, ругался, на чём свет стоит, и, ничего не добившись, вечером в отместку «траванул» пса. А на утро из-за забора снова доносилась матерщина, угрожающе стучали монтировкой по столбу, истошно вопили бабы. Потом стихли, и к вечеру уже вместе горланили пьяные песни, обновляя за столом бутылки самогона, горячо обсуждали продажу иностранного футболиста. Господи, в каком веке я живу? Я смотрю на свой народ, на происходящее вокруг, и мне кажется, что я пишу на мёртвом языке.

Мы больше не занимаемся любовью, я целыми днями хожу мрачный, утирая холодный пот, ты всё чаще грызёшь заусенцы. У тебя пропало желание. Но моя любовь выше ревности, и я бы закрыл глаза, если бы ты завела любовника.

Боже, что я несу!

Тёмное небо уже озаряют ранние всполохи, я курю на кровати и смотрю, как ты, подобрав коленки, сладко улыбаешься во сне, разметава по подушке длинные волосы. «Кому нужен инвалид?» – стучит у меня в висках, и я плачу от жалости к себе. Поперхнувшись минутой, остановились часы. Осторожно заводя их, чтобы тебя не разбудил скрежет, я представляю, как, проснувшись,

мы будем пить чай, смеяться и говорить о любви. И я не обнаружу своей тоски, неотступно преследующих меня мыслей о том, что впереди у меня – ночь. Но сейчас ты не слышишь. «А потом меня не будет, – шепчу я, глядя твои волосы, – ты поживи, повеселись, сходи замуж, а я буду ждать тебя там, где нас уже никто не разлучит...»

ПАЛОМНИК

Я уже не помню, кто первым сообщил мне о Городе. Был он другом или врагом? Сделал это случайно или с умыслом? Я услышал, что Город находится на юге, а от остальных городов его отделяет даль вечерних морей и океан зыбучего песка. Его населяют те, кто бежал на край света, чтобы обрести новую родину. Спокойствие и размеренность царят в нём, и это единственное, чего требуют граждане от прибывающих, открывая им тайну мироздания...

Конечно, я не поверил. Как может существовать тишина посреди рокота? Как может быть спокойной капля в бушующем море? И сейчас орды диких кочевников сотрясают имперские границы, и сейчас алчные варвары, словно саранча, топчут нивы, а в самой Империи – раскол! Я вспомнил еретиков, которые рыщут голодными волками, грабя богомольцев и разоряя церкви. И это в нашем благословенном отечестве! Что же творится в землях язычников? Но, быть может, именно сомнения заставили меня седлать скакуна? Я – Константин Псёлл – ромей, в жилах которого течёт кровь философов, кровь любопытных. Мой отец был воином, ходившим в далёкие страны, дед – учёным монахом, составлявшим хронографии и колесившим время. В моих подвалах скопилось достаточно золота,

чтобы презирать богатство, я горд, но не тщеславен, и моему сердцу мила свобода.

В поместье, где я утешался философией, прибыл гононец. Меня требовали в столицу. Судьба уготовила мне должность при дворе, и я должен был покинуть Фессалоники – ведь я клялся в верности. Но как мне претят дворцовые интриги! Не честнее ли искать химеру?

Приставленный ко мне соглядатай – о, мерзкие нравы Империи! – вольноотпущенник, живущий на половине челяди, попробовал силой удержать меня. Подлый раб! Мой кинжал изуродовал ему лицо.

Много дней отделяли меня от дома. Был вечер, я сидел в приграничной корчме под настенным факелом. «Жалок тот, кто ищет истину, – думал я. – Горек удел скитальца!» Но мои мысли оборвал крик. «Вот он, клятвопреступник!» – вбежали посланцы Императора. Убийц было трое. Ими руководил жирный колхидянин, центурион из пятой турмы «бессмертных», и они прыгали вокруг, как обезьяны. Их движения слились с тенями, а факел удваивал их число. Умирая, колхидянин шептал сокровенное имя Бога, остальные – проклятия...

Все дороги ведут в Рим, и, восприняв эту метафору буквально, я оказался в Вечном городе, где молился, созерцая вечные раны Распятого и вечные муки предавших Его. Глуховатый наместник Ватикана удостоил меня аудиенцией, и мне передалась дрожь старческих рук, благословлявших меня. В Риме же я попросил помощи у неба и в ту же ночь увидел во сне бегуна, спиной рассекавшего воздух. И хотя он бегал по кругу – я видел это отчётливо, будто с трибуны огромного цирка, – его лицо выражало довольство.

– Константин, ты найдёшь, что ищешь! – услышал я голос своего деда.

– Обрету ли счастье? – крикнул я.

И тут проснулся.

В Провансе на торговой площади, где бичуют воров, я присутствовал при казни молодой колдуньи. Взойдя на костёр, она вопила, что в перевернутом мире, куда после смерти попадут все, предаст огню своих палачей. «Ведьма! – бесновалась толпа, когда вспыхнули сухие дрова. Я ускакал прочь прежде, чем раздались стоны – единственно понятная всем истина...

Сколько бедствий выпало на мою долю! На постоялом дворе Кордовы меня укусила собака, и я, опасаясь бешенства, лечился вином. Моими собутыльниками оказались морские разбойники. Чередуя клятвы с проклятиями, они уверяли, что Город, который я ищу, находится в Африке. Дети сатаны! Они перевезли меня, мертвецки пьяного, в трюме своего корабля от одного столба Геракла к другому. Возможно, они хотели выставить меня на невольничьем рынке или сделать рабом в своём орлином гнезде, приютившимся в скалах. Или это была шутка? Когда хмель испарился, я увидел белое, как мрамор, солнце и море песка. «Каждая песчинка – частица времени, – думал я. – Сколько же отмерено мне?» Днём, спасаясь от жары, я спал под халатом из верблюжьей шерсти, а ночью, когда ноги вязли в песке, мои песни слушали высокие зелёные звёзды и выползшие из дюн змеи.

Где-то в Тунисе, посреди толпы берберов, звенел колокольцами прокажённый мавр. Сверкая глазами, он орал, что познал Бога. «Это никому не дано!» – выкрикнул я, когда колокольцы на мгновение стихли. Его белки налились кровью, он бросился на меня с кривым ятаганом, и мы долго бились, прежде чем мой клинок заткнул его глотку. Берберы вокруг заулюлюкали, но,

когда я поднял саблю, расступились...

...всё реже встречались колючие кустарники, исчезали верблюды, невозмутимые бедуины и скользкие, как мысли богословов, змеи. Пустыня кончалась, когда я увидел Город. Заходило янтарное солнце, тени от пальм тянулись к воротам, лизали чугунные замки. Я постучался рукоятью кинжала. Вышел старик с длинной, седой бородой и свитком в руках.

– Константин Псёлл? – прочитал он, вычёркивая моё имя из списка. – Мы давно ждём тебя.

И я услышал, как ворота за мной со скрежетом закрылись.

В Городе разливалась разноплеменная речь. Я различал германцев, италиков, иберийцев. «Женщины, рожая здесь, призывают множество богов», – думал я. Широкие скулы выдавали монголов, а золотистая кожа – китайцев. Я видел чёрных, как ночь, эфиопов и курчавых пожирателей нечистот, закрывавших рты выцветшими платками. Они свободно бродили по Городу, разбивая на площадях высокие шатры. Но нигде не было привычных мне церквей, мечетей и синагог, не было и языческих капищ с их заблудшими жрецами. Я не мог также отличить плебея от всадника, все держались одинаково величественно. В огромном Городе не обнаружилось и часов – ни водяных, ни песочных, ни солнечных. Уж не пытаются ли здесь укротить время?

У дома из бурого кирпича стоял бородач. Точно давнего знакомого, он, отворив дверь, пригласил меня жестом. Внутри было тихо, как в склепе. Мы заговорили на латыни. Тряхнув ушной серьгой, он представился ван Ориным, фламандцем, и, точно паук в паутину, опустился в плетёное кресло. Указав место напротив, достал кальян. Пока ароматный дурман наполнял нас,

я спросил, почему названия Города нет ни на одной карте. Пожав плечами, он произнёс загадочное слово.

– «Приют усталых путников» – так его название переводится на греческий.

– Или пристанище бродяг, – не удержался я.

– А какой смысл в названиях? – ужалил он скорпионом. – Слова – это паломники, бредущие к неведомым святыням! Сегодня название Города одно, а завтра им окажется «выход из пустыни», «цветок персика» или «рыжая трава».

– По-твоему, и Бога можно назвать как угодно?

– Конечно, – рассмеялся он, – произносят же его имя по-разному римляне и византийцы. А представь, как звучит оно у троглодитов!

– Значит, можно назвать Бога дьяволом? Или тайным именем вашего Города?

– Или тайным именем нашего Города, – эхом откликнулся он так быстро, что христианин во мне не успел оскорбиться. – Числам не выразить рёва бегемота, а речам – природы вещей. Поэт и мусорщик одинаково ничтожны.

– Выходит, евреи слепо доверяли алфавиту? И греки напрасно превозносили слова? А римляне ошибались, ставя выше других ораторское искусство?

– Что есть искусство? – устало отмахнулся ван Орин.

– Зачем нужны пейзажи, если есть закаты, зачем слагать стихи, если есть звёзды, зачем мудрствовать о Боге, если Он есть?

Я глядел на пальцы, впившиеся в кресло когтями хищной птицы, и вдруг понял, почему крестьяне в наших деревнях боятся, когда их тень падает в гроб, который заколачивают. Я отстранился, но ван Орин, приблизившись, зашептал:

– Зачем искать ответы на неразрешимые вопросы? Зачем причинять себе боль? – Его ладонь очертила полукруг. – А город дарит успокоение. Наши поэты сочиняют стихи, варьируя размер так, что концы строк рисуют различные предметы: яйца, топоры, крылья бабочек, профили почтенных граждан. Наши астрологи составляют гороскопы на мельницы, полевых мышей и прошедшие месяцы. Наши учёные считают комбинации, в которые могут сложиться буквы всех известных языков или количество капель вчерашнего дождя...

– А чем занимаешься ты?

– Искусством составления палиндромов.

Я отложил кальян. За дверью, опустившись на камень, я охватил голову руками. О, злой рок! Прodelать путь длиной в жизнь только затем, чтобы всё свелось к нелепой шутке! Остаток дней опьяняться искусствами Города? Впасть в забытьё? О, нет! Пора возвращаться из затянувшейся ссылки!..

Недавно мне сообщили, что степняки обратили Фессалоники в пепел, но известие не опечалило меня. Я узнал также, что император по-прежнему благоволит ко мне. Но остался безразличным. Вот уже двадцать три года я живу в Городе. Выводя последнюю фразу, я подумал, что всё ещё не забыл о времени. Я принадлежу к цеху составителей палиндромов, к школе Ван Орина. И недавно поразил учителя – или он только сделал вид? – открытием самого короткого палиндрома: «Я».

ПОВТОРНЫЕ ПРОБЫ

«Чёрт побери, – сплюнул Ерофей Цвет, – у них даже мёртвые пляшут!»

И, запахнувшись плащом, шагнул в ночь.

Неделя терялась в буднях. Редактор Анатас Трещ остался в сером зарешечённом здании, а Ерофея хлестал дождь.

Их разговор не шёл у него из головы.

– Обществу нужна встряска, – оторвавшись от бумажки, потёр шеф волчьей, без мочек, уши, в которых висела паутина. – Пора смыть грязь и взглянуть на родимые пятна! – Он жевал ус, глотая каждое второе слово, зато оставшиеся отличала двойная сила. – Пора вынуть зеркало, пусть увидят свои пороки...

«И чего крутит? – глядел Ерофей в глаза, потухшие, казалось, до рождения. – Скажи прямо: нужен козёл отпущения».

Редактор отстукивал на подлокотнике военный марш, выплёвывая слова, как косточки.

– Чтобы бомба не превратилась в хлопушку, нужна фигура вроде Дорофея Ветца.

Ерофей вздрогнул.

– Конечно, мёртвые никому не интересны, – ухмыльнулся редактор. – Однако...

Он оборвал на полуслове, но Ерофей заметил, как

жадно блеснули потухшие глаза.

«Значит, ему нужен Ветц...»

– Кандидатура за мной?

Вместо ответа редактор склонился над бумагами, и прежде, чем захлопнуть дверь, Ерофей разглядел, что он играет в «крестики-нолики».

Это было в среду.

А в четверг Ерофей топтался на лестничной клетке перед табличкой «Лилит Ветц». На третий звонок открыла женщина.

– Я собираю материал, – сказал он, думая о том, как ломаются фотовспышки, освещая её грудь. – О Дорофее.

Женщина медленно ввернула «шпильки» в пол и поплыла по коридору, предоставляя ему самому закрыть дверь. Снаружи или изнутри. Ерофей выбрал второе.

– Мне очень неловко, – бормотал он на ходу, – но я должен узнать подробности...

И смущённо смолк.

– Так ты хочешь устроить вечер воспоминаний? – помогла она, сразу перейдя на «ты». Зацепив ногой табурет, она расчёсывалась перед зеркалом, и её волосы падали так же лениво, как и слова. – Нас познакомил Никодим...

У Никодима Ртова Ерофей побывал ещё утром. От продюсера за версту пахло деньгами, и он вышагивал так, будто нёс на подносе свои грехи. Ерофея он принял неожиданно тепло, долго говорил о журналистике, потирая, будто под краном, жирные ладони. «Телевидение – это свобода моего слова и твоего уха!» – трясся он всем телом, но было видно, что ему не смешно.

А под конец, смерив Ерофея взглядом, дал адрес Лилит.

– Никодим предложил мне участвовать в его передаче,

– вскользь обронил Ерофей, вспоминая, как, прощаясь, продюсер хлопал его по плечу. – Вместо Дорофея...

Этого говорить не стоило, но Ерофей не удержался. Он выложил диктофон, который, однако, не решился включить.

– И когда пробы?

– Завтра.

– Ну что же, ты создан для телевидения, старый волк это сразу почуял.

И, отложив гребень, выдвинула ящик.

– Травки?

Комната была небольшой и быстро наполнилась дымом.

– Как тогда... – протянула сигарету Лилит.

У неё навернулись слезы. Однако на соломенную вдову она была не похожа.

– Ещё?

– Разломи пополам.

А через полчаса слова стали лишними.

– Я простой репортёр, – пробубнил Ерофей, уставившись на ненужный диктофон.

Она прикрыла ему рот ладонью:

– Ты останешься?

А в пятницу Ерофея брали в оборот.

– Держись раскованно, – поучал в гримёрной Никодим, – публике нужны не мысли, а настроение.

И кадры замелькали, как в немом синематографе. Сменяя друг друга, они налезали краями, будто неумело склеенные. Но Ерофей радовался, как мальчишка. Попасть в мир Ветца, прожить кусок его жизни! Ерофей осторожно наводил о нём справки, но вокруг разводили руками. Разговорчивее других оказалась гримёрша.

«Истина, как жар-птица, – выщипывая ему брови, шепнула она. – Ухватишь – не будешь рад!»

А сразу после дебюта в «мобильном» раздался насмешливый голос:

– Значит, всё-таки Ветц. Ну-ну..

Слова извлекались из молчания, как яйцо из бульона.

– Впрочем, живые никогда не виноваты.

Ерофей нервно отчеканил:

– Но, похоже, он чист.

На том конце хрипло рассмеялись:

– Свято место доходным не бывает!

Последовала пауза, будто редактор выбирал нужную клетку, которую перечёркивал крестом. А когда Ерофей собрался дать отбой, пролаял:

– Копайте, копайте, за каждым что-нибудь есть!

Пятница всё не кончалась.

– Есть золотое правило, – тараторил Никодим, – важно не какой ты, а каким тебя хотят видеть.

Они сидели за бутылкой коньяка, сливаясь капельками ртути.

– Ветц соблюдал его свято. А какой ты на самом деле, даже мать родная не знает.

– Это точно, – подставив стул, вклинился оператор.

– Знают разве там, – и, закатив глаза, ткнул пальцем в потолок.

– Так мы и сами боги, – усмехнулся Никодим. – Господь кормил обещаниями, а мы – телевизионными грёзами.

Оператор заржал.

Время тянулось, как похоронная процессия. Ерофей всё чаще говорил «да», когда думал «нет», и открывал рот, словно под фонограмму.

Выпили «расходную».

– Завтра пиарим Николая Николаевича.

– А кто это?

– Тот, кто платит.

Так вспыхнула потухшая «звезда», так воскрес Дорофей Ветц. Ерофей влез в его пижаму, носил его тапочки и читал дневники, которые принесла Лилит.

«Память, как одеяло, каждый тянет на себя, – листал он мелко исписанную тетрадь. – Мой прадед был князем, и грязные рубашки посылал с фельдъегерской почтой в Голландию, считая, что в России их так не выстирают. Он отличался самодурством, однако семейные хроники изображали его благодетелем. А его сын, лишённый наследства, в отместку бросал бомбы в царских чиновников. Он сгинул на каторге, войдя в революционные летописи.

Истории на всех не хватает. И её присваивает власть, превращая в цербера своего ада».

Дорофей открывался с неожиданной стороны.

«Такие долго не живут, – подумал Цвет.

И эта мысль прозвучала, как предостережение.

Николай Николаевич оказался улыбчивым. Он обещал исправить мир, как не сумели тысячи лет до него. Если, конечно, его изберут. Он готов был говорить до второго пришествия, но Никодим дал отмашку.

Рассчитывались в ресторане.

– Вы же профессионалы, – льстил Николай Николаевич, – сделаете – не обижу.

– Не сомневайтесь, – успокоил Никодим, пересчитывая купюры.

А когда остались с Ерофеем вдвоём, «отслюнявил» половину:

– За такие «бабки» нужно, чтобы ему все поверили.

– Но я сам не верю.

Взгляд Ртова потяжелел:

– А ты и не Станиславский! Тебе семеро в затылок дышат! А деньги надо больше себя любить. Это в книгах Мефистофель только и ждёт, чтобы душу заложили, в жизни его ещё поискать надо.

Суббота всё не кончалась. Ерофей уже устал от рукопожатий, в глазах рябило от новых знакомств. Ему звонили, представляясь, заискивали.

– Плох тот солдат, который не мечтает стать «дембелем!» – Анатас Трёч не представлялся, за него это делал хриплый голос. – А как наше расследование?

– Ничего любопытного.

– Я же говорил, мёртвые никому не интересны. – Ерофей почувствовал на горле железные пальцы. – Но вы захотели реанимировать труп. Что же, как говорится, взялся за гуж – полезай в кузов!

– Перевернуть пословицы и попугай может! – заорал Ерофей.

Но прежде услышал гудки.

«Милый, ты такой талантливый!» – ворковала вечером Лилит. – А этот Николай Николаевич просто душка... По-знакомишь?» «Зачем быть такой пошлой!» – едва не закричал он. Но, кивнув, отправился к дневникам Дорофея.

СКАЗКА ПРО ГОЛОГО КОРОЛЯ

– А король-то голый! – закричал ребёнок, указывая на выступающую процессию.

И вокруг него тотчас образовалась пустота.

– Негодяй! – ущипнула его какая-то женщина.

И заткнула уши. А минутой спустя портные, шившие королю воздушное платье, накинули ему платок на роток и отвели за угол.

– Чего орёшь! – прижали они. – Думаешь, все слепые?

И мальчик прозрел.

– Я, я... – пролепетал он. – Я хочу предложить беруши из лапши!

С тех пор он работает на телевидении, превращая зрителей в голого короля.

«Жизнь, как платье на манекенщице, – подумал Ерофей, переворачивая страницу, – примеряют одну, а носят другую».

А телевидение не переставало удивлять.

«Разумное, доброе, вечное в семье будете сеять, а мне подавай “мыло”! – покрикивал Никодим. – Иначе самим шею намылю!»

«Лучше себе верёвку!» – отворачивался Ерофей и угрюмо тащился в гримёрную.

– Раньше мир стоял на двух ногах, а на одной далеко не ускачет! – грозил пальцем осколок имперской эпохи. От него несло нафталином, и он предрекал последние времена.

– Любопытное сравнение, – иронично улыбался Ерофей.

И пускал рекламу.

Он чувствовал себя винтиком огромной газонокосилки, которая не оставляла после себя сорняков.

Но за коньяком бунтовал:

– Это же деградация!

– Зато всем понятно, – ковырял зубочисткой Ртов.

Ерофея передёрнуло. Но его отражение в зеркале согласно кивнуло.

– И Дорофей так думал? – пытался он вывести разговор на Ветца.

– Ложь красива, а правда уродлива, – гнул своё Никодим. – Поэтому ложь на виду, а правда – в чулане. Как говорил Ветц: «Ложь всесильна, а правда не может постоять и за себя».

Не густо. Трёча сентенциями не накормишь.

– Эпоха диктует вкусы, а художник выполняет заказ, – умничал в передаче модный писатель, сложив руки на животе. – Я пишу намеренно просто, чтобы быть понятным и ребёнку.

– Оттого ваши романы похожи на комиксы?

Руки с живота мгновенно взлетели, удивление на лице сменила злоба.

– Зря ты с ним связался, – остерегла вечером Лилит, – он из «могучей кучки».

Ерофей и сам чувствовал, что допустил промах. Плевать! К тому же Никодим остался доволен. «Как ты его поддел! – заржал он. – Скандал рейтингу как кобыла жеребцу! А за себя не бойся, все же понимают, что это – работа, а на работе ничего личного».

Однако неприятности обнаружились скоро, и за ними проглядывалась рука «могучей кучки».

– Своих в обиду не дают, – листая газеты, удовлетворённо кивал Никодим, точно находил подтверждение своим взглядам на мир.

– И что теперь?

Ерофей уже раскаивался в своей смелости.

– Мелкая грызня разрешается, – похлопал он по плечу. – Иначе зритель закиснет...

По дороге Ерофей попал в «пробку». Лил дождь, «дворники» убирали ручьи со стекла. «Значит, такой порядок, – барабанил он пальцами по рулю, – можно бороться с кем угодно, разоблачая всех, можно выдавать любые секреты, кроме одного, что все – за одно».

«– Надоело, – признался я Ртову. – Унижаемся перед кем попало.

– Так весь мир зад лижет, – рассыпался он коротким смехом. – Кто за рубли, кто за баксы. В наши дни единственный порок – бедность», – успел выхватить Ерофей из дневников Ветца, когда заехал за Лилит. Приглашал Николай Николаевич, и отказ исключался.

Воскресенье казалось бесконечным. Время точно провалилось внутрь себя и тащило за собой, как сползающая скатерть, в бездонную яму. Вечеринка была в разгаре. Был Ртов и какие то «нужные» люди. Пили за здоровье хозяина, праздновали его победу на выборах.

– Закон один, – проповедовал Никодим, помахивая рюмкой, как кадиллом, – «Возлюби деньги больше себя!» И равный ему: «Возлюби деньги ближнего, как собственные!»

Он едва сдерживал смех и, призывая к тишине, стучал вилкой по стеклу.

– Деньги – божье наказание, – покачал головой один из «нужных». – С ними забот не оберёшься.

И разгладил усы, под которыми прятал заячью губу.

А Лилит отчаянно кокетничала, возвращаясь из дамской комнаты с напудренным носом.

«Кокаин», – догадался Ерофей.

Он смотрел по сторонам и думал, что Бог и дьявол давно ударили по рукам, и с тех пор «проклятым»

вопросом стало: «сколько?», а мироустройство свелось к таблице умножения.

А Николай Николаевич оказался ценителем старины.

– Автомобилям предпочитаю кабриолеты, – с гордостью показывал он картины импрессионистов. – Раньше народ простодушнее был, оттого и в искусстве смыслил больше.

Никто не перечил, и только Никодим, уловив момент, прошептал:

– Из грязи в князи...

«Смотрю на Ртова: родную мать продаст! Особая порода! Как летучие мыши, такие рождаются со знанием цели, повадки и нюх заменяют им ум. Других они воспринимают как вызов, и точно злые колдуны превращают в свою тень, заставляя жить, как они, думать, как они, и, как они, предавать».

А ночью Ерофей кусал подушку.

– Ищите, ищите! – подгонял редактор. – Факты, фактики, фактишки... Жизнь не прыжки через скакалку – каждый успевает наследить.

– Но за мной ничего нет!

– А я говорю, есть! – ударил себя в грудь редактор. – Не будь я – Анатас Трёч!

И Ерофей проснулся от собственного крика.

– Не бойся, – поцеловала Лилит, – на понедельник сны не сбываются.

Никодим не ошибся: в работе ничего личного. И модный писатель сидел за круглым столом уже в понедельник.

– Искусство вечно, – вздыхал он, сложив руки на

животе. – Умерли его ценители.

– Искусство и жизнь говорят на разных языках, – кивали ему. – Искусство учит – жизнь переучивает.

Ерофей не вмешивался. А после, обмывая мировую, закусывали коньяк лимоном и говорили каждый о своём.

– Николая Николаевича трэба опустить, – как бы между прочим объявил Никодим, когда писатели разбрелись. – Слишком много на себя берёт.

Ерофей мгновенно протрезвел.

– Ну что смотришь! – окрысился Ртов. – Ветер переменялся, а мы люди маленькие.

– Ничего личного, – икнул оператор.

«*Церберы чужого ада*», – вспомнилось Ерофею. Однако такой поворот его не устраивал – говорить Николаю Николаевичу гадости придётся ему.

– А зрители?

– А что зрители?

И Ерофей осёкся.

– Так что завтра Николая Николаевича...

Ртов провёл по горлу ребром ладони.

– А Ветц? Он тоже так делал?

На расплывшемся лице залегла складка.

– Так делают все!

Их будто подслушивали.

– Ну, как дела? – донёсся из телефона хриплый голос.

Ерофей заслонил трубку ладонью:

– Появились намётки

– Намёки на что?

«На моё увольнение!» – едва не заорал Ерофей, но положенная трубка не подразумевала ответ.

А утром во вторник, ёрзая под юпитерами, Николай

Николаевич скрежетал зубами. И посреди эфира, не выдержав, вскочил: «Я скоро вернусь!»

И Ерофей долго сидел, закрывшись руками.

«Да тобой можно детей пугать, – ободрил Ртов. – “Вот придёт Ерофей, всем навесит фонарей!”»

Ерофей промолчал. И вынул дневник Ветца, который носил как Библию.

«На земле всегда время негодяев».

Вторник оказался длинным, как список грехов. И также предполагал расплату. Уже через пару часов вокруг забегали, точно какая-то новость, которую пока ещё боялись произнести вслух, всполошила муравейник.

А на Никодиме лица не было.

– Кто же мог знать... – бормотал он. – Кто же мог знать...

– Да что стряслось? – не выдержал Ерофей.

– Николай Николаевич покупает наш канал!

Никодим стоял бледный, от бывлой развязности не осталось и следа.

– А как же «ничего личного»?

В голосе Ерофея звучала надежда.

– Какой там! – обрубил Ртов. – Он жаждет крови.

У Ерофея заломили виски.

– И что же делать?

Ртов посмотрел пристально.

– Искупать вину, – он замялся. – Ему понравилась Лилит..

Кровь бросилась в лицо Ерофею, он сжал кулаки.

– Ах, какие мы благородные! – отступив на шаг, скривился Никодим. – Это Ртов – грязный сводник. А когда адрес у меня брал, о её прошлом не спрашивал...

Ерофей замахнулся.

– Не пугай! – заорал Ртов. – Баб нет!

И пощёчина повисла в воздухе.

– Впрочем, тебе решать, либо честь, либо передача.

Ерофей упёр подбородок в шею, и на месте лица у него оказалась макушка.

– Вот и хорошо, – закудаhtал Ртов. – Николай Николаевич на многом не настаивает – только один раз. Нужно её с бумагами послать. А Лилит – женщина умная, даже тебе ничего не расскажет...

В ушах у Ерофея зазвенело, будто пропел петух.

Календарь вывернули наизнанку: опять была среда, седьмой день его славы. Всю ночь, ожидая Лилит, Ерофей читал дневники Ветца.

«Жил – крутился, а прожил – будто сигарету выкурил. Кто заставлял меня рыться в грязном белье? Кто вынуждал из сплетен делать профессию? Ведь сплетни, как клопы, безобидны только в чужой постели. А теперь я устал, и дни мои, как разбитое корыто, в котором не отстирать прошлого.

Отчего рождаешься среди ангелов, а умираешь среди бесов?»

Позвонил Анатас Трѐч.

– Похоже, вам не до расследования?

Ерофей промолчал.

– А может, пора собственные грешки пришивать к делу?

Казалось, он ещё больше охрип от язвительности.

– Чем выше забрался, тем больше плакать. А, «звезда»?

– Шестёрка в чужой колоде! – взорвался Ерофей. – Под кем ходишь?

– Как и все, – на удивление спокойно ответил редактор. – Под Богом.

«А Суда над нами не будет, загробная жизнь продлит земную: кто жил, как в раю, попадёт в рай, кто, как в аду, – в ад.

Поэтому блаженны алчные, ибо возлюбили они деньги больше себя!

Счастливы лицемеры, ибо нашли спасение во лжи!

Благословенны несведущие: они искали козла отпущения, пока за спиной у них точили ножи!

А молиться сегодня нужно так:

“Пусть утешатся властители, ибо небесный мир, как и этот – их, и останутся в нём первые первыми, а последние последними!

Пусть обретут венки искусители, когда взойдут на амвон пастырей!

Пусть насытятся прозорливые неверием, а у верующих да не отнимется слепая вера их!

Ибо время всех прогонит грязной метлой”».

Лилит не вернулась. И не позвонила.

И к утру Ерофей догадался, что его оставили в дураках. Если не Ртов, то Николай Николаевич, набирая очки, открыл ей глаза. Пасьянс сходился: Николай Николаевич получил Лилит, Лилит – влиятельного любовника, а Ртов, выслужившийся за чужой счёт, остался на канале и уже подыскивает нового ведущего.

Не попадая в рукава, Ерофей стал одевать пальто.

Моросил дождь, у парадной Николая Николаевича дежурил охранник.

– Вам назначено? – закрыл он дорогу.

– Не узнаёшь? – проснулась в Ерофее «звезда».

– Чай, не Богородица.

Но, оскалившись, пропустил. Ерофею показалось,

что охранник догадывается, зачем он идёт, и теперь, когда он птицей взлетает по лестнице, одобрительно смотрит в спину. Под дверью он высморкался и, нащупав в кармане пистолет, решительно утопил звонок.

Его разбудил телефон.

«Ах, какие вы все скоты... – всхлипывала Лилит. – Холуи продажные...»

И Ерофей долго слушал гудки.

День выдался пасмурным, когда небо не выпускает реальность, подменяя её воспоминаниями. И Ерофей сводил их концы, выстраивая линию, разделившую жизнь. Однако всплывшие картины ложились по одну её сторону, точно карты, которые метал шулер. Ерофей раз за разом прокручивал события последних дней, и вдруг увидел, что сценарий шит белыми нитками. Он вспомнил, как неестественно быстро приняли его в свой круг, как Лилит при первой встрече не спросила его имени.

Истина, как жар-птица, ухватишь – не будешь рад.

Он быстро набрал номер. «Ну, что, голубчик, из грязи – в князи? – взяв трубку, опередили его. – Поверь, ничего личного, но я тебя уничтожу!» Николай Николаевич был весел. Лилит была рядом, и он играл на неё. И был обязан сдержать слово.

А Ерофей подумал, что лестница в небо оказалась дорогой в ад.

Как и неделю назад, лил дождь, и серое здание встретило его решётками. Он толкнул дверь к редактору, кабинет был пуст, и сквозняк задрал на столе бумагу, придавленную пистолетом. «От суммы и тюрьмы на заре кайся!» – издевались буквы, как заключённые, теснясь в клетках. И Ерофей истерично расхохотался. Это была идея Трёча? Или предвыборный ход Николая

Николаевича? Сделать кумира, чтобы потом превратить в козла отпущения! Ерофей представил процесс, на котором обличат закатившуюся «звезду». Люди от таких без ума. «Конечно, живые не виноваты, – вспомнил он ухмылку редактора, – но мёртвые никому не интересны».

Ерофей взял пистолет. *«Будто сигарету выкурил»*, – вспомнилось ему. Грязная, сырая комната, с умывальником в углу. Смерть всё преобразит, подумал он, живут среди бесов, умирают среди ангелов. И, зажмурившись, выстрелил, будто щёлкнул каблуками. Запахло гарью, стукнула о пол гильза. Но комната не исчезла, а в углу по-прежнему капал умывальник. И тут Ерофей с ужасом увидел, как кровь сворачивалась на полу в конфетти, как, поплыв театральной бутафорией, раздвинулись стены, увидел стол, за которым редактор ставил в клеточку крестик, зачёркивая его прошлое.

– Не трудись, – почесал он щёку кривым ногтём. – Ты уже раз это сделал.

Ерофей заметил очередной нолик, округливший его жизнь до смерти.

– Тебя давно нет, даже имя твоё – дешёвая анаграмма, – выплёвывал слова редактор. – Но память длиннее жизни, и в ней возможны повторные пробы. И даже главная роль. В спектакле для одного зрителя.

– Зрителя? – эхом отозвался Ерофей.

– Ну да, – впился кошачьим зрачком Трёч. – Для тебя.

– Но зачем?

– Затем, что впереди у тебя Суд.

На стол легла бумага. Ерофей догадался, что это – приговор. Анатас Трёч медленно расписался печатными

буквами – справа налево, точно в подставленном зеркале.

За плечами у Ерофея выросли конвоиры.

– Выходит, ты сам на себя компромат достал! – подмигнул похожий на Ртова.

Другой, вылитый Николай Николаевич, тронув спину холодной рукой, глухо пролаял:

– С возвращением, Дорофей Ветц!

НЕВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕКА УОРФИЛДА

Эта книга попала ко мне без обложки, унесшей имя её автора.

Действие в ней разворачивается параллельно в трёх временах и на двух континентах. Современному писателю детективного жанра попадается статья, опубликованная в «Nature» за 1916, в разгар войны. Это комментарии некоего Нормана к тексту восемнадцатого столетия, содержащие фрагменты утраченного ныне оригинала. Из них писатель узнаёт, что обнаруженная Норманом в архивах мореходной компании рукопись принадлежит перу Джека Уорфилда, наиболее деятельного президента «Уорфилд и Ко», и относится к периоду его экспедиции в сельву верхней Амазонки. Его необычное сообщение, как передает Норман, адресовано отцу. Разоблачения Нормана, уверяющего, что послание не более чем «сказка бочки», как выражались в эпоху парусников просоленные моряки, вызывают у писателя сомнения, приведённые доводы кажутся ему неубедительными. Таинственные события, произошедшие на Амазонке двести лет назад, изумляют его, и он решает на собственное расследование. Его источники – это старый журнал, семейные хроники Уорфилдов и биография Нормана. Используя их, он собирается

воссоздать утерянный текст и выдвинуть иную версию, пока лишь смутно угадываемую.

Таково содержание первой главы романа, к концу которой читатель понимает, что писатель – и есть автор лежащей перед ним книги, а рассказанная история – это история замысла. Вторая глава представляет собой отступление, в котором выдержки из истории дома Уорфилдов составляют психологический портрет героя, жившего в восемнадцатом столетии. Почти физическое неприятие юным Уорфилдом прагматизма, его упрямое нежелание занять со временем пост президента и ряд других симптомов интерпретируются автором как проявление психастении. Постепенно он убеждается, что протагонист был скован страхом действия, типичным признаком меланхолии, усилившейся после неудачной помолвки, которую расторгло вмешательство отца. Конфликт вспыхнул приблизительно за месяц до поспешного отплытия в Америку.

Отправляя сына в рискованное путешествие, рассуждает автор, старший Уорфилд надеялся трудностями исцелить его меланхолию. Плавание не имело коммерческих целей, как утверждает Норман. Быстрое же согласие героя, его удивительная покорность расценивается как бегство, и вот уже фрегат, принявший на борт Джека Уорфилда, выходит из дуврских доков.

Дальнейшее повествование облечено в форму полемики с Норманном, сквозь призму которой просматриваются события в рукописи Уорфилда. Началом им послужило столкновение с индейцем среди алых цветов ватника и гибких лиан из-за шафранового тукана, сражённого одновременно пулей и стрелой из духовой трубки. Охвативший Уорфилда испуг исчезает после неожиданной фразы: «Успокойся, англичанин, ружьё

тебя не подведёт!» Он пробует обратиться к туземцу на английском, французском и языке тупи, но тот хранит молчание. Вдоль русла реки он следует за ним вглубь джунглей, и его путешествие растягивается на недели. «Достаточно взглянуть на карту, чтобы убедиться: маршрут “от устья Жауари вверх, через территории кровожадных мажерона”, по которому шёл сэр Уорфилд, составляет сотни миль. Почему бы ему в таком случае не достичь Луны?» Этот отрывок иллюстрирует стиль романа: внутренние кавычки цитируют Уорфилда у Нормана, а внешние – самого Нормана. «Ложь слишком нарочита, – опровергает Нормана следующий абзац, – и намекает на бессмысленность поисков».

Невозмутимость туземца, тотем змеи, отмечающий его принадлежность к дремучим каннибальским племенам, и, наконец, открывшаяся взору деревня у подножия глинистого плато служат прологом к основной теме – теме Лэзидримслэнда – утопической общины, куда попадает герой. Название придумано Уорфилдом в первые дни пребывания и, по его признанию, не совсем удачно. Обитатели деревни описаны им как ещё один латиноамериканский *naturvolk**. Уорфилд рисует жизнь иеху, причём их быт выглядит утрировано даже на фоне свифтовских персонажей. Лишённые зачатков иерархии, они представляются первобытнее самой первобытности. Но они – иеху добровольные, или дикари от разума. Анархия как выражение индивидуализма, отказ от объединяющей символики как первого шага, ведущего к ужасам государственности, сведение к минимуму общения, забвение слов, разрушающих внутренний мир, признание языка инструментом

* Первобытный народ (нем.)

манипуляции, что, в частности, приводит к его отмиранию, табу на претворение любых изысканий, необратимо вызывающих и негативные последствия, – всё это статьи местной конституции. Развитие уподоблено ею серии шахматных цугцвангов, позиций, когда любой ход ухудшает положение. Лезидримслэндцы уверены, что эволюция кончается крахом, избежать которого можно лишь застыв на примитивной стадии, – устраняясь, не вмешиваясь, созерцая. Это перекликается с восточными воззрениями, но здесь искусственный запрет на деятельность породил головокружительный феномен: третье, пограничное сну и яви, состояние психики. Рождение гигантской коллективной галлюцинации избавило лэзидримслэндцев от деградации. Усилиями поколений в этой эфемерной бездне создан мир бесплотных образов, в отличие от снов и реальности, управляемых. Боги, создавшие себе подобных, сотворившие слепки, копии, призрачные игрушки, над которыми ставятся социальные, технические и прочие эксперименты, они застрахованы от выбора, не разделяя нашей трагедии. «Мы существуем лишь в одном из вариантов будущего, – поясняет Уорфилд, – они – во всех сразу». И далее: «Их способность возвращать события – это победа над временем».

Боль прогресса оторвана от бытия и перенесена в гипнотическую даль. Революции, войны и другие общественные катаклизмы, кардинально меняющие облик их «третьего» мира, не затрагивают размеренную жизнь общины. Только иногда посреди стрёкота цикад и пения колибри вспыхнет вдруг пальма, как отголосок неудачного сценария: гибели «третьего» мира в атомном кошмаре. Или ни с того ни с сего в чьём-нибудь доме появляются железные сигарообразные предметы,

начинённые смертью. Уорфилд пишет, что его новые сограждане «препятствуют подобным метаморфозам: возникающие предметы безжалостно ими уничтожаются».

«Это мы, как слепые, бредём наугад, покорные случаю, который зовём Судьбой, – рассуждает Уорфилд. – Обречённые на вечное перепутье, мы сознаём не столько свою ответственность, сколько бессилие, потому что не видим ни настоящего, ни будущего, а только прошлое, и это – цепь ошибок. Обстоятельства гонят нас по колее, с которой уже не свернуть, и нам остаётся верить, что впереди пьедестал, а не пропасть. Они же, страшась капризов будущего, гарантируют его, они топчутся на месте и одновременно движутся во всех направлениях».

На заре общины появилась ересь, посягавшая на принцип непретворения. В ней утверждалось, что цивилизация не всегда тупик, что социальные идеи должны выливаться в переустройство колонии, а технические – облегчать борьбу за выживание. Но ересь не привилась, а её приверженцы, согласно преданию, откочевали на запад. Уж не их ли потомки, иронизирует Уорфилд, встретились там с мечами конкистадоров?

Таким образом, Лэзидримслэнд не уставшая, закатная цивилизация, но цивилизация, избравшая совершенно иной путь, на котором нет места тараканьим бегам прогресса. Если мы только ждём совершенства, то для Лэзидримслэнда оно уже наступило. Вот почему его затерянный рай Уорфилд называет родиной своей души, вот чем объясняет он решение навсегда проститься с меловыми берегами Англии. «Я всегда чувствовал свою неприспособленность к нашим узаконенным джунглям и проклинал роковую ошибку, в

результате которой там оказался. Хвала providению, направившему меня сюда! Здесь я познал счастье...»

Такова парафраза третьей и четвёртой глав романа, где автор, опровергая мнение Нормана, считает рукопись Уорфилда документом, подтверждающим существование Лэзидримслэнда.

Однако Джек Уорфилд вернулся – и это *ultima ratio** Нормана, – женился на богатой аристократке и добился репутации самого энергичного президента Компании. Именно он заключал выгодные сделки, получая подряды у Питта, именно его корабли торжествовали при Абукире. Быть может, ему, наконец, открылась звериная красота Необходимости? Быть может, он полюбил действительность, где ошибаются только раз?

И тут автор в духе средневековых мистиков выдвигает версию о раздвоении Уорфилда. Действительно, если он, как следует из его признания, решил остаться в Америке, то какой смысл в рукописи? Кто доставит её в Англию? Значит, ему было очевидно, что её вручит другой Уорфилд, его двойник. Интересно, каким объяснением он сопроводил её? Быть может, назвал фантазией, посещавшей его в каюте долгими атлантическими ночами. Судьба же настоящего Уорфилда остаётся загадкой.

Хотя кто из них настоящий?

Ещё одним подтверждением своей версии автор считает исчезновение Нормана после выхода статьи. Последний раз его видели в Макапа, в устье Амазонки, далее следы теряются.

В эпилоге писатель также проявляет желание бросить всё и отправиться на розыски утопической

* Последний довод (лат.)

колонии, и читатель понимает, что речь в романе шла не о трёх героях, а об одном, уставшем маршировать вместе с остальным человечеством и с тех пор бредущем в одиночестве сквозь толщу времени, путаясь в лабиринтах злого, искривлённого пространства.

СТЕНА ОТ ОДИНОЧЕСТВА

Хочется жить другим, – промычал я, чтобы не молчать.

– А мне просто хочется жить!

Перед ним стояла тарелка с крупной смородиной, и, накальывая по яголке, он ел с ножа.

– Любить жизнь может только наивный.

– Это у меня от отца. «Как себя чувствуете?» – склонился над ним врач. «Отлично!» – улыбнулся он. И умер. Зато мать уже восьмой десяток при смерти.

Он ухмыльнулся.

– Не любишь её?

– Крысу?

– Крысу?!

– Конечно, изворотливая, гадкая, а чуть в угол – укусит. И злоба торчит, как иглы дикобраза.

– У меня дед был такой. Даст подзатыльник, а сам ржёт: «Тяжело в ученье – легко в мученье!» А мать говорила, это от большой любви.

Нас разделял стол, на засаленной скатерти передо мной чернела смородина. Я повертел в руках нож, тронул лезвие. Подняв глаза, он сосредоточился на моей переносице:

– В Крысе меня с университета всё раздражало – и выцветший фартук, и зализанные назад волосы, и

нарочитая ласковость. Интегралы считаю, а сам мечтаю ей зубы пересчитать.

Я положил в рот ягодку.

– Ну да, ты же математик.

– Поневоле. Из-под палки учился, чуть дверь скрипнет, в комок сжимался: «Ну всё, выход Марины из-под перины!» А наградой – клубничное варенье, будто нужны мне совместные чаепития! Видеть слащавую улыбку, всезнайство, глаза без тени сомнения!

– Да, детство не прощает. Может, и дед мой озлобился, что сирота? Прадеда-то Первая Мировая ранила, Вторая – добила. Перед атакой он нацарапал на клочке бумаги, что видел сон, как тот снаряд опять разорвался и его опять осколками посекло... Письмо с похоронкой прислали.

– Детство все обиды помнит. А толку? Я сколько себе зарок давал – буду со своими детьми искренним, воспитывать буду, опытом делиться. А сыну мой опыт – как козе баян! Выходит, и впрямь между поколениями пропасть?

Я пожал плечами.

Опускались сумерки, вылетавшие из камина искры зарывались в ковёр, как светляки.

Вдруг он впился глазами:

– Только говорится, что каждый по-своему с ума сходит, а выбор-то не богат. Вот ты с собой разговариваешь?

– Бывает.

– А я постоянно. Думаешь, пора к психиатру?

– В нашем возрасте каждый сам себе психиатр. Все возводят стену от одиночества. А кирпичи старые, проверенные – тапочки, телевизор...

– И такая от всего хандра хандрющая – хоть в петлю!

– А Лида?

– Ну да. Только её Крыса тоже изводит: «Где ваша гордость, милочка? Вы во всём с мужем соглашаетесь!» У Лиды слёзы: «Марина Николаевна, пожалуйста, оставьте нас в покое!» Но крысам плохо, когда другим хорошо. Она и из отца всю кровь высосала.

Он подцепил очередную ягодку.

Я тоже.

– Крыса за порог – мы оживляемся, точно мыши.

Я рассмеялся:

– Крысы и в подвалах прежде всего мышей пожирают.

Замолчали, дыша в унисон.

– А случись что со мной? Крыса дом перепишет, бывшая моя подключится... А Лиде куда? Нет, нельзя мне на свете Крысу одну оставлять. Выпьём?

Появилась бутылка, мы со звоном чокнулись.

– Значит, решил её вперёд отправить? Не боишься, что наследства лишат?

– Ну, если всё по-тихому обставить...

Камин догорал, замигали тени.

– Отравить?

– Ага! Так в голове и крутится: «А сырку?» А про себя: «У, крыса!» Она удивится: «Он дал?» А я: «Ладно». Она уже со страхом: «Он дальше?» А я: «Ешь, ладно!» Переворачиваю задом наперёд. Герой! В уме переиначиваю, а всё равно по её получается.

– Это как?

– А вроде: «Укуси суку!»

Я покрутил у виска.

Он ответил тем же.

И оба расхохотались.

Бутылка пустела. Плеснули в рюмки, каждый себе.

– Я из-за Крысы всю жизнь дома просидел. Она мне в детстве будто глаза выколола, чтобы по сторонам не глядел. Осколком зеркала. Слепому как узнать про её ледяное сердце?

– А я переменял множество мест и, как улитка дом, повсюду таскал образ жизни. От забегаловок вон язвучажил...

– Худых женщины больше любят.

– Поэтому жёны – меньше.

Скривившись, он тронул живот.

– Ты, верно, рос уличным. А в меня Крыса всё до крошки впахивала: «Доедай, у меня свиней нет!» А меня, интересно, за кого держала? И главную теорему, которую давно вывела, скрывала.

– Какую ещё?

– Про футбол. Что на свете все только и думают, как сыграть в него твоей головой. Знала, а таила. Нет, раздавить крысу – не преступление.

Сердито надувшись, он стал похож на бумажного тигра.

– А юность? Помню, функции Бесселя изучаешь, а у самого одна функция...

– Бес селя?

– Точно. Как в стихотворении: «Весна мне душу веселя, любви подпишет векселя!» А Крыса стережёт, из дома ни шагу. Она и жену первую подыскала, а та сразу после свадьбы залепила: «Муж с женой одна дробь, и, чтобы была правильной, я буду сверху!»

Он подмигнул левым глазом. Я – правым.

– А меня жена постоянно в пустые хлопоты втягивала...

– Меня тоже, а когда на диване заставала, шутила: «Посмотри, сыночек, на папашу – сарделька в тесте!»

А сама дура-дурой! Раз у нас деньги кончились, так по-тащила в казино выигрывать. И всё в одну ставку бухнула.

– Выиграла?

– Ну, выиграла.

– Выходит, умён не тот, кто знает истину, а кто упорствует в заблуждении?

Он кивнул.

– А за жену я, признаться, и сам цеплялся – от одиночества.

– Стена?

– Стена.

Опрокинув рюмку, он отвёл глаза. В углу под потолком свисала паутина, зеленела штукатурка, и в её разводах я увидел летний сад с кустами смородины, мальчика с книгой и гладко причёсанную молодую женщину в гамаке.

Он тихо запел:

– Баю-баюшки-баю, не ложися на краю, тёти там и дяди – сволочи и бляди...

– Колыбельная для пай-мальчика?

Он отмахнулся.

– Лучше скажи, отчего я всю жизнь с краю?

– Достали тёти и дяди?

– Душу вынули! Пачкуны, зыркуны, строчилы! Куда не глянь – слухачи, шептуны, мелкопакостники...

Он качнул головой, я поддакнул:

– Тугоухи, кривоглазы, суеносы...

– Пихуны, рогачи, кусаки! Нороят встать над тобой, как числитель над знаменателем!

– Шаркуны, топтуны, проныры! Только и слышишь: «вась-вась, вась-вась...» А женщины? Кобылы, вертихвостки...

Я щёлкнул пальцами, он цокнул языком.

– Свистушки, охмурялки, кудахталки...

– Жужжалки с когтями-локтями!

– ...ляги-приляги...

– ...жабьё-бабьё!

Осёкшись, почесали затылок.

– Что-то мы разбубекались.

– Сорвались с цепи.

– Зато общий язык нашли. – Он засопел. – Между нами, у психиатра я всё же побывал. Мозги-то совсем набекрень.

– Тем более сойдёт с рук.

Он хрипло рассмеялся:

– Выходит, нормального повесят, а психа – простят?

Протянул руку, и на мгновение мою ладонь обжёт холод.

– А про стену ты правильно сказал... Всю жизнь её возводим, а под конец и самим за неё не выйти.

Он покрутил рюмку.

– Мне вообще-то врач запретил – говорит, возбуждает... Руки, и правда, чешутся.

– А чего тянуть? – Растопырив на столе пятерню, я начал втыкать нож меж пальцев. – Раз-два-три-четыре-пять, мы идём искать, раз-два-три-четыре-пять, ты залезла под кровать?

Он пристально посмотрел на меня.

– Хоть вздохнём свободно.

И не договорив, провёл по горлу ребром ладони.

Я – вернул жест ему.

Потом наши пальцы соприкоснулись, и меня опять обжёт холод.

За окном поплыла луна, высыпали звёзды. Мы уже с трудом различали друг друга. Он разлил бутылку до

дна, подождал, пока стечёт последняя капля.

– А у Лиды, откровенно говоря, самой крыша едет. Через слово крестится, будто в церкви, а чуть что, про Бога. И уверенно так, точно волосы у Него пересчитала. Я вчера не выдержал. Бог, говорю, вроде государства, персональной ответственности не несёт. И судиться с Ним бесполезно, Иов выставил счёт, а толку? Думал, горячиться начнёт. А она только блаженно улыбается.

– Счастлив не тот, кто нашёл истину, а кто убеждён в своей лжи. Но что же ты психиатру о Крысе не рассказывал, когда про наследственность спрашивал?

У него задёргалось веко.

– Это чужая кровь! Чужая!

Он был близок к истерике.

– А Лиду ты зачем прогнал?

– Лиду?! Она сама! С Мариной Николаевной не поладила!

– И в стене появилась трещина?

Он готов был захныкать.

– Я понимаю, надоели сцены, её богомольность.

Он всхлипнул, как ребёнок.

– Ну, а кто сына за «двойки» бил? Кто приговаривал: «Ничего, свой зуб языка не откусит»? Кто за себя отгрызался?

Вместо ответа он вытер лоб, устало сощурился. И вдруг его голос стал плаксивым:

– Лида нехорошая, а мамочка добрая, и к чаю у неё клубничное варенье.

Хлопнула входная дверь.

Он вздрогнул, уставившись на опустевшую тарелку. Облизнув окровавленный смородиной нож, сунул в карман и, задвигая стул, в последний раз бросил взгляд на отражение в зеркале.

ПОСЛЕДНЯЯ СКАЗКА ШАХЕРЕЗАДЫ

Если бы месяц назад Матвею Бессарабу сказали, что у него поселится молодая девушка, он бы криво усмехнулся. И не поверил бы вдвойне, услышав, что будет при этом страдать.

Её звали Виолетта Оболонь, и Бессараб годился ей в отцы. Познакомились в интернете и, узнав, что живут в одном городе, решили сократить пространство до постели. И многому научились друг у друга: она – презрительно смотреть на мир сквозь уменьшающие линзы очков, он – тратить деньги, когда их нет. За окном стоял декабрь, а в их комнате царил апрель. Они проводили долгие жаркие ночи, а по утрам жадно рассматривали друг друга в широком зеркале, перед которым она расчёсывала волосы, а он брился. Потом он готовил завтрак, шёл во двор кормить собаку, а, когда возвращался, все бутерброды были съедены и кофе выпит из обеих чашек. На столе лежала записка: «Ушла досыпать, не буди!» Матвей разводил камин и, глядя на пляшущее пламя, размышлял, куда девать прошлое и откуда взять будущее. Он предлагал Виолетте всё. Но у него не было ничего. До обеда он перебирал изъеденные молью годы, жевал мысли и, не выдержав, шёл за советом к соседу. «Жирные девки лучше, – чесал тот затылок, разглядывая фотографию Виолетты, – на одну

ляжку положит, другой накроет – пыхтишь себе, завариваешься, как чай в чайнике...»

И Матвей Бессараб вспоминал, где находится. Проклиная мир, он возвращался домой и, запираясь на все замки, поднимался в спальню к Виолетте.

Он жил в первый век Консумации, от которой сводило скулы и хотелось забиться в нору. «Займёшься сегодня шопингом?» – через плечо бросал он, мочась в туалете с распахнутой настезь дверью. «Уже занимаюсь», – брала Виолетта в руку его сокровище и, помахивая им, задумчиво разглядывала желтоватую струю.

И тогда Бессараб давал себе слово изменять ей только с самим собой.

На Рождество выпал снег, тощая, с драной шерстью собака, высунувшись из конуры, ловила пастью белых мух. Ковыряя на стекле изморозь, Бессараб думал, что библейский пророк ошибся, и последние времена никогда не наступят, потому что мир лежит не во зле, а в безумии.

«Ориентации на демократические ценности нет альтернативы!» – жужжал в углу телевизор.

«Какая у неё красивая шея», – думал Матвей, разглядывая Виолетту.

«Мы озабочены продвижением товаров на рынке!» – пестрили журналы.

«И грудь», – листал он их, слюнявя палец.

А через месяц Матвей полностью отрёкся от себя. Отказавшись от желаний, он целиком подчинился Виолетте.

«Какая разница от чего сходить с ума? – оправдывался он. – Главное – не сойти».

У Бессараба были свои счёты с миром. Для его понимания у него было чересчур развито воображение.

«Кто наблюдает горизонты, тому не видеть ног», – думал он. И удивлялся окружавшим людям, умевшим без труда проникнуть в чужое сознание, чтобы распознать слабые места, которыми можно пользоваться, как рычагами. В отличие от них Матвей предпочитал думать не о том, что имел, а о том, что недополучил, и при всех талантах был не способен разобраться в себе.

«У нас любовь до гробовой доски!» – щёлкая пальцами, как кастаньетами, танцевал он голым перед Виолеттой. Действительность – это миф, рассказанный себе, Матвей возвёл Виолетту на пьедестал и замкнулся, как в раковину, в её чёрную галку. И всё равно что-то тревожное не отпускало его, если раньше, считая морщины, он не находил себе место от того, что прожил больше, чем осталось, то теперь – от того, что прожил меньше, чем осталось Виолетте. К тому же в его вселенной оказался свой ад. «Мобильный» Виолетты был забит телефонами бывших любовников, и Матвей ревновал.

– Я разрешаю дарить мужчинам улыбки, – заключал он с наигранной весёлостью, – можешь флиртовать, ходить под руку, влюбляться, можешь отдавать им душу, подаренные мною украшения, но тело – нет.

– Только ты! – горячо шептала она, обвиняя его, как плющ. – Только ты!

«Сколько раз ты так говорила?» – хотелось крикнуть ему.

Он до крови кусал губы, и ему не приходило в голову, что, вынимая из шкафа скелеты, разрушает свою вселенную.

Время, как павлин, – переливая цветами, показывает хвост. Днём Бессараб чувствовал себя калифом на час, а ночью превращался в Шахерезаду. «Это

случилось на древнем, как мир, Востоке, – целовал он Виолетту в затылок, и её волосы на подушке щеко-тали ему лицо. – Ага-али-бек был разбойником, и на большой дороге не щадил ни стариков, ни детей. Раз его шайка напала на купеческий караван. В жестоком поединке Ага-али-бек заколол его начальника и с мёртвой руки, ещё сжимавшей саблю, снял драгоценный перстень, украсив им мизинец. Это дерзкое ограбление переполнило чашу терпения правоверных, и уже через год слуги падишаха – да продлит Аллах его годы! – рассеяли банду, так что сам Ага-али-бек с единственным сообщником едва укрылся в маленьком пыльном городишке. Они обосновались на постоялом дворе и опасались выходить на улицу, где их могли встретить рыщущие повсюду стражники. Сообщник Ага-али-бека был христианином. “Чужбина, как тот свет, всех уравнивает, – выплёвывал он через щербатые зубы виноградные косточки. – Как в Царстве Небесном последние здесь могут стать первыми.” И как в воду глядел. Здесь же, на постоялом дворе, Ага-али-бек встретил вдову убитого им купца. Стоптав сандалии, она искала мужа и, от горя заплакав глаза, ослепла. Этим и решил воспользоваться ловкий разбойник. Скрываясь от праведного гнева падишаха, он выдал себя за убитого купца. «О, мой муж!» – нащупав перстень, упала женщина в его объятия. Таким образом, Ага-али-беку оставалось дожидаться ночи, чтобы выбраться из города и запустить руку в сундук, который тащили за женщиной двое слуг-мавров. Но разбойнику было не чуждо благородство. Заняв место покойного, он понял, что второго исчезновения мужа женщина не переживёт. К тому же купчиха была красива, у Ага-али-бека вспыхнула страсть, и он решил продолжить обман. Остаток дней он провёл,

снаряжая караваны и воспитывая родившихся у него детей... Ты спишь?» Прислушавшись, Матвей отвернулся: «А потом наступило утро, и Шахерезада прервала свой рассказ...»

Рядом с Виолеттой он сбросил лет тридцать – опять был студентом, отпуская сомнительные шутки, а когда она громко смеялась, хохотал сам. Пока Виолетта с плеером в ушах валялась на диване, он вспоминал, как она в первый раз ступила на порог его дома, как, осторожно потрогав на стене отполированные олени рога, рассмеялась:

– Твои? – А потом коснулась охотничьей двустволки: – Говорят, ружьё из первого акта стреляет в третьем?

– Только в заснувшего на заднем ряду зрителя.

По воскресеньям приходил сын. «Как мать?» – интересовался Бессараб, вспоминая неудавшуюся семейную жизнь, и опять думал, что у каждого свой психоз, что мир запутался в разновидностях безумия. «Да-да», – кивал он невпопад, не замечая, что сын давно смолк и смотрит на Виолетту. Они выросли на одной рекламе и говорили на одном языке, которого Матвей не понимал. Филипп работал менеджером, рассказывал Виолетте о будущих назначениях, а потом они вместе смотрели телевизор и смеялись анекдотам с бородой такой длинной, что позавидовал бы Черномор. Матвей смотрел на это сквозь пальцы. А за столом начинал вдруг жонглировать ножами, подбрасывая их над тарелками с дымившемся супом.

– Прекрати! – пугалась Виолетта. – Не будь ребёнком!

– Перестав быть ребёнком, умираешь! – огрызался он и верил, что их разница в возрасте преодолима,

стоит только протянуть руку и стереть её, будто мел на грифельной доске.

В феврале зачастил сосед. «Браки заключаются на небесах, – бормотал он под нос, прихлёбывая из блюда чай, – зато разводы оформляют в ЗАГСе». Сгорбленный, в чёрном сюртуке, он был похож на ворона. «Время своё возьмёт, – стучал он по столу длинными когтями. – Оно всегда берёт и никогда не отдаёт». Вместе с чайнками на усах у него висела мрачная улыбка, а нос, сойдя с лица, как привидение, гулял по комнате, заглядывая в углы.

«Кыш!» – суеверно шикала Виолетта, едва за ним закрывалась дверь.

И трижды сплёвывала через плечо.

Вечерами отправлялись в город, ускоряя от холода шаги. «Я люблю тебя!» – лгали с рекламных щитов голые женщины, и Виолетта прижималась плотнее, точно видела в них соперниц. Раз на улице столкнулись с её матерью. «Это Матвей Герасимович», – растерялась Виолетта, забивая гвозди в его гроб. Окинув взглядом, мать фыркнула: «Мог бы быть и моложе...»

И развернувшись на каблуках, застучала по мостовой.

К марту их отношения приобрели странный характер. Бывали дни, когда он, крикнув, чтобы она взяла «мобильный», запирался на ключ в кабинете, набирал её номер, и они занимались любовью по телефону.

«А не поторопилась ли я влюбиться?» – мелко крестилась потом в темноте Виолетта, накрывшись с головой одеялом. И понимала, что от счастливой любви до неразделённой только шаг, и шаг этот может сделать не она.

А Бессараб шёл в город, всматривался в сосредоточенные лица прохожих и думал, что в мире только

один сумасшедший – он всматривается сейчас в сосредоточенные лица прохожих и думает, что в мире только один сумасшедший.

Филипп стал приходить и среди недели. «Молодой... – глядел на него Матвей. – Толком не знает, что хочет, но хочет этого сразу, а не получит никогда...» Когда молодые люди, сидя на диване, случайно касались руками и вспыхивали, как застигнутые врасплох дети, он отворачивался.

«Мир летит в пропасть, а думает о цвете галстука», – прилизывал он в зеркале взъерошенные волосы.

А потом косился на Филиппа.

«Денег нет, вот и философствует», – читалось у того на лице.

И Матвей готов был сквозь землю провалиться.

А Виолетта скучала. «Надоело смотреть на мир твоими глазами», – перехватывал он её взгляд. И шёл в угол, включал музыку, которая была на триста лет старше окружавших его вещей, и, оперев поясницу в стол, выставлял вперед ноги, будто съезжал с ледяной горы. Не поднимая глаз, молодые люди тихо перешёптывались, и Матвей долго смотрел поверх их голов. От музыки наворачивались слёзы, делая вид, что вынимает соринку, он смахивал их рукавом. Его вселенная рушилась, он пробовал удержать её галактики, но они разбегались всё дальше.

«Один человек на свете – и нет ему счастья!» – перекручивал он простыни долгими бессонными ночами. «Может, лучше было и не иметь, чем получить, да не то?» – скрежетал он зубами во сне. Сквозь лиловые облака тускло била луна, сажая кругом тени, как чернильные кляксы. Они стояли под раскидистой липой, оперев ему в грудь ладони, Виолетта щурилась, теребя

верхнюю пуговицу его рубашки. Кончиками пальцев Матвей поднял ей подбородок.

– Если изменишь, убью! – прохрипел он, и его пальцы переместились к горлу.

– Себя? – расхохоталась она, заглядывая в глаза.

И тут Бессараб проснулся.

Лепил мокрый снег, Филипп включил «дворники», но по стеклу продолжали течь грязные ручьи. Прижавшись щекой к боковому окну, Матвей чувствовал холодный ветер, и ему казалось, будто капли хлещут в лицо. Не зная с чего начать, Филипп барабанил пальцами по рулю. Матвей узнал популярную песенку, любимую Виолеттой. Расправив пятерню, он накрыл руку сына.

И тогда Филипп выложил всё.

Когда Матвей вернулся, Виолетта уже собирала вещи.

– Долгие проводы – лишние слёзы, – не поднимая головы, бросила она, и в голосе зазвенела сталь. Потом вдруг порывисто обняла его, зажимая рот ладонью: – Только ничего, ничего не говори, я подлая, гадкая! Но ведь это было безумие, скажи, безумие?

– Безумие, – эхом откликнулся он.

– А теперь мы излечились, – криво усмехнулась она. – Я возьму твою фамилию, а ты будешь мне свёкром.

Она отпрянула, точно была уже за тридевять земель.

А Матвея вдруг охватило чувство давно виденного:

– Помнишь сказку про разбойника, купца и его жену?

Виолетта посмотрела настороженно.

– Там есть продолжение... – вздохнул он. – После смерти все трое предстали перед Аллахом.

«Я дал себя убить, – каялся купец, – и мои не родившиеся дети стали сиротами!»

«Я не узнала мужа и позволила себя обмануть!» – опустила глаза женщина.

«Я сделал эту женщину слепой, – бил себя в грудь разбойник, – и потом воспользовался её немощью!»

Потупившись, они ожидали приговор. И тут услышали грозный голос:

«Зачем вы лукавите? Кого надеетесь обмануть? Или думаете, Нам не известно всё?»

Ты, купец, женился без любви, потому не заводил детей и с радостью отправлялся в дальние страны, чтобы любить там других женщин.

Ты, женщина, сразу догадалась, что перед тобой не твой муж, но ты слишком устала быть вдовой.

Ты, разбойник, подозревал, что женщина разоблачила тебя, но прельстился её богатством, к тому же убил сообщника, с которым не захотел делиться. Ты успокаивал себя тем, что он был неверным, но что может быть ужаснее предательства?

И всё же Мы прощаем вас, ибо кто из смертных может противиться страсти?»

Шахерезада замолчала и этим вынесла себе приговор – наступило утро, и халиф, хлопнув в ладоши, приказал отрубить ей голову..

В повисшей тишине стало слышно, как растут цветы на подоконнике. Бессараб поднял глаза и только тут заметил, что остался один. По комнате гулял сквозняк, на окна давило тяжёлое серое небо. Матвей посмотрел на незакрытую дверь, потом снял со стены ружье, уперев приклад в пол, просунул большой палец ноги к спусковому крючку и выстрелил в себя сразу из двух стволов.

СМЕРТЬ ЕЛИЗАРА АРКАДЬЕВИЧА

Раньше Елизар Аркадьевич распахивал по утрам тяжёлую оконную занавеску, но уже полгода, как сломал ногу, и с кровати не встаёт. В комнате темно – дети заходят редко, разве переменить «судно» или перевернуть, чтобы не было пролежней.

«Деда, не умирай, – слышит он тогда, – уже скоро...»

И Елизар Аркадьевич понимает, что речь идёт о квартире. Семья давно стоит в очереди на бесплатное жильё, и его существование учтено в толстых домовых книгах.

Елизар Аркадьевич моргает, у него наворачиваются слёзы.

Целыми днями он лежит посреди свалывшегося, бургистого белья, пропахших потом простыней и влажных от мазей марлевых бинтов. Его кормят с ложки, раз в неделю обтирают мокрой губкой, и от его постели исходит запах, который он не чувствует. Это запах старости. А, кажется, совсем недавно Елизар Аркадьевич был умён, красив и ещё не видел жизнь во всей её гнетущей простоте. «Мне всё равно, с какой женщиной засыпать, – оглаживал он ладонью курчавую бородку, – но не всё равно, с какой книгой».

Елизар Коновой был звездой факультета, сокурсники смотрели на него снизу вверх, а профессора прочили

большое будущее. И не ошиблись. После университета он получил кафедру в провинциальном городке, основал там школу, и его имя замелькало в научных журналах. Его приглашали в столицу, но от добра добра не ищут. К этому времени он женился на своей аспирантке, а, когда родились дети, получил квартиру. Студенты боготворили Конового. Он рассказывал про Сократа, сняв галстук, гонял в футбол и запросто приглашал к себе домой. А потом ученики разлетелись, – теперь он встречал в журналах их фамилии, а свою нет, – дети выросли, и Елизар Аркадьевич вышел на пенсию.

А вскоре похоронил жену.

«Если бы вместо Веры... – тарачится он в темноте. – И пользы было бы больше...» Елизар Аркадьевич поставил детей на ноги, справил им свадьбы, но всё равно чувствует вину. Сын вскоре развёлся, а дочь бросил муж. И они снова вернулись к отцу. С тех пор в квартире идёт грызня: дочь ругается с внуками, а сын злится, что ему некуда привести женщину, и от этого пьёт. Все разговоры только о разъезде. Поначалу Елизар Аркадьевич пытался было воскресить прежнюю любовь. Он всю жизнь верил в слова, и ему казалось, что отношения наладятся, стоит только усадить всех за стол. Но дети отворачивались, внукам было некогда, а слова были важны только для него.

«Ничего не поправишь, – кусает губы Елизар Аркадьевич, – ровным счётом...»

И мир представляется ему огромным комом, который он катит по мокрому снегу: вначале легко, но снега налипает всё больше, и, наконец, шар замирает – его не сдвинуть и на мизинец.

По средам приходит врач, перевернув Елизара Аркадьевича, делает укол, а он затылком чувствует, как

все с отвращением косятся на его жёлтое, ссохшееся тело. Отойдя в угол, врач долго шепчется с домашними. А какой секрет – кости у стариков срастаются плохо, и Елизар Аркадьевич знает, что не поднимется. К тому же его парализовало. Передуходом врач поправляет подушку, облокотившись о которую, рекомендует ему самостоятельно есть, а Елизар Аркадьевич силится улыбнуться.

Но улыбка выходит кривая.

В начале болезни он ещё брался за книги. Надев очки, перелистывал знакомые с юности страницы, но теперь они представлялись пустыми и лживыми. Они повествовали о чём-то незначительном, постороннем, не имевшем ни малейшего отношения ни к его жизни, ни к его смерти.

«Всё не так...» – раздражённо ворчал он и с ожесточением бросал книги на пол.

Но время умирало медленно, чего только не переумаешь бессонными ночами.

«Что если смерть, как и жизнь, у каждого своя? – глядел он в потолок. – Что если только мне видится всё мелким и ничтожным?»

Елизару Аркадьевичу холодно. Он не может поправить съехавшее набок одеяло, а звать домашних не решается. На часах двенадцать. Полночь или полдень? В темноте не разобрать, а слипшиеся стрелки предательски молчат. Только с восьми до одиннадцати Елизар Аркадьевич не боится разбудить домашних – раньше колокольчиком, теперь негромкими стонами. Утро тогда или вечер, не важно – с восьми до одиннадцати не спят. Вся его жизнь соткана из мелких ориентиров, по которым он движется на ощупь, как слепой. Бывает, сквозь занавеску бьёт одинокий, как луна, уличный

фонарь. Что это не луна, можно определить, выждав час, – пятно по стене не ползёт. Фонарь – это знак, что впереди бесконечно долгая ночь, и Елизар Аркадьевич ненавидит его жёлтое, застывшее лицо, которое, бледнея, издевательски усмехается.

Дом многоквартирный, этажом выше идёт ремонт, и это примета дня. «Зачем они обустраиваются?» – слушает Елизар Аркадьевич стук молотка. Старики как инопланетяне: мир уже не принадлежит им, они созерцают его со стороны и всё меньше понимают. Зачем с ним обращаются, как с ребёнком? Он знает, что пережил свой срок. «Ничего, скоро развяжутся...» Но в глубине ему обидно, он думает, что жизнь несправедлива, и готов, как в детстве, грызть ногти.

За стенкой включили телевизор. Ссохшейся гортанью Елизар Аркадьевич издаёт подобие стога. Никто не приходит. Он пробует ещё раз. И сам боится своей смелости. Опять никого. Кому нужны его ввалившиеся глазницы, которые без сожаления прикроют пятаками? Остаётся смириться. И, пока жив, приспособиться. Только как приспособиться к тому, к чему приспособиться нельзя?

На кухне опять ругаются. Елизар Аркадьевич невольно прислушивается, голоса делаются злее, однако слов не разобрать. Почему он умирает вот так? Елизар Аркадьевич морщит лоб, и его не покидает чувство, что жизнь прошла сама по себе, безо всякого его участия.

Зажмурившись, Елизар Аркадьевич возвращается в детство, когда вот так же заставлял сверкать пятна на обратной стороне век, и вот так же был не в силах разгадать их причудливую мозаику. Во сне он теперь часто видит отца, у которого сидит на плечах, как мальчик-с-пальчик – у гиганта. Отец прикидывается слепым, и

Елизар со смехом указывает ему дорогу. Они выходят на просторный двор, где мать уже приготовила завтрак – в окружении горячих ватрушек пыхтит самовар. «Ну, богатырь, слезай!» – улыбается отец, подставляя ногой стул. «Расти, Елизарушка», – умиляется мать, глядя, как он, не доставая до земли, болтает ногами. И вот Елизар Аркадьевич уже сам, притворяясь слепым, таскает на плечах сына. «Мы все, точно карлики, сидим на закорках у жизни, – думает сквозь сон Елизар Аркадьевич. – Всем правит её слепая воля...» И ему чудится, что ещё немного, и он разгадает её тайную цель. А, просыпаясь, видит затемнённое окно, стены с чередующимися, точно брошенными в гроб, цветами на обоях, и в первое мгновенье не понимает, что жив.

Зачем он здесь? За что страдает?

Только теперь Елизар Аркадьевич понял Сократа, скрасившего последние часы философской беседой. Понял, как старик старика. Он и сам бы сейчас болтал без умолку. Или молчал, если было бы с кем.

Раз к Елизару Аркадьевичу явился гость. Он был так чёрен, что в темноте отбрасывал тень. На улице шёл дождь, и с плаща у него капало. «Наследит», – испугался Елизар Аркадьевич, посмотрев в угол. Раньше там стоял платяной шкаф, но, заболев, Елизар Аркадьевич видел, как зеркало удваивает его страдания, и шкаф убрали.

– Ничего, подотрут, – прочитал его мысли гость. И вдруг расхохотался: – А ты, значит, детей боишься?

Елизар Аркадьевич опустил глаза.

– Что за жизнь! – сел на постель незнакомец. – Дети-ми боимся взрослых, взрослыми – детей!

Прижав пальцем ноздрю, он громко высморкался, растерев каблуком.

– И всё-то делается по инерции: у человека впереди – бездна, мгла, он одной ногой в могиле, а продолжает думать о ничтожных вещах.

И Елизар Аркадьевич вдруг поразился своей привязанности к жизни. Зачем его заставляют жить? Зачем сам себя заставляет? Он по привычке открыл рот с давно непослушным языком, но, к удивлению, заговорил:

– Может, дети будут счастливее...

– Брось, – осадил гость, – разве дело в квартире?

И Елизар Аркадьевич опять подумал, что всё в жизнь устроено неправильно.

– Идёт своим чередом, – прошептал он, будто про себя. – Отцы и дети, из жизни в жизнь... Но зачем разум? Животные не осознают ни этого круговорота, ни своего места в нём, а конец тот же.

Елизар Аркадьевич махнул рукой, которая странным образом слушалась.

– И страшно это понимание, зачем Творец допустил его? Разве Он не ведает Своего зла?

Человек в чёрном залез пальцем в рот, точно выковыривал из зубов мясо.

– Бог абсолютно добр, и Сын Его не видел зла, потому что его может видеть только тот, кто его причиняет, – он достал застрявшее мясо. – Только дьявол.

– А человек? – затаил дыхание Елизар Аркадьевич.

– Помилуйте, – всплеснул руками гость, – дьявола без человека не существует! Как и Бога. Это два глаза: один замечает пороки, другой – добродетели. Только под старость-то человек кривеет – на тот глаз, который за жизнь предпочёл.

Незнакомец поднялся.

– Впрочем, мы заболтались, ты готов?

Елизар Аркадьевич кивнул. И тут вспомнил про

квартиру. От ужаса его глаза расширились, он привстал на постели, заикаясь об отсрочке.

Комната была пуста, он таращился в темноте, а за окном лил дождь.

После него останется несколько забытых книг, равнодушные дети, которые пытаются приспособиться к тому, к чему приспособиться невозможно, и внуки, которые будут его вспоминать, только выпрашивая на экзаменах трояки: «Профессор Коновой – наш дед».

Боль съедает Елизара Аркадьевича – у стариков не болят только ногти и волосы. Но он дотерпит. Дети переселятся в новую квартиру, а он отправится к Вере, расскажет, как ему без неё было плохо, и, быть может, всплакнув, она пожалеет его.

Елизар Аркадьевич представляет, как она будет гладить мягкой ладонью его седые волосы, прося прощения за то, что так рано оставила его.

ПОЕЗДКА

Э тот поезд идёт в Торжевск?
– К утру будете.

В вагоне я нашёл свободное место и, достав газету, стал ждать отправления. Пассажиров было немного, они настороженно молчали, как молчат недавно вошедшие в вагон. Наконец поезд тронулся, замелькали огоньки, деревни.

– Вам далеко?

– В Торжевск. А вам?

– В Азарьевск.

Избегая разговора, я вышел в тамбур. На стене висела карта. От скуки я пробежал глазами названия станций – Голубовка, Азарьевск, Трубчевск... И вдруг – снова Азарьевск. Края карты были замалёваны краской.

Я вернулся в купе.

– А вам в какой Азарьевск?

– Да уж не промахнусь, – улыбнулся сосед. – И проводник объявит.

С полчаса мы говорили ни о чём, пока он, прикрыв глаза, ни растянулся на полке.

А меня мучила бессонница. Поездка носила личный характер, я долго колебался, прежде чем решился. И теперь мне нужно было обязательно попасть в Торжевск.

Поглощённый своими мыслями, я смотрел в окно.

Огромный, неведомый мир темнел за стеклом. Как легко заблудиться среди лесов, полей, чернеющей ночи! Не дай бог сорваться с поезда!

Запыхтев, поезд остановился. «Желудёвка», – прочитал я на перроне. За окном проплыли одинокие фигуры, мелькнули чемоданы, носильщики, грузившие дорожную кладь.

А под боком храпел сосед. Я опять вышел в тамбур. Там курила молодая женщина:

– Тоже не спится?

Я смутился, ко мне редко обращаются красивые женщины. Поезд тронулся, и мне показалось – в обратную сторону. Я вздрогнул, но женщина осталась спокойной, и мне сделалось неловко.

– Вам далеко?

– В Торжевск. А вам?

– Дальше.

Мы стояли молча, и я испытывал непонятную тревогу.

– Следующая – «Желудёвка», – протискиваясь мимо нас, объявил проводник.

Я растерялся:

– Послушайте, любезный...

– Извините, спешу!

Он повернулся спиной. А я уперся в карту маршрута, не заметив, как исчезла женщина.

Когда я вернулся в купе, снова была «Желудёвка», и поезд опять обогнал сошедших. Мелькнули чемоданы, предлагавшие услуги носильщики. Я чувствовал, что схожу с ума. Мне хотелось растолкать соседа, но я стеснялся. А потом взял себя в руки: в конце концов, я купил билет, и меня везут в Торжевск. Мне даже удалось вздремнуть. Проснулся я от сильного толчка. Я

быстро глянул в окно. Там плыло: «Азарьевск».

– Вы проехали свою станцию! – разбудил я соседа.

Он зло уставился:

– Моя не скоро...

Я вышел. Люди в коридоре негромко переговаривались, казалось, ничего не происходит.

Или они только делали вид?

– Какое совпадение! – улыбнулась женщина, опять курившая в тамбуре. Голос с приятной хрипотцой взволновал меня.

– Послушайте... – решил я. – А вам не кажется, что поезд движется как-то...

Я замолчал.

– Как? – подняла она глаза с длинными ресницами.

– Зигзагами, – пробормотал я, пожав плечами.

И всё испортил. Она стала равнодушной.

– Да, нет... – затушила сигарету. – Извините.

Я остался один. Больше я не доверял поезду. Он колесил и, казалось, не мог вырваться из паутины трёх станций. То ли стрелочник неправильно переводил рельсы, то ли ошибался машинист. Надо было сообщить остальным. Но какое мне, в сущности, до них дело, мне нужно в Торжевск. По личным делам.

Двери открылись. Напротив на полустанке стоял встречный поезд. Какой-то парень, точное моё отражение, курил, облокотившись о поручни.

– Куда едете?

– В Торжевск.

Я уже ничему не удивлялся. В конце концов, у каждого свой Торжевск, попасть в который ему важнее всего на свете.

Всех вещей у меня – газета. Я быстро перешёл к парню.

– Когда прибываем? – бросил я на ходу.

– К утру.

Вагон был почти пуст, и я легко нашёл свободное место. И вот опять пошли станции. Но радостное возбуждение постепенно исчезало: станции шли незнакомые, тёмные, погружённые в ночной туман.

– Чаю?

– Нет. А до Торжевска далеко?

– Не очень.

Проводник хлопнул дверью.

Выскользнув за ним, я положил руку ему на плечо.

– А всё-таки?

– Смотря, когда вы сели.

Он ухмыльнулся, скидывая руку.

– Как же так...

Но он уже не слышал.

Все чувствуют страшную тайну дороги, но стараются её не замечать! Я стал лихорадочно соображать. Мы движемся в Торжевск, возвращаясь на те же станции. Если бы мы ездили по кругу, то я бы уже побывал в Торжевске. Но я там не был. Значит, поезд выписывает фигуру, которой не существует на плоскости. У меня заломило виски. Опять проплыла «Желудёвка», потом «Азарьевск». Между ними должен был быть Трубчевск. Но его не было. Теряясь в догадках, я делал одно предположение нелепее другого. И вдруг мне открылась истина. Наш поезд движется ещё в одном измерении, отпечатком которого является наша бескрайняя равнина. Следуя расписанию, поезд огибает горы, реки, переезжает мосты, но здесь, в земной проекции, его путь сводится к бесконечным возвратам и непостижимой путанице. Иногда с ним случается авария, которую мы не видим, иногда поезд набирает бешеную скорость, но

здесь в это время стоит. Каков пункт его назначения? Я не стал ломать голову, передо мною стояла прозаическая задача – попасть в Торжевск.

Довезёт ли меня поезд? Вот уже сорок лет я не теряю надежды, отсчитывая вёрсты, и мне кажется, что если он прибудет в Торжевск, значит, там он пришёл, наконец, к цели.

ГЕРОИН

У смерти столько же лиц, сколько у жизни. На свете нет людей с одинаковой смертью. И Еремей Дементьевич Гордюжа выбрал самую разрушительную из них.

Он был тех лет, когда любить себя уже не за что. «Какие у него мешки!» – тыкал он пальцем в зеркало. На него смотрел обрюзгший мужчина с глубокими морщинами, который брился, выдавливая языком бугор на щеке. Гордюжа уже давно говорил о себе в третьем лице. И писал тоже. Какая разница, от какого лица писать, если пишешь ложь?

У одиночества мёртвая хватка, и Еремей Дементьевич спасался, как мог. Год назад он купил подержанное кресло, а в прошлом месяце решил его перетянуть. Сняв залоснившуюся обшивку, он вдруг наткнулся среди пружин на целлофановый пакет с белым порошком. Я не могу передать его удивление, хотя знаю, каким оно было. Ведь Еремей Дементьевич Гордюжа – это я. При этом у нас мало общего. Он учился тому, что я ненавидел, а теперь ходит на работу, от которой меня тошнит. Много лет он был женат. «Странно не то, что разошлись, – вспоминал я холодную улыбку его жены, – странно, что столько лет прожили...» Кто заставлял меня быть Гордюжей? Кто, точно пешку, шаг

за шагом передвигал по его жизни?

Полжило героина жгло Еремею Дементьевичу руки, словно раскалённое железо. Но к вечеру он успокоился. Прятал ли героин наркоман, или переправляли контрабандисты – во всех случаях искать уже не будут.

У его начальника лисьи глазки, а сигарета, как фи́га, торчит в рогатке из пальцев. От его окриков закладывает уши, а у меня сжимаются кулаки. Однако Еремей Дементьевич – тряпка. Он всю жизнь просидел на чемоданах, так и не решив, куда ехать, и косые взгляды кажутся ему страшнее смерти.

«Эх, Ерёма, Ерёма, – подмигивал он из зеркала, – жизнь прошла – остались годы...»

Продать. Освободиться раз и навсегда! Но кому? В юности Гордюжа всюду был своим парнем, но постепенно зеркала, окружавшие его жизнь, опустели, а до рога всё сильнее сопротивлялась ногам. И Еремей Дементьевич превратился в затворника. Днём – служба, вечером – телевизор. Оставалось продать героин себе. Но у Гордюжи не было денег, чтобы купить.

До сих пор я жил так, словно прикуривал от чужой сигареты, приспособиваясь к привычкам Гордюжи. Но могу я хоть раз взбунтоваться?

И я удержал Еремея Дементьевича от того, чтобы высыпать порошок в умывальник.

Женщины думают о деньгах. Говорят о деньгах. И меряют всё на деньги. А своим единственным недостатком считают отсутствие недостатков. Им ничего не докажешь. Они знают всё. И это всё – деньги.

Вот что Гордюжа вынес из семейной жизни.

Когда родился сын, он надеялся. Его кровь, а кровь – не водица. Но, подрастая, сын принимал сторону матери. «Эдипов комплекс, – шипел Еремей Дементьевич, – эдипов комплекс!» Жили под одной крышей, но Гордюжа – сам по себе. «Перекрестятся – и дальше пойдут», – запершись в ванной, представлял он, как умрёт, развязав всем руки. Когда вместе с бульканьем воды доносилось бормотанье, ему настойчиво стучали.

В семь лет мальчики думают: «Папа знает всё!», в тринадцать понимают: «Отец многого не знает», в восемнадцать уверены: «Отец не знает ничего!», в двадцать пять смеются: «Старик спятил!», а в сорок плачут: «Жаль, отца нет – поговорить не с кем».

Гордюжа скрёб лысину и не хотел ждать. Чтобы не дожидаться. Почесав затылок, он пересел в другой поезд.

После развода пришлось тяжело. Раньше он был одинок, как булыжник на площади, а теперь – как тропинка в лесу. Сбрасывая одеяло, он вскакивал ночами, разбуженный собственным криком. А самым страшным из кошмаров была бессонница в тёмной, наглухо зашторенной комнате.

Но постепенно он привык к себе, и ему стало легче.

А мне всё чаще снится его покойный отец. Он сторблен и старше тех лет, когда умер, будто продолжает где-то стареть. Дементий Еремеевич молча грозит пальцем и укоризненно хмурится, словно ждёт от меня чего-то, что я не могу дать. И я до тех пор гадаю, чего же он хочет, пока, измученный, не просыпаюсь.

Нас обрекли играть в прятки с повязкой на глазах, а когда схватишь то, что ищешь – повязка сползает, и наваливается крошечная тьма.

Директором его школы был Ермолай Нищеглот. «Ермолай, давай, не лай!» – дразнили его за спиной. А в коридорах расшаркивались, спеша пожать вялую, холодную, как рыбий хвост, руку.

На душе у всех, как в желудке, – пусто и темно.

Это главный урок, который вынес Еремей Дементьевич со школьной скамьи.

Найдя героин, Гордюжа дрожал над ним, как скупой рыцарь, и всюду таскал с собой.

Слепило солнце, в траве, как часы, стрекотали кузнечики, отсчитывая короткое летнее время. Еремей Дементьевич ловил на улице взгляды, которые казались ему страшнее смерти, и чувствовал, что явился на свет у чужих родителей, а умрёт по дороге в никуда.

Он ждал автобус, а я записал происшедшее с ним

НА ОСТАНОВКЕ

На скамейке спал бомж. Стоптанные ботинки, свалывшиеся волосы. Под головой – набитый газетами пакет.

Все бомжи на одно лицо. У них всё общее – бесстыдство, тряпье, запах. Подошли ещё трое, похожие, как матрёшки, – отец с мальчиком и дед.

Ребёнок покосился на пакет, легонько тронул, доставая недоеденную булку, бутылку с пивом на дне. Разделив хлеб, стали жевать. Мальчишка запрокинул бутылку, точно целился в солнце. Потом снова запустил руку в пакет, зашуршали газеты.

Спавший вскочил, как ванька-встанька. Но обидчиков трое – не совладать. «Где ж это видано, – облизав сухие губы запричитал он, – чтобы бомж у бомжа воровал?»

«Отсыпать ему?.. – подумал Еремей Дементьевич. – Дают же обезболивающее...»

Он взвешивал мешочек за пазухой и чувствовал себя богом, раздающим счастье.

«Ну, чего зыришь – глаза пузыришь?» – оскалился бомж.

И он узнал Ермолая Нищеглота.

Еремей Дементьевич отшатнулся и пошёл, размахивая руками, точно срывал невидимые яблоки, которые швырял оземь.

В тот день Еремей Дементьевич, неловко просыпая, размешал порошок в воде, мелко перекрестился и запрокинул стакан к потолку.

Так он выбрал себе казнь.

Я ненавижу две вещи – его лицо и его имя. Еремеем его нарекли в честь дедов, которые были тётками, так что выбора у него не было. Имя ему уже присвоили, а он всё не рождался, появившись только на пятый год после венчания. К этому времени оба деда уже умерли, а имя навсегда осталось старше его. У Еремея оттопыренные уши и блёклые, расплывчатые глаза. Вот он сутулится, продевая руки в рукава висящего пальто, а потом, уже надетое, снимает с вешалки.

Вернулся Гордюжа с чужим, деревянным лицом, держа под мышкой коробку со шприцами. Благодаря наркотику он нащупал в себе лестницу, по которой изо дня в день спускался теперь в тёмный подвал, полный соблазнов и ужасов. Наконец он понял, что болен самим собой, а если исцелится – умрёт, что путь к себе короток, а если удлинится – значит даётся крюк. Растянувшись

в так и не зашитом кресле, он думал: раз *этот* героин его освободил – значит был *тот*, который превращал в Гордюжу. Он испытывал глубокое отвращение к Гордюже, ему были противны указатели, приведшие к нему – школьная долбёжка, факультет житейских наук и ежедневные инъекции *того* героина, который назначают против воли.

«Героин как метафора, – соглашался я, – героин как метафора».

И теперь, видя в зеркале черневшие под глазами круги, думал, что вывернул, наконец, жизнь, как пиджак, который носил наизнанку.

В темноте шептались:

– Раз я завтракал на балконе, тарелка с кашей выскользнула из рук и убила прохожего. Утром я был добропорядочным гражданином, а вечером уже сидел в тюрьме.

– А я вышел раз из подъезда, светило солнце, улыбка не сходила у меня с лица, и тут меня убила тарелка с кашей.

Еремей Дементьевич проснулся. А я досматриваю его сон. Хотя знаю до мелочей. Вот он протёр кулаками глаза, съел бутерброд, сунул руки в рукава пальто на вешалке, привстав, снял его, уже надетое, с крюка и отправился на службу.

Скучный, скучный сон...

«Люблю тебя, Ерёмушка! – гладила мать его шёлковые кудри, ласково притягивая к себе. – Больше жизни». Он чувствовал её тёплый запах, и ему хотелось плакать от счастья. Но это был обман. Как она могла любить его больше своих рук и ног? Своих мышц и

волос, аккуратно уложенных под платком? Он был только малой её частью. Когда он понял, что чужую плоть только любят, а свою – боготворят, стало невыносимо. А теперь, когда матери уже нет, он видит жестокость, на которую способны женщины, и, вспоминая задрапированный чёрным гроб, отмахивается, будто, поцеловав тогда дряблую щеку, вернул сполна долг.

Молчал Еремей Дементьевич, как покойник, а говорил, словно учил прописи.

– Почему ты говоришь, как Гордюжа, и думаешь, как Гордюжа? – затеваю я разговор.

– А ты сам-то чем лучше? – мотает он головой. А потом фыркает: – Уколемся?

Теперь я застаю его в разных местах. Вот он корчит рожи перед зеркалом, тихонько напевая: «Моя героиня – на героине...»

Раньше он шёл с работы пешком, а теперь, спеша, брал такси. Как-то его вёз полнокровный хохол, который всю дорогу не закрывал рта. Еремей Дементьевич слушал про тещу, которая готовит сало белое, «что твой снег», про молоко в кринках и дороговизну, которая обещает стать «куда как больше». Вдруг у пивной, где шла драка, машина резко затормозила. Хохол бросился в гущу.

«Отвёл душу! – бухнулся он снова за руль. – Так о чём бишь я?»

Еремей Дементьевич съёжился. И опять слушал про кровяные колбаски, сенокос на заре и пышногрудых девок, которых не ущипнуть.

«Жизнь – как нога, – думал Гордюжа, – пока есть – не замечаешь».

А дома приготовил двойную дозу.

Работу он вскоре бросил. Пускал жильцов, но вскоре прогонял. Из мебели у него остался опустевший платяной шкаф, разодранное кресло да хромой, трёхногий стул.

Он всё чаще скрипел зубами и насвистывал свой романс о героине.

В Бога Еремей Дементьевич не верил.

– Если Бог – это всё, – философствовал он перед рассветом, когда героин отступал вместе с уплывавшими сумерками, – то у Него не может быть ни заповедей, ни пристрастий. Ибо чем одна мерка лучше другой?

И всё же готовился Суду.

– Я же не продавал, – оправдывался он, – не губил душ.

– А свою? – беру я на себя роль прокурора.

– Зато многие спас, – криво усмехается он. – От этого бы сколько погибло.

Иногда, перед тем как забыться, он видел Бога. Господь сидел на небе, повелевая ангелам не шуметь крыльями, чтобы не будить мёртвых, а всякому гаду на земле наказывал: ползать – ползай, а кусать – не кусай!

– Люди привязаны ко Мне крепче, чем думают, – раздавался голос из зиявшей в потолке дыры.

И Еремей Дементьевич видел мириады пальцев, которыми Бог перебирает, словно ткёт невидимую ткань, и каждый из них – человек.

– Все гонятся за удобствами, – жаловался Гордюжа.

– И главным – умереть при жизни.

– У каждого свой героин, – как печёное яблоко морщился Господь. – Если не спрятался в собственное

безумие, сойдёшь с ума от всеобщего.

И Еремей Дементьевич с ужасом понял, что говорит с собой.

В любовь Гордюжа тоже не верил. Пока она не постучала в дверь. Высокая, стройная, она стояла на пороге, под вуалью с мушками, прижимая к груди огромный букет. Цветы наполнили прихожую тонким ароматом. Незнакомка протянула их Еремею Дементьевичу, и они показались необыкновенными, но в неясных сумерках он не различил их цвет. Не поднимая вуали, дама назвала его имя и, легонько отстранив, прошла в комнату. Качая страусовыми перьями, знакомка принесла в своей шляпе далёкие туманы, и в душе у Гордюжи всё перевернулось. Сердце защемило, а ногти стали расти быстрее, чем у покойника. Женщина излучала строгую, целомудренную прелесть, была прекраснее всех, кого он представлял в мечтах, и он понял, что это та, которой нет.

Она молча опустила цветы в напольную вазу, налила воды и, раздвинув штору, поставила их на подоконник, где струился лунный свет. Медленно стащила тёмную, дырчатую перчатку – для поцелуя, и на губах у Еремея Дементьевича остался холодок. Он не знал, что делать, но ему было удивительно легко. Послушный, как кариятида, он мог стоять так часами, годами, вечность. Её присутствие обдавало тёплым запахом, как в детстве, когда Еремей просыпался в постели матери.

Дама сбросила шляпу, встала на стул, зашуршала шёлковым платьем, достав с полки Библию, которую он читал в детстве, и, улыбнувшись, подложила, чтобы стать выше. Затем, вынув шпильку, распустила волосы как воронье крыло, поднялась ещё выше, к шкафу с гроздьями свисавшей пыли. Она взобралась уже к

самому потолку, когда, вспомнив про хромой стул, Гордюжа испуганно вскрикнул. Но тут увидел, что женщина не стоит, а висит. Её голова на неестественно повернутой шее слилась с потолком. Тёплый запах исчез, на Гордюжу глядела серая морда удушенной.

«Я скоро приду», – одними губами прошептала она, тая, как тень.

Близилось утро, соскочив с дивана, Гордюжа бросился к цветам.

Их было чётное число.

И они были чёрные.

Однажды, в ночной тишине по улицам гулко рассыпалось эхо – это во мраке комнаты выл от страха Гордюжа, а моя рука зажимала ему рот. Мы оба становились психопатами. Он несколько раз открывал дверь, порываясь уйти, не зная куда, а я, карауля, захлопывал её сапогом. Со временем ему стало страшно покидать стены, где, уколотившись, он угрюмо скалился в липком, остро пахнущем поту, лез на диван, как на ледяную гору, откидываясь в изнеможении на громыхавших пружинах. На душе у него было, как в слепой кишке, он высох от голода, но с прежним упрямством шарил иглой по венам.

Как долго продлится его роман с героиней? Сойдёт ли Гордюжа с ума, или раньше умрёт? До этого срока я буду присматривать за ним. А потом выйдет время. Которое исчезает, когда нечего наблюдать.

НЕОКОНЧЕННЫЙ РАССКАЗ

Мне едва хватило воздуха задуть свечи – целых восемь! И пирог у мамы вышел – пальчики оближешь! Хорошо, что я летний, светит солнце, ползают жуки-скоробеи, глухие богомолы, которые слышат лапками, и красные «пожарники». Папа целует в лоб, дарит книгу про пиратов, и я спускаюсь во двор. Мне радостно, вокруг – море одуванчиков, которые щекочут голые колени, стрекочут кузнечики, на ветках лопочут птицы. И вдруг – будто крапива обожгла! Когда-нибудь меня не станет! Всё, всё это останется – и жара, и гудящие травы, и блестящие зеленоватые жуки, и бездонное небо, а меня не будет! Совсем, совсем! А куда я денусь? Исчезну, как бабушка, которая умерла до моего рождения? И про меня также будут рассказывать, а нигде, нигде меня нельзя будет увидеть! А где же я буду, когда меня не будет? «Мама, мама...» – шепчу я. И от ужаса даже плакать не могу. Но мне становится стыдно. Вокруг никто не боится, вокруг улыбаются, и никто не говорит *об этом*. Неужели они не знают? Или знают то, чего не знаю я? Или они смелее? Но это страшнее пиратов! А уже в постели, когда мама гладила мне спину, я не замечал её мягкой ладони, притворяясь, что сплю, всё думал, думал... Как страшно в лесу кричат совы! Я накрылся с головой одеялом, и под утро меня

осенило. Когда я вырасту, учёные придумают таблетку, я её выпью – и не умру!

Мне сорок восемь. В прокуренных лёгких нет воздуха задуть столько свечей, и праздничный пирог испечь некому. Страшно вдуматься, сорок лет прошло, евреи в пустыне за этот срок забыли про плен, сменилось два поколения, исчезла страна, в которой я родился, а я вспоминаю наш дом с палисадом, поросшее бурьяном школьное поле, вспоминаю скрипы деревянной лестницы с подгнившими, выщербленными ступенями, огород, который безуспешно разбивала мать, нашего соседа – хмурого инвалида-фронтовика дядю Сашу, то лето, когда сверкала пятками в густой траве, гоняясь за бабочками, и мог по укусу отличить муравья от мошки. Вспоминаю Анну Марковну, учительницу начальных классов. Всё-таки несправедливо: мы навсегда запоминаем своих учителей, а они нас – нет..

Завтра выборы, будут выбирать самого главного, и папа с дядей Сашей спорят.

– Власть негодяев, – пускает табачный дым папа, – вот что такое государство.

– Тише, Стёпа слышит! – шикает мать, убирая посуду.

Я – на полу, делаю вид, что играю в солдатики.

– Лучшее из худшего, – не обращая внимания, продолжает отец, – вот и весь выбор.

А дядя Саша смеётся:

– Не пойдёшь – худшее из худшего подсунут!

Взрослые странные, зачем им нужен самый главный? Он что, вроде Анны Марковны?

– Детство золотое, – глядит на меня дядя

Саша, – мечтаешь, мнишь о себе. Радость-то какая! А чего мнишь? Снесла курочка яичко, вылупилась курочка – и весь сказ...

Когда дядя Саша ушёл, папа сел за стол. Он уже год пишет рассказ. Про что – секрет, но мама считает, рассказ не даётся.

– Другие за это время, Вася, романы пишут, – шурится она, – а ты всё черновик перелицовываешь...

– Роман, Галя, это всего лишь неотредактированный рассказ, – повторяет отец.

И мама кусает губы.

В десять меня загоняют в кровать. Сны совсем не похожи на жизнь, они неправильные, в них всё перепутано. А самый странный из них такой. Я вижу распахнутые ворота, через которые медленно бредёт толпа. Люди, сгрудившись, как бараны, ругаются, от тесноты едва не начинается давка. И тут я замечаю, что ворота стоят в чистом поле, словно триумфальная арка. А кругом просторы, иди – не хочу! От удивления я открываю рот. Мне становится жаль людей, и я кричу: «Эй, слепые, куда же вы?»

Но они не слышат.

И, просыпаясь, я долго лежу с открытыми глазами.

Некоторые буквы я не выговариваю – режутся зубы и неправильный прикус. «До свадьбы заживёт», – заглядывает мне в рот доктор.

А когда эта свадьба?

Завтра Пасха, мама готовит кулич, я крашу яйца. А папа сидит за столом с дядей Сашей.

– Ветхозаветному Богу жертвовали агнцев, а новозаветный – принёс Себя в жертву... – говорит он. – И всё

равно есть в этом что-то кровавое, языческое. Нет бы людям жизнь наладил, а Он свою отдал, получается, Сам Себе пожертвовал...

– Чего взять, тёмный семитский культ, – крутит головой дядя Саша.

– А причастие? – гнёт свое папа. – «Пейте кровь Мою и ешьте тело Моё», мы что – вурдалаки?

У нас гостит чужой дядя с лицом таким, будто в лупу смотришь. Он музыкант, настройщик роялей, они с мамой играют в четыре руки. «Чужой» угощал конфетами, но мне всё равно не нравится.

– Не стоит понимать буквально, – снисходительно улыбается он. – Это всего лишь метафора.

– Как ты можешь, Вася, – поддерживает его мама.

Папа косится из своего угла:

– Мы и мясо покупаем в целлофане, не нужно нам этого первородного зверства, замешанного на крови. Говорят о любви, а тут же искупление, грех, страх Господень! А свобода воли? Если не любишь Господа, пожалуйста, – скрежет зубовой...

– Тоже нашёл время! – всплеснула руками мама, а они у неё в тесте. – Светлое Воскресенье, а ты...

– Надо смиряться, Галина Ивановна, – мягко улыбается «чужой», – и с тем, что иным не дано смиряться, тоже.

«Злой, злой... – плачу про себя я. – Зачем обижаешь папу?» А дядя Саша добрый.

– Чем философствовать, – улыбается, – лучше бы диван новый купили.

Как прежде, в лесу по ночам кричат совы. Просыпаясь, думаю о смерти, чужой в своём поколении, как и в любом другом. Где мой отец? Где сын? Давно сказано:

каждый человек один на свете. Но – страшно! Вот и си-
лишься забыться, цепляясь за воспоминания.

Родители целый день друг с другом не разговарива-
ют и меня будто не замечают. А вечером явился «чужой». Втроём закрылись в папином кабинете. Глухие голоса, а потом вдруг папа как закричит: «Стёпку я вам не отдам!» Мама выскочила красная, вся в слезах. За ней – «чужой»: «Галя, Галя...» И мимо – на улицу. Я – к папе, он за столом – руками голову обхватил, а меня увидел, обнял: «Вот как, Стёпа, бывает... И никто не виноват...» А у самого слёзы. Я в первый раз вижу, как папа плачет.

Мама дома не ночевала, папа несколько раз говорил с ней по телефону. А вечером пришёл дядя Саша. «Отче-го так, – крутит рюмку папа, – стоит сойтись поближе, как понимаешь, что рядом с тобой чужой? Это она мне говорит, представляешь?» Дядя Саша молчит, смотрит в угол. «Я понимаю, она ещё молода, красива... Только гадко всё как-то, приходил в мой дом, ел-пил... Эх, о чём это я! Стёпку жалко...»

Перед тем, как родиться, мы девять месяцев про-водим у Бога. Это наш утраченный рай, и жизненный опыт ему ничтожная замена. Старость мудра? Но перед вечностью нет возраста! Когда же, с какого момента «я» замыкается в клетку привычек, а мир сужается до кошелька? А природа? Каждый год мириады листьев, цветов и насекомых исчезают и появляются вновь! Неужели вся эта могучая сила создала меня только для того, чтобы я лгал, завидовал и жаждал денег?

Папа в кресле, зовёт. «Вот, Стёпа, как вышло... – Я стою у подлокотника, он гладит меня по голове, а сам

на стену смотрит. – Представь, сынок, весы, на одну чашу бухнули тяжеленную гирию. Это любовь. А на другую кладут мелкие гиришки из разногласий, ссор, колкостей... Поначалу весы даже не шелохнутся, но рано или поздно мелкие гиришки обязательно перевесят, ведь обиды только копятся, никуда не исчезая. Не забывай об этом...»

Так я понял, что жить мне придётся с «чужим».

«Папа, папа! – бросился я ему на шею, – Не хочу, не хочу...»

За окном сыплет дождь, я лежу, вперившись в темноту, и меня душат слёзы.

Только умирая, живёшь...

Слабое утешение!

Завтра выборы.

– Лучшего из худшего, – недовольно ворчу я, – государство – это власть негодяев.

– А культура – собрание проходимцев, – иронично вздыхает Александр, мой приятель по университету. Он знает, чем задеть.

Я взрываюсь:

– А разве не так? Искусство – дорогая витрина, с улицы туда не попасть!

Александр православный, соблюдает посты, а в отпуск ездит по монастырям.

– Хочешь постричься? – поддеваю я.

– Как Бог даст... – пожимает плечами.

И начинаются бесконечные споры.

– А зачем Творцу все эти земные поклоны, пение на клиросе, свечи?

– Не Творцу, а нам!

– А чем святые мощи отличаются от мумий?

Он снисходительно улыбается.

– Нас мучает духовный голод... Но почему именно Христос?

– Ты что – буддист?

– А хоть бы и буддист! – повышаю я голос. – Буддистов не знаю, зато вижу, как из смирения делают гордыню! Надеетесь крестными ходами Бога купить? Этого ли хотел ваш Учитель? Эх, люди, пачкаете всё, к чему прикоснётесь!

«Ну, чего ты паясничаешь?» – написано на его лице.

Но я уже завёлся.

– Попов – как клопов, богатые в церкви в первых рядах, как же, успех – не грех! На земле всё отобрали, хотите и небеса прихватить?

– Каждый ответит за себя.

– А, ну конечно, пусть ближний в аду жарится, мне то что? Вот и вся любовь!

– Ты многого не понимаешь...

– Да уж куда нам! Только по мне честнее в аду с ближним, чем одному в раю. Или все пусть спасутся, или никто.

Он перекрестился. Но я неумолим:

– А иконы? Чем не идолопоклонство?

– Лики только отражают божественное.

– Язычники то же самое говорили – Велес, Перун, разве резные деревяшки могут выразить их могущество? Или ты думаешь, они верили в берёзового чурбана, не задумываясь о Боге? – Я задрал палец. – Нет, и у них были свои мученики, свои святые и пророки, которых сначала оболгали, а потом забыли.

Он устался в угол, и мне сделалось стыдно.

Жизнь каждому даётся нелегко.

Вспоминаю заборы с дырами шире досок, дядю Сашу, умершего за год до того, как я поступил в университет, вспоминаю родителей, их развод, который так напоминал собственный. Каждый брак устроен по-своему, все разводы похожи друг на друга. Вспоминаю поджатые губы жены, сторбленную фигуру её адвоката, равнодушного судью и сына, которого делили, как вещь. Испуганный, он косился на стоявшего рядом мужчину, который должен был заменить меня. Вспоминаю и нового мужа матери, неплохого, честного, но с которым так и не нашёл общего языка и к которому обращался на «вы».

А ещё в памяти всплывает, как катался на карусели: сиротливо кропит дождь, и я, оседлав деревянного конька, бесцельно кружу рядом с понуро молчащими зверьками. Мне грустно и не с кем разделить одиночество.

Жизнь – серый, ненастный день среди глухонемых.

Блаженными с годами становятся ночи, когда отступает бессонница. Но и тогда видишь сны, похожие на жизнь. Как в детстве, мне снятся ворота, стоящие в чистом поле. Но год от года они сужаются. Через них едва протискиваются, толкая друг друга, будто по сторонам простирается невидимая стена. Во сне я уже не удивляюсь, а, пробудившись, безуспешно разгадываю этот символ.

«Входите тесными вратами», – протягивает мне Александр православный сонник.

Но что мне толкования – разобраться бы самому, что думаешь!

Всю жизнь я писал рассказы, у которых был единственным читателем. Зачем? Чтобы понять, как тесно

в словах? Чтобы подтвердить истину о том, что наше «я» не укладывается в проговариваемое?

Жизнь – долгое повествование, а прочитывается на одном дыхании. Сколько строк осталось мне, чтобы дописать этот рассказ?..

ОБМАН ТОЧКА РУ

От кого: Зиновия Птач-Пивторана
Кому: Нестору Копытову
Копии: Семёну Улыбайко, Жидославу Кречетову
и Изабелле Жмурко
Тема: «В театре»

Дорогой Нестор!

Помнишь, я писал тебе, как меня чуть было на-
смерть не забросали снежками?*

* ПИСЬМО, ПРИШЕДШЕЕ МЕСЯЦЕМ РАНЬШЕ

Дорогой Нестор!

Ты спрашиваешь, отчего я так долго не писал? Из-за кассовой не-
достащи, снега и странной ошибки «дирижёра».

Но всё по порядку.

Ты, верно, слышал, что в наших северных филиалах в последнее
время часто ссылались на форс-мажор? Чтобы снять подозрения, я и
вылетел на Север. Стоял декабрь, мне казалось, что к Новому году всё
прояснится, и я успею вернуться домой.

Но дело оказалось запутанным.

День за днём я проверял бухгалтерию, как жену Цезаря. И посте-
пенно нащупал «крысиную» тропу, ведущую в наш Центр. Поначалу
мне улыбались так широко, что я опасался за их скулы. Но потом
стал ловить косые взгляды и отвечать на вялые рукопожатия. Одна-
ко пришли новогодние праздники, и все обиды казались забытыми.
Меня пригласили за город, пообещав, что соберутся только свои.

«Своих» оказалось человек шестьдесят. Вместе с жёнами и любов-
ницами. Особняк высился над деревней, как Гулливер над лилипута-
ми, а его стены пугали местных жителей, как первые церкви – языч-
ников. Так что вокруг – ни души.

Вечер начался ходко. Старый год выпроваживали долго: он, как ев-
рей, прощался, но всё не уходил. Так что к полуночи все были пьяны.

Но дело не в этом. Истории липнут ко мне, как грязь после рукопожатий. Вот что произошло совсем недавно. Был я проездом в Судянке, до поезда оставалось часа три, и я не знал, куда себя деть. Все провинциальные городишки на одно лицо: по бокам от главной улицы вокзал и рынок, а дороги упираются в деревни. Короче, пойти некуда. И вдруг вижу: театр, открытие сезона, обещают премьеру. Захожу. В буфете больше, чем на два пальца, не наливают, в кадках сохнут фикусы, а от стен пахнет сыростью. И в углу манекен. Знаешь, как раньше на ярмарках, на картоне намалёван толстяк в шляпе, а вместо лица – пустота. И дырки для рук. Подходи – примеряйся! Развлечение курам на смех, но, представляешь, до чего скука довела – сунул голову, шурюсь. Буфетчик улыбается: «В самый раз!» Слушай дальше. Моё кресло оказалось занятым. Какая-то компания ёрзала на сиденьях. Я показал билет. Мне рассмеялись в лицо. Кто-то предложил сесть на свободное

С боем курантов выбежали на улицу. Звёзды сияли, как в дни нашей молодости. Кто-то лепил снежки. По-моему, я первый швырнул снежок в чью-то спину. Меня поддержали. Все были против всех, и комки летели куда попало. Но вскоре разделились на команды. И тут начались странности. Люди из моей команды перетекали к противнику. Я не понимал, что происходит, но бросал снег в разные стороны. Неожиданно я остался один. Все были против. Сквозь летящий снег я вдруг увидел мрачные, сосредоточенные лица, слаженный оркестр, за которым мелькала тень дирижёра. А снежки стали с арбуз! Я уже стоял по пояс в сугробе и не мог шевельнуться. А через минуту снег накрыл меня с головой. Звуки исчезли, свет померк. Я вспомнил о пистолете, но руки не слушались. Я уже задыхался. «Это конец!» – пронеслось у меня. Однако мозг не сдавался. Невероятным усилием я всё же заставил себя достать пистолет и спустить курок. Лунка от выстрела сыграла роль «камышинь». А кутру пошёл дождь...

Вот так я и спасся. Скажешь, невинная шутка? Сомневаюсь. К тому же с «оркестром» уже разобрались. Осталось найти «дирижёра». И всё же странно, что меня не добили и я ещё стучу по клавиатуре.

Искренне твой, Зиновий.

место. Но я заартачился, потребовав управляющего. Мне указали на дверь. Чтобы не остыть, я быстро её толкнул. За столом горбилась женщина. Волосы собраны в пучок, на переносице складка. Перед такими чувствуешь себя школяром.

Я сбивчиво объяснил, в чём дело.

– Какое-то недоразумение, – подняла она бровь. – Сейчас уладим.

Я пошёл за ней, как крыса за флейтой.

– Эти? – указала она на компанию.

– Эти, – эхом подтвердил я, жалея, что связался.

– У вас тринадцатое?

Голос звучал ровно и пусто.

Я кивнул.

Женщина навела на парня в тринадцатом кресле огромный пистолет, целясь в голову. Я хотел крикнуть: «Не надо!» Но лишь пробормотал: «Откуда пистолет? У неё не было даже сумочки!» Женщина спустила курок. Я застыл, уставившись на то, что осталось от парня в тринадцатом.

– Не беспокойтесь, сейчас отчистят, – неверно истолковала она мой взгляд.

????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????

++++
++++

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Такие дела. А ты ещё не бросил курить? Ну, тогда будь здоров, не кашляй.

Твой Птач-Пивторан

От кого: Нестора Копытова
Кому: Семёну Улыбайко
Копии: Жидославу Кречетову, Изабелле Жмурко
и Самсону Тер-Всекогосяну
Тема: «Опровержение»

Привет, Семён!

Слухами интернет полнится. Как тебе происшествие с Зиновием? Думаю, вымысел. Ты же его знаешь!

Кстати, у меня его сообщение вирус подъял. На самом интересном месте! У тебя тоже?

Нестор

От кого: Семёна Улыбайко
Кому: Жидославу Кречетову
Копии: Нестору Копытову, Изабелле Жмурко
и Самсону Тер-Всекогосяну
Тема: «Опровержение опровержения»

Долгие всем лета! А также зимы и вёсны!

Наверное, так и не списались бы, да Птач-Пивторан всех переполошил. Напрасно Нестор считает его историю выдумкой. Конечно, для Зиновия с детства что бль, что сон. Но я вот что думаю. Продолжаю его рассказ с того места, которое испортил вирус:

«– Не беспокойтесь, сейчас отчистят, – неверно истолковала она мой взгляд.

Пистолет исчез так же внезапно, как и появился. Свет начал медленно гаснуть.

– Не стой столбом! – услышал я в сгустившемся мраке, продолжая бессмысленно топтаться. Меня парализовал страх. Я выдавил из себя какое-то мычанье – так рыдает душа за глухими ставнями тела.

И вдруг – о, чудо! – мой покаянный плач, если вопль

бывает покаянным, был услышан. Вспыхнул свет, и мёртвый воскрес! Я услышал аплодисменты и понял, что, едва примерив лицо в манекене, стал участником розыгрыша. В театре одного актёра я был единственным зрителем, а, вспомнив афишу, понял, почему спектакль назывался «ПРОИСШЕСТВИЕ».

Меня хлопают по плечу. Счастливей, я улыбаюсь – сквозь слёзы».

Вот и всё, Жидослав. Прости за литературные вольности, у меня всю жизнь руки тянутся к перу, а приходится заниматься сам знаешь чем.

Пиши чаще, а то буквы забудешь.

Семён Улыбайко

От кого: Жидослава Кречетова

Кому: Самсону Тер-Всекогосяну

Копии: Семёну Улыбайко, Трофиму Беспалому*

и Изабелле Жмурко

Тема: «Слово не воробей...»

С историей Птача-Пивторана все с ума посходили! А он словно воды в рот набрал. Или опять смотался? Хочешь моё мнение? Зиновий, мягко говоря, лукавит. Ну как он мог «почувствовать себя школяром»? Это Зиновий-то? Да он и в школе отродясь не учился! И ты веришь, будто он жаловался? Да ему запаadlo, он же крутой! Так что местные не на того напали. И пошло-

* Трофим Беспальый так восстановил повреждённый текст письма Птача-Пивторана:

– Не беспокойтесь, сейчас отчистят, – неверно истолковала она мой взгляд.

И тут я проснулся. Поезд увозил меня из Судянска. «Сны – это то, что могло произойти, но не произошло, – думал я под стук колёс. – Какое счастье, что это был сон, иначе мою вину пришлось бы хоронить отдельно, и холм над её могилой высился бы до небес!»

поехало. Выскочила управляющая, пытается всё уладить, а сторону своих держит. Ну и предлагает в сердцах: «Да вы его теперь застрелите за это!» А Зиновию только и надо, нервы-то уже на взводе. Достал свой «тэтэ» – и контрольный в голову! Теперь лёг на дно, а нам головы морочит.

Кречетов

От кого: Самсона Тер-Всекогосяна

Кому: Изабелле Жмурко

Копии: Трофиму Беспалому, Жидославу Кречетову
и Семёну Улыбайко

Тема: «Шутка с огнём»

Судьба не шоссе, она всегда петляет, прежде чем вывести на кладбище. И она не любит, когда её искушают. В этом лишний раз убеждает история Птача-Пивторана, которую я понимаю так. Я согласен с Улыбайко. Но только наполовину. Это, действительно, был розыгрыш, но неудачный. Точнее, его попытка. И роковую роль здесь сыграли новомодные течения в искусстве. Так вот, ситуация была срежиссирована до мелочей, только буфетчик слегка нервничал, это был его дебют. Вспомните упоминание о его пальцах в рассказе Зиновия, они дрожали, поэтому актёр и боялся перелить через край. Труппа работала слаженно, встретив Зиновия отрепетированным смехом. И управляющей можно было бы присудить «Оскара», не переиграй она. Возможно, ей захотелось импровизации, а вдохновение – штука опасная. Вместо того чтобы самой спустить курок, она вышла из роли и сунула пугач Зиновию. «Ну, так застрелите его!» – произнесла она ледяным тоном. Так обрекали на смерть гладиатора. И всё вышло

убедительно. Даже чересчур. Зиновий инстинктивно достал свой пистолет...

Я, конечно, сожалею о случившемся, но нельзя же было так издеваться! Все эти хэппининги и перфомансы до добра не доводят!

Ваш до гроба,
Самсон Тер-Всекогосян

От кого: Семёна Улыбайко
Кому: Самсону Тер-Всекогосяну
Тема: Re: «Шутка с огнём»

Если ты окажешься прав, значит, Птача-Пивторана уже нет на свете. Подумай сам, если местные способны на такие жестокие игры, они вряд ли прощают. Вольно или невольно, Птач-Пивторан нарушил их правила, и с ним разобрались. А теперь, замечая следы, гонят «дуру», я имею в виду письмо с тайной на самом интересном месте. Как у дамы в бикини. Чтобы мы гадали? А чего гадать, когда и так всё ясно. Сообщил Потапу Огорош*, он любил Зиновия.

Семён Улыбайко

От кого: Самсона Тер-Всекогосяна
Кому: Семёну Улыбайко
Тема: Re [2]: «Шутка с огнём»

* Потап Огорош так расшифровал испорченный фрагмент письма Птача-Пивторана:

– Не беспокойтесь, сейчас отчистят, – неверно истолковала она мой взгляд. Швейцар в дверях кивком предложил сесть. Остальные смотрели с тупым равнодушием. И тут до меня дошло: эта женщина сумасшедшая, а весь театр – психиатрическая больница! В ужасе оттолкнув швейцара – подозреваю, это был санитар, – я выскочил на улицу. Можешь себе представить, каким радостным показались мне серый денёк, тусклое солнце и ожидание поезда!

Насчёт «дуры» толково замечено! Действительно, похоже на мистификацию. Что за вирус, который, как гусеница, избирательно пожирает часть файла? Но в таком случае, почему бы самому Зиновию не разыграть нас? Предположим, он решил исчезнуть. Он рассылает письмо, рассчитывая на нашу сметливость, мол, рано или поздно определим ему могилу где-нибудь в водосточной канаве. И теперь мы его оплакиваем, а он жив-живёхонек и в ус не дует. Не знаешь, он никому не должен?

Твой навеки,
Самсон Тер-Всекогосян

От кого: Семёна Улыбайко
Кому: Самсону Тер-Всекогосяну
Тема: «Re [3] «Шутка с огнём»»

Кому задолжал Зиновий, не знаю, а вот с Нестором Копытовым у него в последнее время не ладилось. Дело до разборки доходило. И догадываешься, что я подумал? Нестор и «убрал» Птача-Пивторана! А нам подсунил эту «липу», подделав стиль, послал себе письмо от имени покойника. И сам же пустил по ложному следу, обозначив свою позицию: «Думаю, вымысел». Надо же! Сам же пьесу поставил, и сам же – не верю! Станиславский! А мёртвые не врут, это живые их оговаривают. Но, прав был Зиновий: правда как пузырь: сколько воды ни лей – всплывёт!

И ещё. Я не поленился, съездил в Судянск. Так вот, никакого театра там нет.

Сообщи всем.
Преданный памяти Зиновия,
Семён Улыбайко

От кого: Изабеллы Жмурко

Кому: Самсону Тер-Всекогосяну

Копии: Семёну Улыбайко, Жидославу Кречетову, Нестору

Копытову, Трофиму Беспалому и Потапу Огорош

Тема: «Новое расследование»

Господа, не возводите напраслину! Я тоже побывала в Судьянске, театра там, действительно, нет. Но он есть в Судьянске! Вернее, был. Мне удалось поговорить с работавшим в нём Адамом Побережным. И он подтвердил письмо Птача. Вот что он рассказал:

– Это страшные люди! Половину Судьянска они повязали кровью, другую – шантажом. Верховодил ими Данила Белоконь-Белоцерковский, бывший режиссёр детской студии самодеятельности. Я служил в буфете, и меня они в свои дела не посвящали. Но я о многом догадывался. Не знаю, в чьей голове родился этот дьявольский замысел, но срабатывал он безотказно. Жертвам продавался билет на тринадцатое место, а дальше всё шло, как по нотам. Они инсценировали убийство. Делали соучастником ничего не подозревавшего человека, которому после предлагали спастись бегством. Его даже прятали на квартире, а потом начинали шантажировать.

Прошу обратить внимание, господа, что в реставрированной Трофимом Беспалым части письма Птач говорит о вине, выросшей до небес. Становится понятно почему: его пытались шантажировать!

Я показала Побережному фото, и он узнал Птача:

– Этому человеку наш кассир Исаак Бабелевич Фингенауэр однажды продал билет на тринадцатое кресло. Помнится, я налил ему на два пальца, и он перед началом спектакля примерил своё лицо манекену. «Тебе вручили чёрную метку, – с улыбкой подумал я, – а ты

всё, как ребёнок». Тут он вскинул бровь, точно прочитал мои мысли, и я испугался его пронизательности. «В самый раз!» – развёл я руками, чтобы его успокоить. Поэтому я его и запомнил. А что уж в зале произошло, извините, не знаю, я человек маленький...

Как видите, господа, ставить точку в этой тёмной истории ещё рано.

До свидания. Всем назначаю его на форуме

<http://ptach-pivtoran.ru/>

Изабелла Жмурко

От кого: Самсона Тер-Всекогояна

Кому: Изабелле Жмурко

Копии: Семёну Улыбайко, Жидославу Кречетову, Нестору

Копытову, Трофиму Беспалому и Потапу Огорош

Тема: «Женское любопытство»

Ай, Изабелла, молодец! Слушай, женщина утёрла нам нос, а? Выезжаю в Судьбянск. По прибытии сообщу.

Самсон

От кого: Семена Улыбайко

Кому: Изабелле Жмурко

Копии: Жидославу Кречетову, Трофиму Беспалому

и Потапу Огорош

Тема: «Бесконечный тупик»

Теперь и Самсон пропал. У вас никаких вестей? Уж не наступил ли он на те же грабли, что и Зиновий?

Семён Улыбайко

От кого: Самсона Тер-Всекогосяна

Кому: Изабелле Жмурко

Копии: Семёну Улыбайко, Жидославу Кречетову, Нестору

Копытову, Трофиму Беспалому и Потапу Огорош

Тема: «В зале»

Извините за задержку. Дело в том, что Адам Побережный, буфетчик, исчез. Соседи говорят: собрал чемодан и уехал в направлении солнца. Так что Изабелла последняя, кто его видел. Но мне удалось выйти на Данилу Белоконь-Белоцерковского. Он по-прежнему ведёт студию детской самодеятельности. Однако это прикрытие. Кассир театра Исаак Бабелевич Фингенауэр, уж не знаю, за что затаивший зуб на своего шефа, раскрыл мне всю подноготную. Для начала он подтвердил слова буфетчика. Да, это шайка отъявленных мошенников, которые освобождали карманы обывателей способом, описанным Побережным. Но в тот раз они изменили программу. Накануне им «заказали» Соломона Жмыха, известного в криминальных кругах авторитета, а они не брезговали левыми доходами. Белоконь-Белоцерковский уговорил Жмыха сыграть главную роль в постановке, которая сулила хороший барыш, а риску – ноль. Всех дел – обнаружить природную наглость и притвориться мертвецом. А дальше можно всю жизнь доить «корову». Жмых клюнул, ему показалось, что дельце должно выгореть. И оно, действительно, выгорело. Но не у него. Зиновия «вели» ещё с вокзала и за это время успели раскусить, что «мокруха» его давно не тяготит. Белоконь-Белоцерковский – тонкий психолог, он никогда не ошибается в людях. Он учёл вспылчивость Зиновия, и Жмых навсегда остался в тринадцатом кресле, где его подставили под пулю Птача-Пивторана.

«Что ни говори, – подумала я, слушая исповедь Исаака

Бабелевича Фингенауэра, – а Белоконь-Белоцерковский умеет загребать жар чужими руками! И в людях никогда не ошибается. Разве, в собственном кассире...»

Меня скоро не ждите, собираю доказательства.

Ваш друг Самсон Тер-Всекогосян

От кого: Семёна Улыбайко

Кому: Жидославу Кречетову

Копии: Изабелле Жмурко, Трофиму Беспалому

и Потапу Огорош

Тема: «Новый поворот»

Прочитал в газете: «Отправлен за решётку Соломон Жмых». Это опровергает письмо Самсона. Боюсь, они его убили, а нас водят за нос. Обрати внимание, в сообщении псевдо-Самсона вину перекалывают на Зиновия, якобы, он заварил кашу, стреляя в Жмыха. С больной головы на здоровую! Из убитого делают убийцу! Да и стиль не Самсона. Это явная «утка». Надо ехать в Судьбянск.

Искренне твой,

Семён Улыбайко

Кому: Изабелле Жмурко

От кого: Жидослава Кречетова

Копии: Трофиму Беспалому и Потапу Огорош

Тема: «Кто “заказал” Птача-Пивторана»

Зиновий, Самсон... А теперь Улыбайко. Судьбянск поглощает, как чёрная дыра! Это наводит на мысль, что тут замешан кто-то из своих. Допустив это, я начал копать и быстро выяснил, что Зиновия отправил в поездку, знаешь, кто? – держись за стул! – Нестор Копытов.

Был слух, что Зиновий перешёл ему дорогу, и он, вероятно, снюхался с Белоконь-Белоцерковским, чтобы его убрать. И тут меня осенило: Нестору было необходимо прикрыть свою роль в старой истории со снежками! Вот откуда ноги растут!

Выезжаю в Судьбянск. Держи под прицелом злодея.
А «судьбянские» у меня попляшут!
Кречетов

От кого: Изабеллы Жмурко
Кому: Жидославу Кречетову
Копии: Нестору Копытову, Трофиму Беспалому
и Потапу Огорош
Тема: «Отвергнутая женщина страшнее пистолета»

Господа, кому же можно верить? Все лгут, лгут, лгут!
Давайте встретимся и, наконец, выясним, кто есть кто.

Я назначала свидание на <http://ptach-pivtoran.ru/>, но в прошлый раз никто не явился. Приглашение остаётся в силе.

Приходите, а то рассержусь!
Изабелла Жмурко

От кого: Нестора Копытова
Кому: Трофиму Беспалому
Копии: Потапу Огорош
Тема: «Ситуация меняется»

Срочно!
Замять скандал вокруг Птача-Пивторана не удаётся. Свяжитесь с Виолеттой Бергамот.
Нестор

От кого: Жидослава Кречетова

Кому: Изабелле Жмурко

Тема: «Зритель»

В зале кроме своих были и случайные люди. Для своей гнусной работы шайка Белоконь-Белоцерковского нанимала и со стороны. Разыскал одного такого. Бывший актёр, он очень нервничал, но, выставив меня за дверь, свидетельствовал в письме:

ЖИДОСЛАВУ КРЕЧЕТОВУ

Здравствуйте, но оставьте меня в покое!

Да, я участник того спектакля, которым вы интересуетесь. Но я расскажу вам всё, как было, только потому, что теперь всего боюсь. Накануне я выписался из психиатрической клиники и сильно нуждался. Социальные работники приносили мне крупу и макароны, но однажды пришёл человек и предложил вино и сахар. Он был не из их службы и представился Исааком Бабелевичем Фингенауэром.

– Им нужен актёр часа на два, – зевнул он, присев на табурет, потому что своё кресло я давно продал. – Репетировать не надо: тебе всё объяснят перед началом.

– Кому им? – насторожился я, но Исаак Бабелевич отговорился тем, что не посвящён в детали. Мы ударили по рукам. В качестве задатка Фингенауэр оставил пачку сигарет и килограмм «антоновки».

В указанное время я пришёл по адресу, и мне объяснили:

– Ты должен тихо занять двенадцатое кресло и не обращать внимания на происходящее вокруг. Когда, после небольшой перебранки, появятся двое, ты не должен ни во что вмешиваться. Один из них достанет

пистолет и выстрелит в твоего соседа, ты вздрогнешь, как во время укола, но кресла не покинешь. Если станет немого, разрешаем зажмуриться. Наконец, после спектакля поможешь вынести тело.

Я испугался, но мне пообещали, что «тело» окажется живым, а вместо крови будет краска.

– Это театр, а мы – актёры, – успокоили меня.

И я согласился.

Вначале всё шло, как говорили. Двое повздорили, появился третий, прогремел выстрел, и тело в тринадцатом кресле обмякло. Но когда пришло время его выносить, кровь на голове показалась мне настоящей. Я не мог ошибиться, потому что видел кровь совсем недавно, когда в нашей палате вскрыл себе вены Яков Ялов. Он сделал это заточенной ложкой. До прибытия санитаров все подходили к нему и трогали кровь – она была мокрой. Но кровь театрального трупа я трогать не решился. О своих подозрениях я сообщил какому-то актёру, но он лишь хихикнул. Мы погрузили труп в багажник машины. Вернувшись в театр, я снова наткнулся на того актёра.

– Ты не прав, – усмехнувшись, протянул он руку. – Я вот испачкался, посмотри...

Приблизив глаза, я увидел краску. Тогда это меня успокоило. Получив мешок с продуктами, я удалился. Но теперь я мучаюсь бессонницей, и мне всё чаще кажется, что театральная кровь была точно такая же, как кровь из вен Якова Ялова.

Не ищите меня больше!

Матвей Самотык

Бедняга, зачем его искать? На штемпеле стоит адрес психбольницы.

Кречетов

P.S.

Да, театрального администратора звали Зинаида Кипергань. Она же Бабич-Кшесинская, Нелли Звонидзе и Маруся Тычка. Аферистка. Бывшая актриса. Её театральный псевдоним Виолетта Бергамот.

От кого: Жидослава Кречетова

Кому: Изабелле Жмурко

Тема: «В зале-2»

История, похоже, опять пишется с чистого листа.

Полагаю, Белоконь-Белоцерковский убит. Интрига бывшей управляющей театром подставила его под пулю Птача-Пивторана. В тот день в тринадцатом кресле сидел не Соломон Жмых, а Данила Белоконь-Белоцерковский. И в детской студии самодеятельности мне подтвердили, что их руководитель давно не приходит.

Но зачем было врать Исааку Бабелевичу Фингенауэру?

Кречетов

От кого: Потапа Огорош

Кому: Нестору Копытову

Тема: «Крысятничество»

Выяснил, что отправитель письма Изабеллы Жмурко – Виолетта Бергамот. Трофим Беспалый участвует в её игре. Разрешите действовать?

Потап

От кого: Нестора Копытова

Кому: Нестору Копытову

Тема: «Поздравление»

Ну, вот и всё. Вчера я ликвидировал Потапа Огорош. Честный парень, такие долго не живут. Убив Беспалого

и Бергамот, мавр сделал своё дело, и я из закулисного «дирижёра» превратился в хозяина Организации. Что ж, игра стоила свеч.

Правда, остаётся Кречетов.

От кого: Жидослава Кречетова

Кому: Жидославу Кречетову

Тема: «Заключительный аккорд, или сапёр ошибается дважды»

Эх, Нестор, Нестор, ты был ловок, нечего сказать, и всё же... Я терпеливо ждал, пока ты завершишь черновую работу. А вчера точный выстрел привёл меня на вершину Организации. Ты допустил, как минимум, две ошибки. Тебя подвели излишняя самоуверенность и страсть к дешёвой театральности. А в Судьбянск я был ездить не дурак! Наивный Нестор, я пересчитал тебя, не отходя от компьютера. Недаром Птач-Пивторан не доверял интернету, говоря, что предпочитает глаза в глаза.

Ай да Кречетов, каков мерзавец, устроил кровавую переписку!

Жаль, конечно, её участников, но такова жизнь.

От кого: Жидослава Кречетова

Кому: Тем, кто хочет знать правду

Копии: Всем остальным

Тема: «Правда как она есть»

В этом деле нет улик, всё держится на голых предположениях, психологии и лжи. Впрочем, правда всегда трудна, это ложь выдавливается, как паста из тюбика. Вот как всё было. Нестор Копытов всегда завидовал

Птачу-Пивторану. Ему не нравилось ходить в «замах», он метил выше. Первая попытка убрать Зиновия, забросав снежками, провалилась. Более того, Нестор стал подозреваемым номер один, рано или поздно Птач-Пивторан вычислил бы «дирижёра». И, загнанный в угол, Нестор предпринимает вторую попытку. Он уговорил Зиновия навестить Судбянск на предмет возможного расширения Организации. А там у него были свои люди: Белоконь-Белоцерковский и Виолетта Бергамот. Второй ошибки «дирижёр» не допустил. А чтобы замести следы после убийства Зиновия, Нестор и затеял всю эту кутерьму с письмами. Но он перемудрил. Слишком много театральщины. Он был настолько самоуверен, что перенёс действие в Судянск, не изменив до неузнаваемости название города, в котором совершилось преступление. Или ему доставляло особое удовольствие оставить «ключ»? Но как бы там ни было, он просчитался. Согласно своему плану, он тут же де-завуировал письмо, посланное им от имени Зиновия. Он назвал его выдумкой. Это и была выдумка. Только его собственная. Его подручные, Беспалый и Огорош, были с ним в сговоре и поддерживали его версию. Один назвал происшествие сном, другой запустил версию с сумасшедшим домом. Я тогда ещё ни о чём не догадывался, и моё объяснение было банальным: в зале вспыхнула ссора, а у Зиновия не выдержали нервы. Улыбайко был оригинальнее. Он заговорил о розыгрыше. И попал в десятку, ведь розыгрыш здесь присутствовал изначально. Эх, Семён, тебя не подвела интуиция, ты недаром тяготел к литературе! И всё же первый шаг к истине сделал Самсон Тер-Всекогосян, предположив, что Зиновий по ошибке застрелил актёра. И действительно, актёров в этой истории хватало! А криминалом

она пахла с самого начала. Следующий шаг делает Улыбайко. Он правильно считает, что одного трупа для такой истории мало. Он угадывает, что Зиновия нет в живых. Тут, вероятно, Нестор впервые занервничал. На предположение Улыбайко Тер-Всекогосян делает ответный ход, но уводит расследование в сторону. Он думает, что Зиновий сам мистифицирует всех рассылкой писем. Ему нужно было исчезнуть, и таким образом он обеспечивает прикрытие, надеясь на дедуктивные способности подчинённых. Рано или поздно они должны были решить, что он мёртв. К такому выводу и пришёл Улыбайко. Но Тер-Всекогосян не оборвал на этом цепь рассуждений. И двигаясь в ложном направлении, неожиданно приблизился к цели. Он ищет мотивы, по которым мог скрываться Зиновий. «Он никому не должен?» – спрашивает он Улыбайко. И как это часто бывает, вопрос неожиданно попал в цель. Он натолкнул Улыбайко на решение всей головоломки. Улыбайко вышел на Нестора. И вцепился в него бульдожьей хваткой. Пока это были лишь домыслы. Однако впервые мелькнуло имя убийцы Птача-Пивторана. Ложные рассылки привели к истине. И с этого момента я прозрел. «Бумеранг вернулся, – думал я. – Вместо того, чтобы увести в сторону, выдумка Нестора, как паутина, привела к пауку». Однако доказательств не было. Улыбайко, конечно, не врал, никакого театра в Судянске быть не могло. И расследование зашло в тупик. Но тут свою лепту внесла Изабелла Жмурко, разгадав ребус Нестора с городами. А он, верно, пожалел о своей самонадеянности. И заволновался. Ведь Жмурко вышла на его «судьбянских» компаньонов, и ниточка могла быстро привести к нему. Изабелла успела сообщить о шантажистах, затравивших весь город. Она наивно думала,

что в их сети попал и Зиновий. Это было её последнее письмо. Компания Белоконь-Белоцерковского действительно промышляла шантажом, но убивала, как и все, заурядно. Жмурко отправили вслед за Птачем-Пивтораном, и она так и не узнала, что же случилось в тот день в зале. Однако свою роль она сыграла – на её сообщение откликнулся Тер-Всекогосян. И петля на шее Нестора продолжила сжиматься. А он стал осматривательнее. Самсона «убрали» ещё в поезде. Но теперь неладное заподозрил Улыбайко. Старый пёс не потерял нюх, и его было уже не сбить. Тогда пришлось приоткрыть карты, прислав письмо от «Самсона». Отводя удар от себя, Белоконь-Белоцерковский выдумывает всю эту галиматью с подставкой Жмыха под пули Птача-Пивторана. При этом «судьбянские» обнаруживают лицемерие, адресуя письмо Изабелле Жмурко, которую сами и убили. Как и Адама Побережного. «А буфетчик исчез», – сообщает «Самсон», пряча концы в воду. Нечего сказать, у Белоконь-Белоцерковского буйная фантазия! Но реальность прозаичнее. Даже тонкий психолог не способен с одного взгляда определить, что человека не тяготит «мокруха». А как раскусить его по пути от вокзала к театру? Да там всего три шага! Версия «Самсона», шитая белыми нитками, трещала по всем швам. А стремление к правдоподобности окончательно сгубило режиссёра детского драмкружка. Не назови он реального «авторитета», ложь, возможно, и сошла бы ему с рук. А так Улыбайко наткнулся на газету, догадался о подлоге и этим подписал себе приговор. «Судьбянские» рубили концы, и Семён отдал швартовы, едва сошёл с поезда. У тех, кому грозит стать мишенью, рука не дрогнет! Но карусель уже закрутилась, и её было не остановить. После смерти Улыбайко пришёл

мой черёд вмешаться. Мне уже приоткрылась грязная подоплёка этого дела. Я знал, что Жмурко убита, и тем не менее, послал ей письмо с разоблачением Нестора. Представляю его лицо, когда он читал его, упиваясь моей наивностью! Но я хотел убить двух зайцев: заставить Нестора нервничать и поссорить его со своими людьми в Судьбянке. Так и случилось. Думаю, с этого момента Бергамот повела свою партию. Стремясь замутить воду, я писал чистую правду, а врал только в одном – что еду в Судьбянск. Но они зашевелились, как пауки в банке. Чтобы «убрать» меня, Нестор распорядился связаться с Бергамот. А та решила пойти на попятный, от имени Жмурко предложив всем круглый стол. Мой расчёт оказался точным. Судьбянская гопкапелла распадалась на глазах. И тогда, чтобы их раззадорить, я запустил рассказ Матвея Самотыка, человека из психушки. Они не знали, что и подумать. И никто не доверял никому. Слабым звеном я посчитал Виолетту Бергамот. Как-никак, она оказалась меж двух огней – Нестором и Белоконь-Белоцерковским. Каждый мог пожертвовать ею. Выводя на сцену безымянного актёра, который якобы откровенничал с Самотыком, я провозгласил её разрыв с Белоконь-Белоцерковским. Она терялась в догадках, откуда всплыло её имя и почему «стучит» кассир Исаак Бабелевич Фингенауэр. Зная её повадки, результат предположить нетрудно. Она убила своего шефа. А я намекнул, что догадываюсь о смерти Белоконь-Белоцерковского, связав её с событиями в зале. Дело стремительно шло к развязке. Прочитав моё письмо, адресованное Жмурко, Бергамот потеряла голову. Она обольстила Беспалого, и тот предал Нестора. С помощью Беспалого Бергамот ещё надеялась выкрутиться. Но их козни раскусил Потап Огорош.

И с благословения Нестора застрелил обоих. Занавес ещё не упал, но действующие лица пропадали, как тузы в рукаве у шулера. Мне оставалось «достать» Нестора. Он уже давно не контролировал ситуацию. Но кривая вывернула в его сторону, и он не упустил шанса. Он устранил Огорош. Теперь мы остались один на один. А хорошо смеётся последний...

И ещё. Птач-Пивторан не делал секрета из истории со снежками. Но зачем Нестор сам приплёл её в письме Зиновия? Вероятно, он хотел спрятать концы, положив их на видном месте. Но, как бы то ни было, это вышло ему боком, на всякого мудреца довольно простоты. Убей он Зиновия потихоньку, возможно, дело бы и выгорело...

P.S.

Данные на Виолетту Бергамот я выудил из интернета – в Судьбянске только один театр, в котором один управляющий. А, впрочем, зачем делать тайну, когда её унесли в могилу? Как нетрудно догадаться, начинал-то я на стороне Нестора.

СТАТЬ СЕБЕ БОГОМ

Александр Кисмету столько раз пели «многая лета», что он сбился со счёта. Зеркало давно забыло его улыбку, а мир представлялся дурным спектаклем, в котором все роли расписаны.

– Каждому не дают прожить, как хочется, – вздыхал он. – Каждый достоин большего.

Был зимний день, и луна стояла напротив солнца, обещая холода. Кисмет ковырял на стекле изморозь и чувствовал, как за спиной дочь, расчёсывая волосы, выуживает из зеркала улыбку.

– Человек – не животное, знает, что умрёт, – шурился Кисмет, целясь пальцем в пролетавшую галку. – И это хорошо, предупреждён – значит вооружён.

Дочь покрутила у виска.

Ей было сорок, но под косметикой она носила лишнее десятилетие. И с детства выбивалась из своего поколения: Кисметы женились поздно, а у молодых дети рождаются молодые, у старых – старые. Когда-то и дочь побывала под венцом. Но семейная жизнь не клюква – сразу не распробуешь, а когда она вошла во вкус, муж уже набил оскомину. Разведясь, он жаловался Кисмету, что не столько был мужем его дочери, сколько она – его женой. Разливая горькую, он после третьей рюмки разговаривал с собой, а Кисмет согласно кивал, вспоминая,

что и сам в браке был не столько мужем, сколько женой, и что от развода его спасло только раннее вдовство.

– Старомодный, – шипели внучки.

– Вечно современные, – шептал он, отвернувшись, чтобы не прочитали по губам.

А когда оставался один, листал молодёжные журналы, пестревшие советами влюблённым, и думал, что о любви пишут, как о смерти, – не испытал её.

Кисмет был архитектором, вычерчивал, как по лекалу, типовые проекты, которые проходили гладко, без обсуждения, потому что никого не впечатляли. Он проводил на стройплощадке больше времени, чем расхваливая в кабинетах чужие проекты, зарабатывал горбом и руками, презирая тех, кто молот языком. Но теперь ему хотелось поговорить со сверстником, а оставалось молчать с собой. Он угрюмо измерял шагами границы своего молчания, и в бабьем царстве чувствовал себя голым королём.

– Да-да, вооружён, – долбил он, как дятел, глядя в заснеженное окно. – Против лени, пустого времяпрепровождения...

– А по мне, – надулась дочь, у которой косметика висела, как мокрая штукатурка, – спать нужно до третьих петухов, работать спустя рукава, а приступать к десерту, когда закуска уже переварилась!

Она поправила волосы, и тут же выронила зеркало, в котором отец, схватившись за сердце, медленно сползал по подоконнику.

«Скорая» едва не заехала в дом.

– Обморок, – щупал пульс рыжеволосый врач, похожий на священника, у которого на шее вместо креста болтался стетоскоп. И, подмигнув, достал из халата красное вино: – Будем есть или закусывать?

– У вас странные методы, – приподнялся на подушке Кисмет.

– Жизнь вообще странная – от неё лечит только смерть... – плеснув Кисмету, он закатил глаза. – Взять вас – думаете, почему ничего не достиг? Вкалывал до седьмого пота, а мне фигу с маслом!

– Откуда вы знаете?

– Профессия такая... Ещё? – Кисмет накрыл бокал ладонью. – Тогда я один – врач должен лечить себя сам.

Коротко рассмеявшись, он покраснел, точно вино проступило на щеках.

– Каждый достоин большего? А вы посмотрите со стороны, беспристрастно...

– Я же не Бог.

У врача расширились зрачки. И Кисмет увидел в них себя.

Он возвышался над домиком с заледенелым окном, который выглядел теперь, как бумажный макет, над собой, своим прошлым, мечтами, желаниями, обидами, болью, отчаянием. Не покидая тела, он заполнял весь мир и, став макрокосмом, мог управлять микрокосмом. Распоряжаясь собой, как в компьютерной игре, он стал для себя Богом, передвигая себя, как оловянного солдата.

– Ты прожил, как разведчик на вражеской территории, – по вымышленной легенде, под чужим именем, – услышал он насмешливый голос. – Ты вошёл не в ту дверь, а единственную, предназначенную для тебя, пропустил.

– Как и все.

– Нет, это ты ошибся поворотом, а твоё место занял Гедеон Жабокрич. Помнишь того, с влажными ладонями? Он ещё верил, что деньги боятся сглаза, и,

расплачиваясь в кафе, слюнявил пальцы, отсчитывая купюры под столом? Вы часто спорили – ты говорил, что он нахваливает проекты, которые есть на бумаге, но которых нет в голове.

И Кисмет увидел Гедеона. Однокашник польсел, обрюзг. Пряча под стол волосатый живот, он сидел во главе многочисленного семейства, ел яблочный пирог, и его рот радовался каждому куску.

– Сегодня доверяют не отцу с матерью, – пережёвывал он слова вместе с яблоками, – верят не жене или другу, а банковскому счёту. Деньги – отменные служаки... – мгновение он сосредоточенно работал челюстями. – А люди, чем лучше, тем скорее предадут! – На бычьей шее вздулась вена. – Никому не верьте, даже мне.

– Ну что ты, папа, – работая ложками, тянули ему в унисон, – мы и себе-то не верим, родственные связи – не денежные.

Кисмет проскользнул в комнату, как в сон.

– А по-моему, от денег одна нервотрёпка: одалживаешь – боишься, не вернут, берёшь займы – ломаешь голову, чем отдавать.

Оторвавшись от тарелок, на него подняли головы.

И вот он уже сидел за столом и снова, как в юности, спорил с Гедеоном, приводя истины, в которые больше не верил.

– Слушай, а тебя не мучает бессонница? – по-стариковски отмахнулся Гедеон.

Кисмет растерялся.

– Бессонницы бывают разные, – пробормотал он. – Когда не можешь заснуть, – лукавая, потому что врёт, а когда просыпаешься посреди ночи – святая, потому что открывает правду.

– Ты прав, – уткнулся в тарелку Гедеон, – а я неправильно жил.

Кисмету стало стыдно.

– Мы прожили, как могли, и оба не правы, – протянул он шершавую ладонь.

– Каждый по-своему, – накрыл её Жабокрич своей мягкой и влажной.

И Александр Кисмет опять подумал, что мир – дурной спектакль, по ходу которого меняются ролями. Он больше не завидовал чужому успеху, не жаждал его себе, поняв, что все живут одинаково. «Мы пользуемся телефоном, летаем самолётами, ездим в автомобилях, – думал он, – а хуже они или лучше – дело десятое. Нас цементирует эпоха, в которой мы, как мухи в янтаре, – питаемся одними новостями, и телевизор на всех один...» Кисмет смотрел на отпрысков Жабокрича, и ему казалось, что среди них не хватает его внучек.

– История мыслит поколениями, – заметил он вслух, – современники похожи друг на друга.

Зашаркали стулья, и Кисмет оказался за опустевшим столом.

– Выпьем за любовь? – подняв бокал, вернул его домой врач. И, не дожидаясь, забубнил, будто школьник:

– Был тихий весенний вечер, цвела сирень, и её аромат окутывал скамейку. Сорвав ветку, юноша отыскал среди цветков пятизвёздочные. «Съешь их на счастье», – прошептал он, и сидевшая с ним девушка рассмеялась, как колокольчик... – Врач уставился в упор, будто выстрелил. – Её звали Александра Тусоблог, у вас были одно имя, один возраст и одно счастье. Помнишь, как при поцелуях она раздвигала зубы, заплетая твой язык своим?

И Кисмет увидел скамейку, хрупкую девушку с веткой сирени.

– Но ты посчитал, что молод. Ты вообще всю жизнь осторожничал, будто шёл по болоту. А тебя всё равно женили – связали и словом, и фамилией, только дочь у тебя родилась не от любви...

Но Кисмет не слушал, он стоял у скамейки возле куста сирени, вдыхая густой запах.

– Саша, – протянул он руку, – ты меня узнаёшь?

Девушка задрожала.

– Это уже не важно.

– Почему?

– Потому, что я умерла.

Кисмет положил голову ей на колени.

– Я могу всё поправить.

– Э, нет, – щёлкнул пальцами врач, – даже Богу нельзя распоряжаться чужими судьбами, только своей...

Видение исчезло.

– А Тусоблог ждала тебя, у неё были мужчины, но замуж она так и не вышла.

У Кисмета навернулись слёзы.

– Как глупо всё получилось, – смахнул он, делая вид, что вынимает соринку. – Видно, судьба такая...

– Брось, у тебя и судьбы-то нет! Помнишь, как учитель рисования ставил гипсовые головы, которые отлично у тебя выходили? Ты из тех, кто лучше всех рисует мёртвую натуру, но делать портреты так и не научаются. Тебя всю жизнь заставляли, воспитывали... И ты плыл по течению, подчинялся, сначала из страха, потом по привычке. Но стоило сказать «нет», простое «нет», и ты был бы свободен, потому что все угрозы – пу- гало для ворон...

И Александр Кисмет понял, что быть себе Богом – значит быть себе судьёй.

Теперь он жалел людей, он увидел, что они

поклоняются не Богу или дьяволу, не добру и злу, а бесконечной пустоте, один глаз которой – бессмысленный покой, а другой – бесцельная маета. Он перебирал, как чётки, чужие судьбы, казавшиеся одинаковыми, и не видел среди них своей.

– Жизнь так и так кончится, – вертел опустевшую бутылку врач, – вопрос в том, выпить её самому или предоставить другим?

Разгладив пятернёй рыжую шевелюру, он нахлобучил шапку:

– А стать себе Богом – значит повернуться к ней боком!

Будто хихикнув, со скрипом захлопнулась дверь.

Кисмет глядел в потолок и думал, что из осколков судьбу не склеить. Его охватила бесконечная жалость к себе. Он снова видел себя ребёнком: в сиреневых сумерках мать собирает его в школу, потом университет, где он попусту спорит с Жабокричем, промелькнула свадьба, о которой он забыл, едва она кончилась, всплыли его проекты – поделки, среди которых не было главного, увидел дочь, выросшую дома, будто на стороне, скупые похороны жены, внучек, которые запомнят его брюзжащим стариком. Вот он снова целится через морозное стекло в летящую галку, вот, схватившись за сердце, скользит по подоконнику...

И он понял, что жизнь можно изменить с любого момента.

Александр Кисмет умер, не коснувшись пола.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Одному человеку обманом всучили чужое произведение. Но со мной это не пройдёт. Я знаю, что книгу слагают тысячи прочитанных страниц, что её соавторы – персонажи, и что каждый читатель, без которого она мертва, расшифровывает её по-своему.

В книге двадцать девять рассказов о героях. И тридцатый – об авторе.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ	3
ПЕТЕРБУРГСКИЙ РЕКВИЕМ	4
ВОЛХВ	12
РОМАН С РОЗОВЫМИ ОЧКАМИ	42
ЗВЕРЬ.....	50
РОДИНЕ НУЖНЫ ГЕРОИ	55
ПСИХОЗ	60
ПО-СЕМЕЙНОМУ	70
ДЕШЕВЛЕ СЛОВ	76
ОН ПРИШЁЛ.....	83
АВТОР И ГЕРОЙ.....	109
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЭЛЕН	122
БИБЛИЯ УВЯДШИХ МАРГАРИТОК.....	128
СТИХИ	135
КОАН ДЛЯ ТРОИХ.....	142
МИТРОФАНОВО СЧАСТЬЕ	154
МЕЩЕРСКИЕ ХРОНИКИ	163
ИВАНОВ, ПЕТРОВ, СИДОРОВ	204
РАЗБИРАТЕЛЬСТВО	210
УТРО ПОД ВЕЧЕР	217
ПАЛОМНИК.....	225
ПОВТОРНЫЕ ПРОБЫ	231
НЕВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕКА УОРФИЛДА	248
СТЕНА ОТ ОДИНОЧЕСТВА	255
ПОСЛЕДНЯЯ СКАЗКА ШАХЕРЕЗАДЫ	262
СМЕРТЬ ЕЛИЗОРА АРКАДЬЕВИЧА.....	271
ПОЕЗДКА	278
ГЕРОИН	283
НЕОКОНЧЕННЫЙ РАССКАЗ	293
ОБМАН ТОЧКА РУ	302
СТАТЬ СЕБЕ БОГОМ.....	324
ПОСЛЕСЛОВИЕ	331

Литературно-художественное издание

Зорин Иван

Стать себе Богом

Редактор Е. Б. Александрова
Корректор Т. А. Шепелева
Дизайн и вёрстка М. А. Воденина

Подписано в печать 03.01.2011. Гарнитура BookmanC.
Формат 60x84 /16.
Усл. печ. л. 8,81. Тираж 1 000 экз.
Изд. заказ 2051. Тип. заказ 12/03-11

Издательский дом «Пегас»
119146, г. Москва, Комсомольский проспект, 13

Издательский дом «Ваш полиграфический партнёр»
127238, г. Москва, Ильменский пр, д. 1, стр. 6

Отпечатано в типографии:
ООО «Ваш полиграфический партнёр»
127238, г. Москва, Ильменский пр, д. 1, стр. 6